

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

В НОМЕРЕ:

ГЕННАДИЙ БЕЗЗУБОВ
ВАЛЕНТИНА БРИО
ИОСИФ БРОДСКИЙ
ЯКОВ ВЕЙНШАЛ
АЛЕКСАНДР ВЕРНИК
МАРК ЗАЙЧИК
РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР
АРКАДИЙ Ф. КОГАН
ЗОЯ КОПЕЛЬМАН
АЛЕКСАНДР ЛАЙКО
ВИКТОР ПАНЭ
САРА ПОГРЕБ
МИХАИЛ ПРОБАТОВ
НАТАЛЬЯ РУБИНШТЕЙН
ВЛАДИМИР ХАЗАН
СУСАННА ЧЕРНОБРОВА
ГЕРШОН ШОФМАН
И ДРУГИЕ

№9

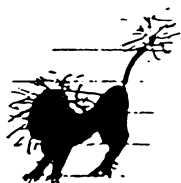


JERUSALEM LITERARY REVIEW

ירושלים ספרותית

2001'9

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



И Е Р У С А Л И М

⑨ 2001

Иерусалимский журнал, № 9, 2001

Журнал современной израильской литературы на русском языке

Виртуальный вариант в Интернете: www.antho.net/L

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «Иерусалимская антология»

Редколлегия: Игорь Бяльский (главный редактор),

Семен Гринберг, Светлана Шенбрун (редакторы-составители номера),

Юлий Ким, Зинаида Палванова, Дина Рубина, Роман Тименчик

Ответственный секретарь – Леонид Левинзон

Художник – Сусанна Черноброва

Редактура и корректура – Маргарита Шкловская, Любовь Лейбзон

Организационное и техническое обеспечение номера – Бина Смехова;

Ольга Аксютинна, Михаил Бяльский, Борис Бронштейн, Даниил

Бурштейн, Виктор Гопман, Григорий Гордин, Шауль Котлярский,

Светлана Мойбер, Антон Мухин, Илан Рисс, Борис Штейн

Издательство «СКОПУС»

Типография «ЦУР-ОТ»



При поддержке

Министерства абсорбции;

Министерства культуры;

Центра интеграции репатриантов –

деятелей литературы и искусства;

Отдела культуры

и Управления абсорбции Иерусалимского муниципалитета;

Иерусалимской русской муниципальной библиотеки;

Журнал выходит ежеквартально

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2001. All rights reserved.

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам.

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: Jerusalem Review, P. O. Box 32297 Jerusalem 91322

E-mail: review@antho.net

Тел./факс: 972-2-5384914; 972-2-6720025; 972-2-6434005, 972-2-6432962

Представители «Иерусалимского журнала»:

Москва – Игорь Грызлов, 5507747; igorgr@dol.ru

Виктор Инденбаум, 9157178; sifriya@mail.ru

Лия Кренцель, 4318386

С-Петербург – Сергей Григорьянц, 2948143 Ольга Крупенья, 3125465

Новосибирск – Владимир Болотин, 329944; bolotin55@mail.ru

Нью-Йорк – Андрей Грицман, 1-201-2250090; agritsman@msn.com

Рита Бальмина, 619-4606179; rita_balmin@yahoo.com

Чикаго – Александр Блинштейн, 847-6761134; rmasis1@home.com

Ефим Котляр, 847-5819304; YefimK@aol.com

Бостон – Татьяна Гольдмахер, 508-8819355; tgoldmakher@hotmail.com

Париж – Владимир Смехов, vladimir.smekhov@wanadoo.fr

Торонто – Илья Липес, lipess@idirect.com

В Израиле:

Арад – Ольга Кравченко, 08-9971014. Ариэль – Самуил Кушниров, 03-9365452.

Афула – Любовь Серегина, 04-6492095. Герцлия – Леонид Шейнман, 09-9502681.

Кфар-Саба – Виталий Кабаков, 09-7673293. Лод – Михаил Гиль, 08-9201291.

Реховот – Марк Павис, 08-9353758. Хайфа – Михаил Басин, 04-8213657.

OCR Давид Титиевский, май 2019 г., Хайфа

Сара Погреб

ПЕМНЫЙ БЕРЕТ РАЗЛУКИ

Мише

1

Краткосрочная зона утрат
 (как сезоны дождей и хамсинов).
 Темный берег разлуки.
 Не поймешь, кто уходит, кто жив.
 Мои руки в твоих,
 и мгновенье становится длинным,
 Мы в укрытье, внутри,
 смутным лесом себя окружив.

Наша молодость с нами –
как будто на зов прибежала.
Наши мальчишки с нами,
такие, как были тогда.
Сетка ржавая та,
и солдатское то одеяло,
И деревья шумят,
и днепроvская близко вода.

Это зона утрат и любви.
Темный берег разлуки.
Дай мне руки твои,
Дай мне, миленький, руки.

11

И уже приснилась встреча.
Под платком озябли плечи,
Как когда-то, там, вначале,
Обнялись мы и молчали.

Темень. Ночь. Но дом наш рядом.
И – в обнимку, по ступенькам,
Мимо туи с краю сада,
Что сломило снегопадом.

Но не терпит пустот мирозданье.
Пусто место не дадено нам.
И поэтому воспоминанья –
Отблеск счастья, гримаса страданья –
Навещают меня по ночам.

И как вживе – застолье с друзьями,
Общий хохот, и тосты, и спор –
И необщее небо над нами,
И волненья отдельный костер.

А потом... Но не стану, не буду.
Этот день я сама досмотрю.
Ни закатного ветра остуду,
Ни молчанья, ни слов не забуду,
Все деревья подряд повторю.

* * *

Пирамидальный тополь у ворот
Похож на кипарис под здешним небом.
И возникает город ранний тот,
Который был, а кажется, что не был.
А кажется – приснился на заре,
Когда в окно вошел рассветный холод.
Мой юный друг – он только будет молод!
Все впереди:

и выюга в январе,
И март процокает за февралем,
Кроша на лужах ледяные кромки.
Нас метят грозы мелом и углем,
Пока над вымыслом мы слезы льем,
И строчкой околдован голос ломкий...

Потом запели песни про войну –
И ту, где дан приказ ему на запад.
Потом война. Победа.

В ту весну
К воде и к ветру примешался запах
Уже заметный – гнили и вранья.
И будто потемнело без огня.

У власти – зоркой! – есть на все цена.
Но мы из рук не ели,
и отчасти

Могла бы меньше мучить нас вина:
Да, выживание. Но не соучастье.

За стих держусь. За цельный небосвод
Держусь.

И подоспел исход, излет.
Отрыв... Но много раньше – отслоенье.

А до всего – прекрасный тополь тот
И длинный клин неомраченной тени.

О РАЗНЫХ МАТЕРИЯХ

От знамени отблеск на лицах.
И наши обновки из ситца.
Мы рано из них вырастали,
И флаги, как платья, слиняли.

Рядно несбываний и боли –
Для нас его ткали особо.
А если фартило поболе,
Два слова проямляют у гроба.

Но синее небо в разводах!
Дождей полосатые воды!
В лихие и в смутные годы
Я милостей жду от природы.

* * *

Спать ложусь, не помолившись.
Не научена молиться.
Но умею, не учившись,
Встретив диво – удивиться.

И, рассеянно умолкнув,
Воскрешать ту малость снова.
И в стогу искать иголку –
Затерявшееся слово.

Жить с раскрытыми глазами –
Как молиться в звездном храме.

Л. О.

**Холмы, и женская краса,
И небеса, и очеса –
Мир переполнен вдохновением.
Не на торжке,**

в глуши, в тиши

**Учись у Бога и пиши.
И в подмастерья не спеши:
Не шутки – подмастерье гения.**

Тот осенний бульвар, где деревьев костры
Золотого и рыжего цвета,
Разыгравшись, бежал на вершину горы,
Про обрыв позабывши, наверно...
Я пошла на рентген.

Слабый свет в глубине кабинета.
Я впорхнула туда, а оттуда, как тень,
Тихо вышла с большущей каверной.

А она не смогла –

Маме стало в сарайчике плохо,
И она между дров потихоньку сползла
Или рухнула там на колени.

В подсознание блеснуло, как мама её,
Бабка Доба, за деда когда-то:
«Шрэк его, но не штэк!
Шрэк его, но не штэк!
Это, готеню, я виновата».

Голос мамин: «Пугай!
Но не бей, не карай.
Ты один, ты единственный можешь...
Много слёз у меня. Мало слов у меня.
Пожалей, пожалей меня, Боже».

То ли стон – из предсердия, из живота,
То ли то, что давно я была сирота,
И как дождик чиста,
и смешна иногда –
Только мама моя домолилась!

А чахотка ушла. Отступилась.

* * *

Есть степь, как столешница.
 (Дедушка Мойше и мама
 в излучине Буга, у станции Голта).
Я вынула жребий из шапки –
 как кардиограмма,
 из взлетов и спадов дуга моего горизонта

Мне выпала эта,
 с атомным ядром в середине,
 чреватая бездной эпоха.
И длинная строчка,
 как длинные тени в пустыне,
 с забытой нехваткою вдоха.

Быть может, замедленность темпа
 повязана с краткостью срока:
 прощание близко маячит.
Ступает стопа осторожней –
 вот-вот оборвется дорога.
 Какое аллегро? Какое виваче?

Но я доплыла и таинственно знаю:
я здесь у себя в самом деле,
и это завет, а не случай.
Под вечер библейские ветры
про вечную землю запели
канта́биле – гибко, певуче.

* * *

Я вижу, куда я уйду:
За ближнюю эту гряду,
За ту, что за ней. За другие,
Такие уже дорогие.

Над древней землей полечу
Вперед, забирая направо,
Ни речки тут нет, ни дубравы,
А песенку я захвачу.

Там белая едет коза,
И детские видят глаза:
Товару полно на тележке –
И сладкий изюм, и орешки.

Там едет коза торговать.
И предки мои торговали.
Убили их всех. Постреляли.
Фарфален. Уже не позвать.

Еврейское сердце болит,
И боль эта неизлечима.
Не козочка – белая тучка бежит
По небу Иерусалима.

* * *

На север смотрю, не на юг, не на запад.
Туда, через светлые дали и мрак,
Где, желтой листвой тротуары заляпав,
Гуляет Маринин российский сквозняк.

Что стоит пустяк пограничного знака
И сколько – родная возвышенность черт!
Со мной переделкинский дом Пастернака,
Пахра, где Твардовский и Зямочка Гердт.

Тот север – твержу, не привравши ни грамма,
Мне близок – иначе, чем Ближний Восток...
И там над Днестром моя бедная мама,
С еврейского древа слетевший листок.

* * *

В уши мне напел хамсин:
«Реве вітер вельми в полі».
Все очнулось поневоле,
Память – демон-властелин.
И веселье, и тоска.
И поминки, и застолье.
Даль томительно близка –
«Реве вітер вельми в полі».

НАСЧЕТ ПОЗНАНИЯ

Хоть гению провалы – будто птице,
Как одолеть бескрайнюю дорогу?
Сложны элементарные частицы,
А простота доступна только Богу.

Виктор Планэ

ЧТО ВДОХНОВЛЯЕТ

(Первая часть романа)

Что по-прежнему греет, еще со школьной скамьи, так это то, что в жизни всегда есть место подвигу. Несмотря ни на что. Не только в военное время. В мирное тоже есть место. А вот уже и жизнь как бы кончается, а я ещё подвиг не совершил. А так хотелось в своё время. И до сих пор хочется. Но чтоб это было что-то необыкновенное. Не хочется повторяться. Оригинальный чтоб получился подвиг. Многие повторялись.

Если обратиться к официальным цифрам, то подвиг Александра Матросова, например, повторили 1652 человека. По свежим следам. Среди них были и женщины. Грудью закрыть амбразуру вражеского дзота – это ж надо придумать такое. Больше похоже на самоубийство. Все они стали Героями Советского Союза. Посмертно. Причём в их числе представители всех союзных республик без исключения. Больше всего из Российской Федерации. Дальше идут украинцы, белорусы, грузины и, что запомнилось, два наших земляка-молдаванина. С украинскими почему-то фамилиями.

Зое Космодемьянской дали Героя тоже посмертно. Она подожгла два сарая в тылу врага под Москвой. На временно оккупированной немцами территории. Один из сараев был с лошадьми, что печально. Немцы её повесили по законам военного времени. Ходили слухи, что она поджигала сараи и в мирное время на этой же территории. До войны. У нее была такая болезнь – пускать красного петуха. Но в военное время ей это не сошло.

Подвиг лётчика Гастелло повторили за период войны сто семнадцать человек. В воздушной схватке с врагом, когда у Гастелло кончились патроны, он пошёл на таран. Сам погиб, но сбил и вражеский самолёт своей массой. Его за это наградили посмертно. Фашист просто не ожидал таких неприятностей. Был не готов морально.

Повторивших подвиг лётчика Гастелло могло быть и больше. Но, видимо, не на всех хватило самолетов.

Некоторые лётчики воевали по-другому. Им хватило патронов. Трижды Герой Советского Союза Кожедуб подбил свыше пятидесяти вражеских самолётов и вернулся с войны живым. Вся грудь в наградах.

Леня Голиков был юным партизаном. Он пускал поезда под откос. Грабил немецкие склады. Отстреливал полицаяев. Од-

нажды неожиданно взял в плен «языка». Полковника с портфелем, набитым важными бумагами. Портфель с полковником переправили на Большую землю. Леню наградили звёздочкой Героя. Еще при жизни. Он не загордился. Не успокоился. Продолжал партизанить. Он погиб в шестнадцать лет. Не вернулся с задания.

На войне было много случаев, когда наши солдаты бросались под вражеский танк со связкой гранат. Подрывали танк к чёрту. Это можно сделать только один раз в жизни, к сожалению. Одноразовая акция. Были случаи, когда под танк кидались специально обученные собаки. Но не так много случаев. Потому что собаку нужно специально обучать. А человека обучать не нужно. Он делает это импульсивно. Сгоряча.

На войне звание Героя Советского Союза давали снайперам за выдающиеся показатели. Если поразил, в смысле – убил, больше сотни врагов. Среди снайперов были и женщины. Одна по фамилии Зайцева. К концу войны у нее по зарубкам на прикладе оказалось свыше двухсот убитых солдат и офицеров противника. То есть ей вполне могли дать дважды Героя. Но, видимо, тут существовала другая прогрессия. Дважды Героя полагалось, может быть, после тысячи. А до тысячи никто и близко не дотянул. В том числе и потому, что снайперов тоже отстреливали с противоположной стороны.

Запомнилась еще подробность. У одного снайпера была особенность. Как бы фирменный знак. Он стрелял только в левый глаз спереди. Чтобы знали. И тоже перевалил за сотню по итогам. Тяжелая, в общем, работа. Уж лучше с гранатой под танк. И забыться. Чтоб оставили в покое.

Алексей Маресьев, военный лётчик, был сбит над лесом. Раненный, воспользовался парашютом. Трое суток полз к своим, теряя вес и сознание временами. О нем написана книга «Повесть о настоящем человеке». Один писатель написал. Полевой Борис. Маресьев дополз до своих. Ему ампутировали обмороженные ноги. Но он был не согласен считаться инвалидом. Он встал на протезы. Научился самостоятельно ходить, танцевать вальс с медсестрой, управлять самолетом лично. На протезах. Он вернулся в строй за штурвал. Летал до победного конца. Герой Советского Союза. До сих пор жив, если не умер. Так что можно и подвиг совершить, и остаться в живых, если что. До поры до времени.

Повторил подвиг Маресьева уже в мирное время один спортсмен. Об этом нам рассказала учительница физкультуры в походе на привале. Один советский горнолыжник оказался без ноги. Не помню как. Но на этом не остановился. Продолжал тренироваться на протезе. Было трудно. Протез не выдерживал нагрузок. Ломался. Но спортсмен выдюжил. Вернулся в большой спорт и выиграл «серебро» на зимней Спартакиаде народов СССР. На протезе. Но ему не дали звездочку Героя. Ему вручили серебряную медаль.

Герой Советского Союза, помимо звездочки, – это еще и одноразовая денежная выплата в размере где-то пяти тысяч рублей. Типа стоимости автомобиля «Победа». Серебро на Спартакиаде тоже неплохо. Это пожизненная стипендия: сто шестьдесят рублей в месяц. Помимо морального удовлетворения. Так что лучше совершить подвиг и выжить. Принципиально.

Без подвига нельзя. Без подвига жизнь проходит серо и уныло. Почти уже прошла. Время не военное. Мирное. Искать надо свой подвиг, если он тебя не ищет. Просто необходимо совершить подвиг. Ради жизни на земле.

В мирное время много чего можно совершить на трудовом фронте. И больше шансов выжить.

Стаханов за одну трудовую смену своим отбойным молотком навалил угля в одиннадцать раз больше нормы. Что-то на него нашло. И остался жив. А некоторые из той же шахты и норму-то не всякий раз выдают.

Потом ему было не до этого. Он оказался инициатором стахановского движения. Стал Героем Социалистического труда. Депутатом Верховного Совета. Получил большую квартиру в центре Москвы. Знаменитый отбойный молоток повесил на стену в гостиной. Но один раз он его снял с крюка. Сильно выпивший он принялся долбить стену, прорываясь к соседу – композитору. Тоже, кстати, герою труда. Что-то ему не понравилось в аранжировке, и он пошёл на сближение.

Дважды Героям Социалистического труда даже ставили памятник при жизни. В смысле – бюст. На родине героя. По пояс и без рук. Чтоб знали своих.

За полет в космос сразу дают Героя. Без разговоров. Автоматически. Некоторые летали дважды и становились дважды Героями. Сколько раз полетишь – столько раз и станешь. Но больше двух раз почти никого не пускали. Очередь возмущалась.

Это в космосе. А на земле можно совершить подвиг в животноводстве, в текстильной промышленности, в сталелитейной. На железной, например, дороге. Если одним локомотивом потянуть не десять груженных вагонов, а в десять раз больше – сто. Это уже подвиг. Хотя в этом есть заслуга и самого локомотива. Но локомотив не награждают пока. Только человека. Он у нас на первом месте.

Или взять прядильные станки. Обслужить для начала не два станка, как при норме, а двадцать станков, что выше нормы в десять раз. Не пожалеть себя, проявить трудовой энтузиазм.

Когда обрывается нить пряжи, нужно остановить станок и связать нить узелком. И снова запустить. А время бежит, процесс тормозится. Что сказывается на количестве производимой ткани.

Прядильщица-рекордистка не останавливает свои станки ни на секунду. Пока она рядом. Она обходит их непрерывным дозором. И устраняет порыв нити за полторы секунды, не останавливая станка. Ловким движением руки. Двадцать станков

вместо двух – это чистый Герой Социалистического труда, без натяжки. Считай, что дело в шляпе. Но надо вовремя уловить момент. Почувствовать, когда вместо двух станков можно обслужить двадцать. Это, считай, уже судьба.

Много героев среди доярок и дояров. Выдоить с одной коровы не две тысячи литров в год, что обычно по стране. А в шесть раз больше – двенадцать тысяч. Это рекордный надой. И получай Героя. Прими почёт и уважение. Странно, что корове за это ничего не полагается. Корове всё равно. Это человеку не всё равно. Человек хочет отличиться. А корова всё жуёт. Как-то даже обидно за корову.

Или в свиноводстве. Получить больше поросят от каждой свиноматки, вот отчего это зависит? Ведь не только от производителя. Почему у некоторых животноводов получается, а у других не получается? Подход нужно иметь особый. Гору навоза перелопатить для этого.

В сельском хозяйстве тоже можно отличиться, если постараться. Дать определённые показатели. Если собрать по шестьдесят центнеров пшеницы с гектара, а не двадцать, как в среднем по стране. Как этого добиться конкретно? Секрет нужно особый знать, волшебное слово, что ли? Применять передовые методы хозяйствования. Доставать особые высокоурожайные сорта пшеницы для сева.

Или сахарной свеклы дать стране по двести центнеров с гектара. Я бы лично дал даже триста центнеров. Чтобы если дать, так дать. Посадить, может быть, гуще. Один клубень возле другого ближе.

Героем может стать любой, от чабана до учёного. Чабан может себе поставить задачу: дать в два раза больше шерсти от каждой овцы, чем раньше. Это же не с бухты-барахты происходит. Это надо сильно захотеть. Морально настроить овец, чтоб они дали в два раза больше. Или стричь чаще.

Женщина может стать героиней просто будучи женщиной, рожая много детей. Больше десяти. Это почётно и поощряется.

В Китае, однако, за это наказывают. Даже они согласны, что их много. Хотя хорошего чем больше, тем лучше. Видимо, мало хорошего.

Учёный, разработавший и внедривший систему инкубаторов, получил Государственную премию и Героя Социалистического труда. Теперь цыплята могут выводиться из яиц без насижки, без материнской опеки. Учёный заменил им отца и мать. Это большая ответственность по жизни.

К чему-то такому хочется приложить руку. Как-то выделить. Состояться. Выпрямиться в полный рост.

Очень даже можно отличиться и в спорте. В конце концов, спорт и труд – рядом идут. Всё как бы честно, без обмана. Выше, дальше, быстрее.

Достаточно пробежать стометровку на одну десятую секунды быстрее мирового рекорда, и ты – рекордсмен мира. Что

приравнивается к Герою Социалистического труда и Ударнику Коммунистического вместе взятым. И прошу считать меня коммунистом.

Если не нравится стометровка, есть другие забеги: на двести, четыреста и восемьсот метров. Специально для резких ребят, с низкого старта. И каждый по своей беговой дорожке. В основном. Плюс групповая фотография с фотофиниша. Это – спринт.

Есть и стайерские дистанции: на тысячу пятьсот, три тысячи с препятствиями, пять тысяч и десять тысяч метров. Вплоть до марафона.

Странно, что чем длиннее дистанция, тем больше народу набирается на забег. До нескольких тысяч участников. Начинают толпой, а потом растягиваются в длинную цепочку. У кого, сколько лошадиных сил. Побеждает тот, кто бежит быстрее и добегаёт до финиша первым. Для этого нужно много тренироваться и соблюдать режим. Но зато слава, почет и уважение. После того как выдал результат. Приходит материальное благополучие. Чувство глубокого удовлетворения.

Можно вообще никуда не бежать. Есть чемпионаты по шахматам и шашкам. На выбор. В том числе и стоклеточным. Там вообще всё решается сидя. Надо только шевелить мозгами. Варить котелком. Просчитывать комбинации. И лучше начинать белыми.

Хочется совершить такое, чтоб стало хорошо всем. И надолго. И не за чужой счет. В спорте всё-таки остаются проигравшие. Им конечно тоже хорошо, но не очень. Не так, как бы хотелось. Или так не бывает, чтобы всем было хорошо. Изобрести бы пилюлю счастья. Кажется, уже изобрели. Сначала всё очень хорошо, а потом наступает жестокая ломка. Просто жить не хочется. Это не счастье. Это роковая ошибка.

Становятся героями и в области литературы и искусства. Тут нужна тяга к высокому. Искусству нужно учиться с детства. Например, изобразительному. Как там и что. По каким законам. Композиция, перспектива, пропорции. Анатомия человека, коня, оленя. Девушка с веслом, пионер играет на горне. Ленин с кепкой в руке. Посмотришь – и сразу станет хорошо. Натюрморт, пейзаж, портрет, черный квадрат, смерть комиссара. Всё это завораживает. Как это делается – непонятно. Просто нужно учиться с детства. Немного способностей и необходимый инвентарь: краски, кисти, глина, холст, каркас.

И к музыке лучше приступать с детства. Дорого стоит и инструмент: аккордеон, скрипка, пианино, гобой. Хоровое пение – дешевле. Только дирижер с палочкой. Танцы тоже недорого. Костюмы и музыкальное сопровождение. Литература – самое загадочное из искусств. Не нужно специально учиться с детства. Никаких дорогостоящих инструментов. Перо, бумага. Опыт жизни. Мои университеты. Садись – пиши. Но не у всех получается. А у кого получается, то откуда это берется? Лев Тол-

стой, Николай Гоголь, Михаил Булгаков. Но не будем перечислять. Неизбежно пропустишь и кто-то обидится. А хочется, чтобы всем было хорошо. А не только перечисленным. Даже чтоб перечисленным было лучше, чем перечисленным, хочется.

Казалось бы, откуда? Тридцать две буквы в алфавите, кажется, как зубов во рту, плюс знаки препинания. И можно создавать такие замечательные произведения. Не будем перечислять. Литературная реальность иногда перешибает жизненную реальность. Написать хорошую вещь – это тоже трудовой подвиг. Не слабей Стаханова.

Эрнест Хемингуэй исписывал девять карандашей за свой рабочий день. От кончика до кончика. Такая была норма. Даже если что-то и уходило в брак.

Лев Толстой без сознания, на смертном одре, в комнате билетной кассы на вокзале, продолжал водить рукой. Как будто записывал. Хотя пальцы уже выпустили перо.

Фридрих Шиллер держал ноги в тазу с ледяной водой до тех пор, пока не напишет страницу.

Омар Хайям пил вино пиалами, чтобы написать четыре строчки. Хотя вера запрещает. Как он объясняет, то получается, что есть только миг между трезвостью и опьянением, когда пробивается истина. Этот миг короткий, поэтому и стихи у него короткие. Одним словом – рубайи.

Теодор Драйзер перед работой ставил себе клизму из секретного травяного настоя, тайну которого унёс с собой.

Героический литературный труд иногда переходит в каторжный. Фёдора Достоевского на весь день запирали в кабинете и выдавали еду в обмен на исписанные страницы. По весу.

Антон Чехов, когда работал, не ел весь день. Только бульон и кофе.

Амадей Гофман писал с бутылкой рейнского и никогда не перечитывал написанного. Смотрел только вперёд.

Оскар Уайльд в последнее время не прикасался к женщинам, сублимируя энергию в творчество.

Если придерживаться принципа: ни дня без строчки, – то за десять лет можно написать 3650 строк. В таком примерно объёме. По-восточному – диван. По-нашему – поэма в стихах или крепкая повесть. За сто лет можно написать роман-трилогию типа «Хождения по мукам». Всего по строчке в день. Но можно писать и больше. И жить дольше.

Но и непросто всё же быть писателем. Иногда даже опасно. Густав Флобер, когда писал «Мадам Бовари», считал себя дамой и просил быть повежливей.

Максима Горького кто-то ткнул в спину ножом, как раз в тот момент, когда он за письменным столом описывал сцену поножовщины. Очнулся весь перебинтованный.

Если бы Лев Толстой писал в день по строчке, то чтобы написать то, что он написал, ему пришлось бы жить три тысячи лет. Это маловероятно, но факт. По цифрам так выходит. У многих

не получается даже строчки в день. Даже в неделю. Это хорошо. Если человек и не хочет этих строчек. А если хочет и не получается? Тогда это не очень хорошо. Ну, хотя бы строчку в месяц. Это получается сонет по итогам года. По-восточному что-то вроде таржибанда. Небольшой рассказ за десять лет. Через сто лет – это уже маленькая повесть в твердом переплётё с картинками.

По школьной программе запомнился ещё такой пример из урока анатомии. Учительница сказала, что, предположим, положили человека на очень точные и чувствительные весы. Как бы голова находится на одной стороне весов, а ноги на другой. Весы уравновесить. И если попросить этого уравновешенного человека пошевелить мозгами, задать ему задачку по арифметике, чтоб он попробовал ее решить или произвел любую другую мысленную работу, мы увидим, что весы начнут медленно склоняться вниз той стороной, на которой покоится голова. Голова стала тяжелее, к ней прихлынула кровь решать задачу. Питать голову необходимыми веществами для умственного процесса. Как бы пример, доказывающий, что мысль материальна, что ли?

А теперь попросим лежащего перестать думать, а наоборот, пошевелить пальцами ног. Обнаруживается, что весы начинают клониться в другую сторону. В сторону ног. Что это доказывает? Что, какой частью тела будешь шевелить, та и будет развиваться благодаря притоку крови. Можно развивать мышцы, а можно интеллект. Можно и то и другое по очереди. Мы не ставили такой опыт. Поверили учительнице на слово. Проверить затруднительно, негде взять такие весы. Но, в общем-то, логично. Верится и без проверки.

Но на практике кровь в какой-то момент стала самостоятельно накапливаться в другой части тела. Без всякого усилия. Где-то посередине. Оказалось, наступило половое созревание. Так, между делом. Втихаря. Без официального предупреждения. И что теперь с этим делать? Ведь не шуточки. На всё смотришь совсем по-другому. Другими глазами. Половое влечение, похоть, – высокое это или низкое? Думаешь всё время об одном. Это серьезная проблема. Тебе с ней жить и жить. Давление изнутри постоянное. Случаются ночные поллюции. Вытекает непонятная жидкость с небывалым, очень приятным ощущением. Становится легче. На полдня. Потом снова появляется, еще пуще. Кровь сама приливает, автоматически.

Чтоб помочь ночной поллюции, начинаешь ерзать, помогать руками. Машинально, как в бреду, со сна. В общем-то, с неплохим результатом. Но это же стыдно. Это не выход. Как-то не ожидал такого полового созревания. Как-то оно усложняет жизнь с непривычки. По всем параметрам. Наблюдается сильная зависимость от постороннего фактора. Теперь понятно, почему люди женятся. Получается, что женишься поневоле,

чтобы снять напряжение. После такого снятия ты обязан жениться, как порядочный человек. Жениться вроде бы рановато в тринадцать лет. Какие еще варианты, кроме женитьбы? Проституции у нас нет. Искоренили тяжелое наследие. Да и денег нет заплатить. Тоже почти искоренили.

Есть, конечно, девушки лёгкого поведения. Но они путаются с полууголовными элементами где-то в подвале. Со второгодниками. Юлик Аранов говорит, что уж лучше заниматься онанизмом, чем водиться со шлюхами. Теряется уровень. Они его опускают. А онанизм, значит, не опускает. Юлик старше, у него уже есть опыт сравнивать. Можно один раз наплевать на уровень. Но они путаются с элементами в подвале. Хорошистов туда не пускают.

Будем терпеть. Заниматься спортом, науками, йогой, искусством. Тянуть время. Будем дружить с девочками из класса. И ждать дальнейшего развития событий. Может, как-то само утрясётся.

Со Светой Ивановой нам было идти в одну сторону по дороге из школы. Если стартуем одновременно. В одну сторону, но мне в два раза дальше, типа, до ее дома километр, до моего – два. Сошлись на почве понимания юмора. Я шутил – она смеялась. Очень была смешливая. Мне это нравилось – есть ответная реакция.. Не то чтобы я стал хохмачом со временем, но что-то вроде этого, когда рядом смешливые.

Шли мимо республиканского телецентра с огромной ажурной телевизионной башней. Длина башни – 198 метров, амплитуда раскачивания верхушки – пятнадцать метров. Вес – пятнадцать тысяч тонн. Если упадет, как раз до школы достанет. Телевизионная связь со всем миром. То есть, в основном, с Москвой. Она непосредственный начальник. Плюс железный занавес на западе. Две общественные, черно-белые тогда еще, программы. Московская, на русском языке, естественно, и местная на двух языках поровну. Некоторые фильмы дублированы на молдавский язык. Язык коренного населения республики.

Слева через шоссе раскинулись виноградники и огороды частного сектора. Со сторожем сезонным в период созревания урожая. У сторожа берданка на плече. Говорят, может бабахнуть солью в задницу. Берданку носил на плече стволом вверх. Просто некоторые носят стволом вниз. Так я уточняю.

Шли мы не спеша. Я шутил, Света смеялась. Иногда говорила: всё, перестань, не могу больше смеяться. Но мне нравилось её смешить. Значит, у меня получается. Стану классным юмористом со временем. Можно даже зарабатывать, если на злободневные темы. Так что я не мог остановиться. Всё хотел, чтоб посмешней.

Путь лежал вдоль шоссе. Называлось Котовское шоссе и вело напрямиком, то есть с живописными зигзагами, в город Котовск, километрах в тридцати. По старому – Ганчешты. Там он родился – герой Гражданской войны Григорий Котовский. Тогда

ещё не давали Героя Советского союза, а награждали именным оружием и называли в их честь города. Сейчас город опять вернул девичью фамилию. Вместе с реалиями. То есть, исчезли свет, газ, вода. Не полностью исчезли, а с перебоями исчезли. Но это не так важно. Главное, есть свобода. А тогда Котовсков было даже два. Один – где родился, второй – где погиб. Погиб где-то на Украине, километрах в трёхстах. Был убит злодейской вражеской пулей, подло, из-за угла. Хотя гражданская война уже кончилась. Наступило мирное время – время созидания.

По неофициальной версии всё немного иначе. Григорий Котовский был здоровенный мужик с нестандартной внешностью, бритый наголо, с квадратиком усов под носом. Авантюрист и любитель женщин, он был полновластный хозяин в бригаде. Не бригадир, а комбриг. Самый главный командир.

В общем, я не послушался Свету и не перестал шутить. И дошутился до того, что она стала меня сторониться и даже избегать. Просто удирала от меня, сверкая пятками. Хотя я чувствовал, что она ко мне хорошо относится при всём при том. Это было необъяснимо. Так всё было хорошо. А стало хуже некуда. Долго думал и гадал в чём дело, ночами не спал. Кое-что сопоставил, вспомнил, как она однажды резко побежала в туалет. И вдруг догадался, в чём дело. Я лично отношусь к этому с пониманием, сам лет до пятнадцати, случалось, по ночам ловил рыбу в постели. Это стыдно и неудобно перед окружающими, когда не полностью контролируешь свой мочевой пузырь. Кто во сне, а кто во время смеха. Вот такая незадача. Не совсем удачно получилось у нас со Светой. Бросила она меня. А что бы я сделал на ее месте? Да я бы закопал этого юмориста неугомонного на ее месте. То есть самого себя. Она ещё благородно поступила, просто отошла в сторонку. Наступила на горло собственной песне, если у неё что-то было ко мне. Какое-то чувство.

Надеюсь, что всё это возрастное и давно прошло. У меня, например, миновало. В противном случае Светке придется выбирать мужа без юмора, если будет, из чего выбирать. Интересно, был ли в её жизни подвиг, не считая этого случая.

Комбриг Григорий Котовский на ночь глядя, по неофициальной версии, послал своего ординарца, посреди пьянки, вдруг, в соседнюю бригаду с донесением. Или дивизию. Полночи скакать на лошади в темноте. Что-то такое срочное к соседнему командиру. Не терпящее отлагательств.

В дороге ординарец тоже, видимо, что-то сопоставил, вспомнил, какие-то взгляды, слова, может быть, намеки. И остановил лошадь. Или, там, коня. Пошел на должностное нарушение, вскрыл срочный пакет в соседнюю инстанцию. Внутри пакета лист с донесением оказался чистым. А у него дома осталась молодая красивая жена. А Григорий Котовский посреди пьянки в своей вотчине. Хотя чистый лист тоже может оказать-

ся донесением, если кто понимает. Ординарец понял по-своему. Он всего навидался на службе и знал командира как облупленного. Он проверил патроны в револьвере и повернул коня обратно. Или лошадь. Так погиб герой Гражданской войны Григорий Котовский, по неофициальной версии. А по официальной – от вражеской бандитской пули из-за угла.

Со Светой Ивановой мы расставались на полдороге. На моей полдороге. А она уже пришла. Жила она в небольшом двухэтажном доме на четыре квартиры. Типовые дома вдоль Котовского шоссе, штук двадцать в ряд. Полезная площадь – двадцать квадратных метров. Неполезная, то есть, общая площадь – тридцать квадратных метров. Две комнаты, кухня, совмещенные удобства, то есть туалет вместе с душем, всё как у людей. Благоустроенная считается квартира. Плюс сарай для дров и угля во дворе. У каждой квартиры своя ячейка – восемь метров. На сей раз кубических. Еще там хранились санки и лыжи. У кого были. Зимой кататься по снегу с горок. Короче – зимний сарай. Летний сарай – это, по идее, погреб. Погребов в этих домах не копали.

Дальше я пошёл один. Вдоль дороги росли акации. Цвели и сладко пахли весной. Осенью акации покорно теряли свои золотые листочки, похожие на монеты. Величиной примерно с юбилейный железный рубль. Зимой гнули голые ветки, раскачиваясь на влажном ветру. В дождь ветки блестели, и с них капало. Или когда на ветвях иней, они кажутся ломкими, хрустальными. Я тоже так хочу. Например, цвести и пахнуть по весне. Иметь свое постоянное место на земле. Корни под землёй. Крону, смотрящую в небо. И чтоб иногда с меня капало. И никаких тебе сексуальных проблем. Как-то они легче решаются на уровне дерева. Но человек – не дуб, не сосна и не сирень. Хотя он тоже может цвести и пахнуть иногда. У человека всё-таки больше возможностей в жизни, чем у дерева. Это надо осознать. А не быть чуркой.

Между двумя троллейбусными остановками, последней и предпоследней, учредили дополнительную, по требованию. Остановка: Общество слепых, улица Забайкальская. Там они жили и работали. Клепали декоративные гвозди для обивки. А недалеко обитало и общество глухонемых. Интересно было наблюдать, как, став в кружок, чтобы видеть друг друга, глухонемые долго оживлённо разговаривают руками, перебивают друг друга, спорят и всё молча. Что за тема такая интересная, о чем диспут?

Причём в Обществе слепых жили и мужчины, и женщины. Женились между собой. И дети были. А в Обществе глухонемых жили одни мужчины. Здоровые, крепкие, наглые. Они не клепали гвозди. Занимались фарцовкой под защитой инвалидности. Банда глухонемых. Их все боялись. Они же слов не понимают, криков не слышат. Бьют, пока не увидят кровь.

Дальше последней остановки троллейбус не ходил. Троллейбусные провода плавно поворачивали в обратном направлении. И не могли соединиться. В общем, и город заканчивался как таковой. За остановкой располагалось ещё одно общество: ДОСААФ. Добровольное общество содействия армии и флоту. Функционировали, в основном, курсы вождения. Были секции мотоспорта, стрелковая, прыжки с парашютом. Жили в общежитии тут же. Выходили драться стенка на стенку с местными по выходным. Милиция приезжала, ждала в сторонке, чем дело кончится, не выходя из машин. Потом подбирала вырубленных.

Три общества на один квадратный километр – это не слабо. Если эти общества соединить и вывести общий знаменатель, то получили бы гармонически развитую личность строителя коммунизма. Так представляется.

Из школы домой идти со мной по дороге было только ещё одной девочке, Наташе Темченко. Ей было идти даже на пятьдесят метров дальше по той же улице. Вернее, переулку. Назывался он 2-й Можайский переулок. Контр-адмирал Александр Можайский изобрёл и построил первый русский воздухоплавательный аппарат (самолёт) в прошлом веке. В советское время он был бы Героем Социалистического труда. Лауреатом Госпремии. Он и не подозревал о такой возможности и ни о чём поэтому не жалел.

Мы с Наташей вместе почти не ходили. Юмора она не понимала. Была диковатая, неадекватная. На вид симпатичная, по всем предметам успевала. Но с завихрениями. Это чувствовалось. Как-то она писала в классе белым мелом на чёрной доске. Разбор предложения. Или математическую формулу счастья. Что-то такое длинное. И как бы вошла в творческий экстаз. Чтобы не нагибаться писать внизу доски, она бухнулась на колени и продолжала писать, так и передвигаясь. Порыв почему-то не оценили. Кто-то ей крикнул с камчатки: стань на ноги, дурында, пол запачкаешь.

Вместе почти не ходили. Хотя она не была ко мне равнодушна полностью. Назвала свою новую собаку моим именем и помыкала псиной. Украла у меня Сэлинджера и хвасталась этим. Умыкнуть хорошую книгу – это не воровство, по ее мнению. Понятно, что за это не сажают. Пока. Но как её в дом пускать после этого. С такой этикой.

Целовались с ней два раза с перерывом в четыре года. Один раз непосредственно по месту жительства. Другой раз в городе-герое Одессе. У Черного моря. Где она училась в институте.

Её старшая сестра вышла замуж к тридцати. Мать – домашняя хозяйка. Отец – директор винзавода. Уазик увозил его в шесть утра и привозил в десять вечера. Директор винзавода в Молдавии – это уважаемый и очень, должно быть, состоятельный товарищ. Он умер неожиданно рано, не сообщив, видимо, родным, где оно – это состояние. Потому что жили они как все.

Не жировали. Он даже не пил. Курил – да, много. По утрам кашлял на всю округу, пока его не забирала машина. И кашель замирал вдали.

Второй раз дело, значит, было в городе Одессе у приятеля на раскладушке. Она студентка, я уже бывший. Она мне сказала прямо после поцелуев: сопротивляться я не буду, считаю ниже своего достоинства, но завтра утром пойду в милицию и скажу, что ты меня изнасиловал.

Как же так... Некоторые, например, любят, чтоб посопротивлялись немного. Хотелось капельку любви, человеческого тепла на донышке. При чем здесь милиция? А ведь в школе училась хорошо, в институт поступила. И с виду симпатичная, без дефектов. Но такие странности...

Котовский был лихим кавалеристом. Он начинал свою легендарную деятельность в бессарабских лесах, как местный Робин Гуд. По официальной версии. Грабил богатых и раздавал бедным. Членам своего отряда, в основном, я думаю. Тоже отчаянным кавалеристам. А кто богатый, кто бедный, не очень-то понятно. Были же и середняки. Промышляли, в основном, по путям и дорогам. Налетали на горячих конях, поднимая тучу пыли.

В наше время ещё жили люди, которые видели Котовского в деле. Отец Толика Стоянова наблюдал его лично. Мы с Толей были одногодки, да и теперь пока ещё вровень. Мой отец, например, в отличие от его отца, родился через десять лет после гибели комбрига и видеть его не мог, даже если бы захотел. И в музее не был ни разу, хотя музеев даже два, на выбор. Один крохотный на родине, в доме, где Григорий родился. Другой музей большой, в столице республики, на паях с Сергеем Лазо, тоже героем Гражданской войны. В музее у них примерно равные экспозиции по объёму и содержанию. Там, где Лазо родился, сейчас город Лазовск. Вернее, посёлок городского типа. А вот могилы у Лазо нет. Японские интервенты сожгли его живьём в топке паровоза. Большой, видимо, на него имели зуб узкоглазые милитаристы.

Фотография паровоза в музее представлена. Вообще, экспозиция не бедная. Одних пулемётов четыре штуки. Сабель без счёту.

Котовский с молодцами налетел на их обоз прямо среди бела дня. Тогда-то отец Толи Стоянова и увидел его живьём. Причём обоз – это как раз в целях безопасности, чтоб не грабили поодиночке. Но Котовскому обоз даже удобнее, солиднее, берешь сразу, оптом.

Чего крестьянину не хватает? Всё у него своё, натуральное, хозяйское. Со стороны нужно только: соль, мыло, спички, керосин. Они и везли соль с лимана. Крупную, грубую, солёную, в мешках.

Налетел отряд сабель в двадцать, лица такие, что и порешить могут. И подвод двадцать в обозе. Зачем им соль? Лучше деньгами, чтобы разойтись с миром. Пришлось скинуться с каж-

дой подводы. Заплатили как бы пошлину за проезд. Бригада Котовского контролирует район, чтобы знали. Так что со всеми проблемами к нему. Должны же Котовские как-то кормиться. Время идёт, обоз проходит, скрипя, а Котовские остаются в истории.

После окончания института Наташа вернулась домой. Это был как бы шаг назад. Если Одесса была шагом вперед. Жить в Одессе считается престижней, чем в нашем городе, процентов так на тридцать пять. Хотя мы и столица республики. При равноценном обмене жилплощади, например, нужно было доплачивать, чтобы переселиться в Одессу. В первую очередь, за счет моря. Если из Кишинева можно уйти, уехать, улететь, то из Одессы можно еще и уплыть. И наоборот, приплыть. Открываются дополнительные возможности для тех, кто в пути. Населения – за миллион, раза в полтора больше, чем в Кишиневе. Людей больше, а каждый человек – это загадка, нераскрытая тайна. Значит, и в городе больше таинственности. Курортный город. За счёт курортников можно крутиться. Одесса – столица юмора. Процентом на тридцать пять больше юмора, чем в других городах. Так что, шаг вперед, два назад.

Москва, в сравнении с Кишиневом, в два раза престижней. Двухкомнатную квартиру здесь меняют на однокомнатную в Москве. Да ещё поискать нужно. Или четырехкомнатную здесь на двухкомнатную там. Где-нибудь на окраине. Снабжение в Москве по первой категории. Выше Москвы нет. Маячит где-то граница, не без этого. Но за железным занавесом. И мы говорим на разных языках. Если из Одессы в Кишинёв – это шаг назад, то из Москвы в Кишинёв – что-то типа ссылки.

Наташа вернулась, устроилась на работу, может быть, даже по специальности, но какая специальность, мне не уточнить. Никто её толком с мужчиной не видел. Но к тридцати годам принесла в подоле. Так что не обошлось без мужчины. А может быть, из пробирки. Она такая. Но в пробирку-то всё равно из мужчины. Так что не обошлось. Наташа с матерью и с дочкой живут втроём в отчем доме. Кобель-тёзка сдох от старости. Мужчины обходят дом стороной. Видимо, их особенно и не привечают. Был один в доме, но приезжал затемно, уезжал чуть свет, умер рано. Не обошлось без мужчины.

В окрестностях нашего поселка много природы. Каждый двор – как живой уголок. Много живности. Сплошные сады и огороды. На улице Александра Попова растут огромные пирамидальные тополя с серебристой листвой. С изнанки лист матовый, с лицевой стороны – серебристый. Ребро двухслойное матово-серебристое. Высокие тополя, метров двадцать росту. Когда же их посадили, спрашивается? Еще при румынах, видимо. До прихода советской власти. Значит, делалось что-то хорошее и при предыдущем режиме. Попов жил еще при более предыдущем режиме, при царизме. Он изобрёл радио и бес-

проволочный телеграф. Вдоль улицы имени Попова стоят столбы с проводами. Пирамидальные тополя стоят гуще, чем столбы, но без проводов. Они могут символизировать беспроволочный телеграф, для тех, кто понимает. Что Попова связывает с Бессарабией – неизвестно. Что-то внутреннее.

Посёлок застроен частными небольшими домами. Практически одноэтажными. Некоторые с мансардами. Каждый дом стоит на участке земли в шесть соток. Это шестьсот квадратных метров. В семье в среднем по шесть человек. По сто квадратных метров на каждого. У баптистов, что живут на отшибе, в семье, вместе со стариками, шестнадцать человек. Режиссёр Еврейского театра Адольф Израилевич живёт в своём доме один, на тех же сотках. А в среднем, получается, по шесть человек в семье. Режиссёру семьдесят лет, но к нему ходят девушки, на репетиции.

Туалет во дворе. Канализация пришла позже. Воду носили из колодца ведрами. Колодец в полукилометре. Потом появились водопроводные колонки общественного пользования. В ста, приблизительно, метрах. Потом скинулись каждым двором и провели воду по трубам в каждый дом. Скинулись ещё раз и проложили асфальт в переулке.

В нашем дворе было две семьи. По полдома. Так что скидываться получалось дешевле. Но квадратных метров земли на каждого приходилось меньше. Примерно по шесть квадратных метров. Много ли человеку земли нужно. У тех, кто живёт на этаже, и того нет.

Во дворах ничего лишнего не растёт, только то, что плодоносит. Приносит плоды. Только то, что можно съесть или продать. Фрукты, овощи, ягоды, цветы. На потребу. Излишки можно продавать возле магазина. А покупают как раз те, кто живёт на этаже, с удобствами. Безземельные. Посадить бабушку продавать малину кулёчками. По пятаку полный кулёк.

Электричество провели сразу, по мере заселения. По проводам на столбах. Почти в каждом доме на почётном месте телевизор с антенной. Черно-белый в то время. Вначале готовили на керосинках. Потом появился газ привозной в баллонах. Для отопления в каждый дом встроена печь. Зимы бывают снежные. Растапливают дровами, а после кидают уголёк совком. Позже провели природный газ по трубам, говорят, аж из Сибири. Всё во благо человека. Тоже пришлось скинуться с каждого двора. И печи переоборудовали под газ. С водяными батареями в каждой комнате. Можно было уже поставить и ванну, если есть место в доме. Но дешевле и здоровее обливаться холодной водой во дворе в любую погоду из ведра. И унитаз можно поставить со сливным бачком на цепочке. Человек хочет жить лучше. С удобствами. Почему нет?

Посёлок считался уже в черте города. Бывшая деревня Скиносы. А в городской черте держать крупный домашний скот воспрещается. Ни лошадь нельзя, ни корову с рогами. Лошадь имела только у участкового врача, как исключение. Он ездил по

вызовам на собственной бричке, как земский врач в прошлом веке. Многим больным становилось лучше от одного вида лошади, привязанной у их калитки. Есть что-то в лошади оздоравливающее. Тем более, если с ней приезжает ещё и врач.

Можно одну свинью, одну козу, пару овец. У многих во дворе куры, индюшки, гуси. Свадебный петух, чтоб кукарекал по утрам. Можно много кроликов в клетках. Дядя Федя так и начинал, с кроликов. Они быстро размножаются между собой. Грубо говоря: мясо – на жаркое, шкурки сдавать в заготконтору по рубль семьдесят штука. Из крашенных шкурок делались шапки и продавались населению по двенадцать девяносто. Имели спрос, расходились на ура.

Потом резко перешли на выращивание ондатр. Это водяная крыса с характерным прикусом. Два клыка на всю пасть. Может укусить, если разозлить. Мясо, в принципе, тоже можно есть, если знать, как приготовить, чтобы отбить запах. мех серый с серебристым отливом. Шкурки не сдавали. Сами выделывали, сами шили шапки и продавали на рынке по 180, тогда ещё крепких рублей. Минимум. Смотри, какой размер.

Это, чтобы греть голову. Вязались шерстяные носки домашней ручной вязки, чтобы греть ноги снаружи. Давили виноград на вино, чтобы греться изнутри. Делали чистое сухое вино для собственного употребления по возможности регулярно и до следующего урожая. И не совсем чистое, с добавлением воды и сахара, на продажу. Хотя это и запрещалось. В нашей стране существует монополия государства на производство и продажу спиртных и других напитков. Воду из колодца бери бесплатно, это да. И не нужны нам конкуренты.

Причём, иногда во дворах продавалась суцая отравка под видом вина. После употребления такого вина забывались многие факты биографии. И не сразу вспоминались.

И бочар жил на нашей улице. Профессия такая. Это человек, который делает бочки. По национальности – албанец. Как попал в наши края – неизвестно. Дети уже не говорили на албанском, только на русском.

300-литровая новая бочка продавалась за 300 рублей. Условно, по рублю за литр. Так ведь и вино у нас так продавали: рубль – литр. Получается, что за год бочка себя почти полностью окупала. 500-литровая бочка стоит 400 рублей и, значит, окупается быстрее, чем 300-литровая. 200-литровая стоит 250 рублей и, соответственно, окупается медленнее, чем 300-литровая. Интересная вообще тема: что окупается и что не окупается.

Затраты на курицу, предположим, окупаются за полгода. Потом она приносит только доход. Откладывает яйца, высиживает цыплят, ходит по двору туда-сюда с деловым видом; какая-то она даже компанейская. Свинья окупается примерно в десять раз. Когда идёт на мясо, сало, колбасу, холодец. И становится частицей нас, поскольку мы её съедаем. Кролик, в среднем, окупается пятикратно. Мирный, пушистый, мягкий. Можно

спокойно погладить. Тёплый. Есть от него отдача. Опять же мясо и шкурка, грубо говоря. Даже больше, чем в пять раз. Ест траву, капустные кочерыжки. Глаза красные, сам белый, уши длинные, губа заячья.

Козе вообще цены нет. Она окупает себя каждый день, ещё и другим остаётся. Даёт молоко два раза в день. Бабушка её доит, делает творог, брынзу, сметану, масло. Ест коза только траву. Очень деликатные у козы отходы. Маленькие, круглые, как горошины, аккуратные. Почти без запаха. Может, стоит и человеку перейти на траву. В смысле запаха. Коза почти член семьи, без права голоса. Говорит «ме-е-е». Интересно, о чём она думает. Коза не фальшива, держит себя естественно, с достоинством, может быть, потому, что себя окупает.

Окупает ли себя человек? В человека вкладывают с детства и родители, и государство. По мере возможности. Некоторые окупаются, другие не окупаются. Частично те, кто не окупается, живут за счёт тех, кто окупается. В сбалансированном обществе. От каждого по способностям.

Я лично не чувствую, что я окупаюсь. Честное слово. Это меня беспокоит. Окупаться бы хотя бы как кролик, в пять раз. Это меня сильно тревожит. Не говоря уже о свинье, в десять раз. В меня вложено больше, чем я отдаю. Это меня сводит с ума. Кто я такой по сравнению с козой, в смысле окупаемости? Не говоря уже, по сравнению с вечностью.

Потом в округе стали повально строить парники и теплицы. На тему окупаемости. Для дополнительного тепла. Выращивать цветы к 23 февраля и 8 марта. 23 февраля женщины нам дарят цветы, и празднуем по всей программе. 8 марта мы дарим женщинам цветы и говорим хорошие слова. И вся страна гудит в обязательном порядке.

Теплица окупается за два-три года, а потом уже должна приносить чистый доход. На одних цветах. Без запаха даже. Тюльпаны, гвоздики, гладиолусы. Каркас покрыт прозрачной плёнкой. Внутри поддерживается определённая положительная температура и рекомендуемая влажность. Отапливается соляркой из форсунки с моторчиком. И можно на этом деле приподняться. Если сразу не прогоришь.

Но особенно вспоминается 1 Мая, переходящее в 9-е. Посередине День Печати и рождение Фридриха Энгельса. Какой был всё-таки военный парад на Красной площади в городе-герое Москве. Никогда ещё Советская власть не жила так долго без войны. Потому что бояться. Праздничная добровольно-принудительная демонстрация трудящихся на центральных площадях всех мало-мальски уважающих себя городов в стране. Транспаранты, плакаты, цветы, портреты вождей и членов Политбюро. Где сейчас эти привычные почти родные лица. Страшно далеки они от народа.

В 21.00 производится артиллерийский салют из пушек в городах-героях и столицах союзных республик.

В магазинах по случаю праздника появился дефицит на прилавках для поднятия настроения. Дружно покупаем майонез, горошек, колбасу варёную. Можно крошить любимый салат «оливье» в большой миске.

Выкидывают на лотки недорогую птицу, типа кур, из птицефермы. Появляется хрен в баночках, не больше двух в одни руки. И просьба два раза очередь не занимать. Хорош хрен для холодца из курятины или свиных ножек с половинкой яйца посередине. Не обойтись и без голубцов со сметаной. Любимые праздничные блюда трудящихся.

В мае уже во всю цветут сады и роняют белые и розовые лепестки. Стволы деревьев побелены известью от вредителей. Цветёт и благоухает сирень во всех дворах, культурная и дикая. Девушки оголили локти и коленки, то, что гнётся и пихается. После майских никаких особых праздников нет до ноябрьских. Аж до первых морозов. Если не считать лето праздником.

Чтобы тюльпаны успели к 23 февраля, топить нужно начинать с Нового года. Процесс называется выгонкой. То есть ты выгоняешь их из земли раньше времени, до срока. Ради денег. Потом клубни два года болеют, не дают цветов. В знак протеста. Обижаются на выгонку. И я б на их месте обиделся. Искусственно нарушается цикл смены сезонов. Уже над всем земным шаром наблюдается парниковый эффект. В мире становится теплей. Но озноб не проходит. Мы все оказались под колпаком.

Ходить в школу нужно каждый день, кроме воскресений, праздников и каникул. Вынь да положь, десять лет, как одна копеечка. Десять лет – это обязательное среднее образование для детей. Кто уже проскочил, стал взрослым, тем не обязательно. Тем, кто ещё не родился, уже обязательно. Или можно восемь классов школы, а потом пойти в техникум. Получаешь специальное среднее образование вместе с профессией. И можешь на этом завязать с учёбой. Пойти зарабатывать. Но и продолжить тоже есть куда: институт, аспирантура, Академия наук. Самообразование.

От дома до школы полтора километра пешком. Можно за три копейки проехать одну остановку на троллейбусе и ещё полкилометра вперёд пешком до школы. Или проехать две остановки за те же копейки и идти полкилометра назад. Получается, что троллейбус останавливается через каждый километр, а не там, где нужно. На каждом километре остановка. Так постановили в горсовете по просьбе трудящихся. Из конца в конец через весь город, если подсчитать, получается восемнадцать остановок на сегодняшний день. Итого восемнадцать километров с юга на север. Можно пройти пешком за четыре часа.

Наша школа № 23 на улице Демократической. По большому счёту, у нас все улицы демократические. А дальше продолжается научная тема: улицы имени Прянишникова, Докучаева, Сеченова.

Академик Дмитрий Прянишников, учёный, Герой Социалистического труда, основатель агрохимической школы, лауреат Ленинской премии, почвовед, лауреат Государственной премии, специалист по удобрениям. Всё как полагается, есть на кого равняться. По одну сторону вдоль улицы Прянишникова располагались сады экспериментального совхоза Академии наук по выращиванию растений из почв. С почвами, и правда, бывают проблемы. Есть плодородные почвы и не очень. Так что Прянишников здесь очень ко двору. То, что улица Прянишникова рядом, очень помогает.

В совхозе выращивают экспериментальные сады. Типа мичуринских. В разработке, например: крупная черешня разного цвета с голубиное яйцо; особо сочный персик с гладкой кожицей, почти без замши; яблоки цилиндрической формы; сверхсахаристый виноград, типа изюм. Мать Коли-сибиряка (они приехали недавно из Сибири) работала в совхозе на прополке. Девяносто рублей в месяц, восьмичасовой рабочий день. Всё время на воздухе, отсюда специфический загар до платочка. Лицо загорелое, чёрное, а лоб совершенно белый под платочком. В дождь не работали. Да и в пургу тоже. И вообще, что они делают зимой, когда нет прополки, подрезки, окучивания, опрыскивания, сбора плодов. Когда трещит мороз за окном. Идут ли им деньги? Девяносто рублей в месяц. Это в колхозе зарплату не получают, там всё на трудодни. А в совхозе должны платить. Не много, но исправно.

Школа средняя русско-молдавская с чертёжным уклоном. Хотя черчение кончилось в четвёртом классе, и больше о нем не вспоминали. Но уклон чувствуется. В молдавских классах преподавание на молдавском, в русских – на русском. На какой хочешь язык, на такой и записывайся. Без давления. В молдавские классы записывались только молдаване. В русские классы помимо русских ходили и многие молдаване. И те, что от разных родителей, в смысле разных национальностей. И все другие национальности записывались в русские, а не молдавские классы. А национальностей в школе было свыше двадцати пяти. Происходила тихая русификация правого берега, до недавнего времени – румынского. У румын тоже была национальная политика. Им тоже пришлось нелегко с населением. При царизме Бессарабия входила в состав Российской империи на общих основаниях. Кто на каком языке хотел, тот на том и говорил. В деревне – на молдавском, в городах – на русском. Были и переводчики, как профессия.

В 18-м году пришли румыны и запретили русский язык как язык общения. В сороковом Молдавия объединилась, и сняли запрет с русского языка. Через год с фашистами снова пришли румыны и опять запретили русский язык, советскую власть и коллективизацию. В сорок четвёртом советские войска освободили Молдавию. И вновь стало почти всё по-русски. И по-советски. Так что у каждого своя политика.

С улицы Прянишникова автобус, например, поворачивал на улицу Дзержинского, если ехать к центру. Феликс Дзержинский – первый советский милиционер, кагебист и пограничник. Железный Феликс. Холодная голова, горячее сердце, чистые руки. Что-то в этом роде. В честь него было переименовано четыре посёлка: Растяпино, Кайданово, Щербиновка, Угрешник. Стало просто и однозначно – Дзержинск. И немного зловеще. Вполне логично, что на улице Дзержинского расположена Республиканская школа милиции. Называется школа, а фактически – техникум, принимают туда только после восьмилетки. Это нельзя объяснить, это нужно запомнить. Милиционерами не рождаются, ими становятся, и даже учиться нужно специализации. Это канарейка и попугай с детства канарейка и попугай. По факту рождения. Поэтому и не попадают в жизни маленькие милиционеры, а только взрослые особи. Это надо запомнить.

Налево – улица Дзержинского, направо – Костюженское шоссе. Ведёт в небольшой посёлок Костюжены и там обрывается. Дальше дороги нет. Там психиатрическая клиника на две тысячи коек. Там живут и лечатся сумасшедшие. Для врачей построены квартиры в том же посёлке. Обслуживающий персонал, в основном, – из местных жителей, живущих в частном секторе неподалёку. Тебе давно пора в Костюжены – означает, ты больной и не лечишься.

По легенде, раньше там было имение богатея. Было у него двое детей: Костя и Женя. Они трагически погибли при невыясненных обстоятельствах. Отец не вынес этих обстоятельств и тихо помешался. Он стал первым пациентом в своём имении. Подобное притягивает подобное. Когда румыны ушли и появились русские, богатея не стало как класса. Пусть даже они и сумасшедшие. Всех касается. Имение экспроприировали, самого уплотнили. Подселили сумасшедших, стали лечить. Через пятнадцать лет тут уже Республиканская клиническая больница с 16 отделениями. В каждом отделении человек по сто больных. Плюс обслуга: санитары, медсёстры, истопники, работники кухни, архивист, человек при морге, девушки в регистратуре, садовник, ремонтная бригада, завхоз, разнорабочие, кладовщик, киномеханик, завклубом, главный аптекарь, массовик-затейник при клубе, библиотекарь, сторож на воротах, прачки, гладильщицы, крахмальщицы.

Костюжены – в честь Кости и Жени. Бывший богатей здесь – самый первый пациент, как Дзержинский – первый пограничник.

Мне его представили на прогулке. Или меня ему представили, непонятно. Он не опустил. Осанка, выправка, благородные черты лица. Одежда цивильная. Везде ходит один, без санитаров. Но он полностью отгородился от жестокой действительности. Стихами отгородился от жизненной прозы. Говорит только в рифму. Если говорит. А если не в рифму, то не говорит. Поговорил с нами немного стихами, пока сам не решил, что достаточно. Чинно откланялся и пошёл дальше. Нынешнее

поколение сумасшедших – вульгарные типы по сравнению с такими реликтами. Попадают, конечно, высокие темы, но, в основном, не очень. И никогда ему отсюда не выписаться. Да и некуда. Он в собственном имени. И почётный первый пациент.

На улице Докучаева у троллейбусов была диспетчерская, а у водителей – буфет. В троллейбус иногда входила одна загадочная девушка и ехала по своим неведомым мне надобностям. На сей раз, когда она вошла, я был с Женей Соколовым. Вдвоём проще, тем более, если не для себя, а для друга. Женя к ней подсел, через минуту нас познакомил, и себя заодно.

Лида ехала подавать документы в Мединститут на учёбу. Закончила школу на днях. Это мы тоже проходили.

Мы с Женей ехали подавать в КГБ. С паспортами. Без паспорта туда не пускают даже зайти, не то что выйти. Оба эти здания расположены буквально через дорогу в центре города. Помимо прочего, нам по пути. Примерно восемь остановок на двух троллейбусах. Или шесть на одном и восемь минут пешком. Сначала сделаем дела, после встретимся в Мединституте. В данном случае, лучше мы к вам. И мы расстались ненадолго.

У Жени Соколова почти всегда всё получалось, он заряжает оптимизмом, когда на подъёме. Потому что бывают и спады. КГБ с наскоку не возьмёшь. Там на проходной с оружием стоят. Кагэбист, который был нам по теме, перелистал мой паспорт и сразу нашёл крамолу. Почему, спрашивается, молдаванин, а родился в Сибири? Молдаване в Сибири обычно не рождаются. Там рождаются и должны рождаться сибиряки. Значит, есть что-то неправильное в биографии молдаванина, который родился в Сибири. Сибирь ведь тоже русская земля! Тут уж ничего не исправишь. Факт биографии подвёл.

Не очень-то и хотелось. Просто лучше, когда с друзьями и на море. Каждое утро катером через лиман на пляж. Через четыре дня у меня начиналась обязательная педагогическая практика в пионерском лагере имени Бориса Главана в Страшенском районе. В лесу. Пионервожатый у пионеров и школьников. После второго курса Кишинёвского Государственного Педагогического института имени Иона Крянгэ. Советский Союз.

Ион Крянгэ, румынский и молдавский писатель. Родился и умер в прошлом веке. Вернее, уже в позапрошлом. Реалистически изображал душевный мир крестьянина. Ходил босой по своей деревне. Только в город надевал сапоги.

А Женя Соколов хотел, чтобы я поехал с ними в пионерский лагерь КГБ МССР имени Павлика Морозова в Сергеевке. Это недалеко, в УССР. На берегу лимана и Чёрного моря. Но меня подвела биография. Значит, поеду туда, куда пошлют. Хоть в Сибирь.

С Лидой эти четыре дня до отъезда я встречался ежедневно. Гуляли в парках и садах по всем направлениям. Летняя природа в Молдавии всегда со знаком качества. Пахнут цветущие липы. Воздух в атмосфере нагревается неравномерно, и

поэтому дует ветерок. Веет прохладой от водоёма в Центральном парке культуры и отдыха. Лида оказалась неразговорчивая, я и сам молчун, но она ещё больше. Но какие-то темы находили. Мы были молоды, ходили парой. Нас видели вместе то тут, то там. Жили практически в одном районе, я на две остановки дальше. Что удобно, домой провожать. Она была похожа на Джоконду, только моложе и худее. Такая же загадочная. Когда я на неё смотрел, всё у меня внутри вздрагивало и холодело. Голова кружилась, мысли путались. Мы целовались и обнимались в укромных уголках. Ниже пояса она мои руки не пускала. Подразумевалось, что она еще девушкой была. Да и было похоже. Как же иначе. Я проявлял инициативу, а она её гасила. Ну что, жениться что ли, раз такие чувства? Но мы друг друга совсем не знаем, она всё время загадочно молчит. А что будет, если она заговорит, и это окажется не то. Или мы не подойдём друг другу сексуально. Жить негде. Она живёт с родителями и младшей сестрой в двухкомнатной квартире. У нас с родителями и старшей сестрой полдома из трёх комнат, полдвора и частичные удобства. И конфликт поколений.

Нужно учиться. Мы оба не работаем. Денег нет. Мыкаться, как все? Тогда все чувства уйдут за полгода. Если как порядочный, то должен жениться. По-другому не получится. Она твёрдо воспитана отдаться только мужу. И, по совести, она права.

В розарии ВДНХ на скамейке тёплой ночью мы долго целовались. Уже начали падать звёзды с неба. Но это не успокаивает, а только распаляет. Наутро я уехал в назначенный пионерлагерь. Пионервожатым в пятый отряд, к детям. Рапортует отряд. Юный барабанщик. Наш девиз: Поцелуя без любви не отдадим.

А Женя Соколов и Серёжа Ступин с чистыми пока ещё биографиями поехали в лагерь КГБ воспитателями. Они друзья. На два года старше и на два курса выше меня в том же институте. Тот же филологический факультет. Ко мне они обращаются на «вы» и по имени-отчеству. Употребляют старорежимные обороты и слова типа: сударь, барышня, соблаговолите, не обессудь. Интеллигентные лица, оба в очках. Крупные, крепкого сложения, на полголовы выше меня. Я иногда тоже им подыгрываю и называю их по имени-отчеству.

Они подошли ко мне в троллейбусе по дороге из института. И поинтересовались, пью ли я вино. После штудий хочется взбодриться, а в карманах не густо и одолжиться не у кого, как назло. Заодно и поближе сойдёмся.

У меня как раз было. Помимо стипендии, по вечерам я работал полотером в Академии наук, в филиале, на улице Академической. Или по утрам. Натирал паркет мастикой, чтоб блестел и отражал. За шестьдесят рублей в месяц. И стипендия двадцать восемь руб. Что касается, пью ли вино, — иногда под настроение в перерыве между парами, выпьешь с Вовой Цыку бутылку

«Вин де масэ» за 87 копеек в ближайшем магазине, и даже лучше усваивается материал. Лекции становятся интереснее и понятнее.

Мы вышли из троллейбуса где-то на восьмой остановке, считая с конечной. Почти что в центре. И зашли на Ильинский базар. Евгений Васильевич, Сергей Константинович и я. Они решили меня по-дружески опекать. Ильинский базар возник при царизме, функционировал при румынах и пока сохранялся при нынешней власти как торговая точка. Торговали исключительно вином из бочек. Любой колхоз, село или деревня могли арендовать место и привозить свою винную продукцию бочками. Но не крепче восемнадцати градусов. Такой потолок. И продавать заинтересованным трудящимся за деньги. Закупались канистрами, бутылками, банками. Всё же дешевле, чем в магазине. Наливали и в стаканы. Стакан сухого – 17 копеек новыми. И редька с солью на закуску бесплатно. Согласно деревенскому гостеприимству. Обстановка самая простая, ничего лишнего, пьют, стоя возле емкостей. Не отходя от кассы. Закуска на прилавке, деньги на бочке. Можно ходить из лавки в лавку, пробуя разницу. Дегустация называется. Публика разношерстная, пьющая. Продавцы поголовно с красными носами, в фартуках. Поскрипывают краники, весело льётся струя. Пробуя, мы обошли несколько точек, пока не стали где-то на прикол. Зажглись фонари и лампочки, уже темнело рано, осень на дворе. Мы взяли резво темп, да и закуска явно не успевала за питьем.

Мы с Женей разговаривали о выборе жизненного пути. «Главное – не ошибиться, – говорил Женя, – не свернуть с правильной дороги, потом можешь не успеть ничего исправить». Я соглашался в целом, но хотел уточнить детали. На жизненных примерах. Сережа Ступин у другой бочки на повышенных тонах убеждал кого-то, что Максим Горький был ницшеанцем. Гордо реет буревестник – это тот же Заратустра на горьковский лад. И гагары тоже плачут. Вскоре на этой почве у той бочки началась свалка. Тема оказалась горячая. Женя кинулся на помощь и поучаствовал немного. Я даже не среагировал, был задумчив, смотрел в стакан. Через минуту оказалось, что именно нам троим срочно нужно делать ноги. Кого-то Ступин не того зацепил, и их набежала толпа. Карабкаясь по бочкам и ящикам, мы перемахнули через забор. Нас не преследовали. Ступин потерял очки. Минус два на каждый глаз. Женя Соколов разбил кулак, величиной с кувалду. Я приобрел друзей и культурно обогатился. Первый и последний раз посетил Ильинский рынок. Через неделю ворота закрыли, постройки снесли, согласно генеральному плану перестройки исторического центра. И чтоб пили меньше заодно.

Тема женитьбы уже звучала один раз, если вспомнить. Уже поднимали такую тему с одной женщиной. Хотя тема не обяза-

тельная, а произвольная. С Таней Виленской, подругой и одноклассницей сестры. Но школу мы уже закончили вроде бы. Уже стали взрослыми, похоже. Кто раньше, кто позже. Они, кстати, старше на год по возрасту. А по другим показателям гораздо старше.

У меня ещё не было сексуального опыта в семнадцать лет. В смысле практики. Нет практических навыков. У Тани уже был. Три года стажа минимум. Причем, иногда год идёт за два. Когда нет других интересов.

Я всегда относился с большим уважением к подругам сестры. В Таню я был даже влюблён в 14 лет, а ей было 15. И у неё уже кто-то был. Сексуальный партнёр, один парень с телевидения.

Её отец работал оператором на телецентре. Носил берет набекрень. Семья была польских кровей. Матери не было, не знаю, почему. Рыжая, статная, красивая, от неё исходил свет в пятнадцать лет. Где-то так, сто ватт минимум. А мы же не можем без света.

Она знала, что я на неё смотрю не без интереса, и поддразнивала иногда. Садилась на мой диван и начинала покачиваться вверх-вниз.

– Скрипит у тебя диван, а не должен скрипеть. Застукают, если к тебе ночью кто-то придёт вдруг. Так что никто к тебе ночью не придёт, потому что скрипит диван.

Об учёбе нужно думать, а не об этом. Это никуда ни от кого не денется. Всему своё время. Она научила меня целоваться как-то ночью на вечеринке, когда была без кавалера.

После школы она вообще перешла к этому парню жить на квартиру. Вначале всё было хорошо и приятно, но потом начали ссориться. Она уходила-приходила, он уходил-приходил. Потом они расстались не по-хорошему. Таня науськала на него своих приклатнённых соседей-приятелей. Они его побили, заставили извиняться перед ней на коленях. В общем, не по-доброму расстались. Потом у неё был кто-то другой, третий. Какие-то не её круга, похожие на урок. Она резко потеряла уровень. Располнела, подурнела, перестала светиться. Молодوخа средней симпатичности. Но что-то ещё в ней было. И так получилось, что не только целоваться она меня научила.

Мы пошли с ней в одну хмельную осеннюю ночь на природу, в лесопосадку. Типа лесочка. Предварительно хлебнув молодого вина. Светила полная луна, я расстелил куртку на траве. В общем, было неплохо для первого раза. Опять же, в первый раз. Два дня ходил под впечатлением, как именинник. А потом у меня зачесалось в некоторых местах, и обнаружили лобковые вши. То есть наградила – не наградила, а неприятный факт налицо. Нужно было от них как-то избавляться, или как? И было неудобно с ней встречаться после этого. Расхотелось ещё раз именно с ней. С другими не расхоте-

лось, а с ней – да. Но с другими я не мог, потому что был разносчиком вшей. Они передаются половым путём, так я понял. Да, в общем-то, ничего конкретного и не наклёвывалось. Но надежда не умирает.

Когда я начал расспрашивать по друзьям, что мне делать, то заметил, что друзья отнеслись к этому факту с уважением. Пикантное, со стороны, приключение. По рецепту одного ветеринара, купил я нужную мазь в аптеке. Втирал. Через неделю всё прошло. Снова готов к употреблению. Я даже был не прочь снова с Таней встретиться. После того первого раза мы как-то с ней не пересекались месяца два. Я полностью избавился от всех насекомых, морально восстановился и был готов повторить пройденное, закрепить. Рецепт от ветеринара у меня в кармане. Хотя за это время ещё чего могло появиться.

Погода на этот раз не благоприятствовала. Моросил мелкий холодный дождь, как и полагается глубокой осенью. Мы гуляли всё в той же лесопосадке. И тут она мне сказала с полной серьёзностью: «Давай поженимся». Вот так вот, первый раз в жизни переспал с женщиной и сразу получай. А я ей даже провши ничего не сказал.

Конечно, я опешил. «Папа купит нам квартиру, поможет материально. У него есть». Она будет хорошей верной женой. Она чувствует, что скатывается в какую-то пропасть. Только я один могу ей помочь.

Это абсурд. Мне было даже неудобно её слушать. Неудобно за неё в данном случае. Она всегда была с чувством юмора, и даже это ей отказало. Я не могу жениться из жалости. Даже по любви не могу жениться. Не могу себе позволить, нет средств. Только после полной окончательной победы коммунизма. Как обещали. В новой пятилетке – каждой семье по квартире. Ранние браки сужают жизненный кругозор. Хорошее дело таким словом не назовут. Юлик Аранов говорит, что жениться нужно на девушке. Чтоб ты у неё был первый мужчина. Юлик – идеалист. Чтоб ей не с кем было тебя сравнивать. Одновременно Юлик – прагматик. Женя Соколов говорит, что об этом, юноша, и думать рановато. Не нагулялись. Они ещё в ясли не пошли, наши невесты. Меня не поймут мои друзья. Я не хочу. От неё ушло сияние. Потому что рано начала половую активность, что ли? С этой активностью школу едва закончила, в институт не поступала, интересов никаких, всё побоку. Уровень не сохранила, опустилась. А ведь уровень – это не пустяк, скажи, Юлик? Если дети пойдут, они должны быть на уровне. Тут с наскаку действовать нельзя. Женя Соколов говорит, что в жены нужно брать отличницу из провинции. Типа райцентра. Чтоб первые пять лет она ахала и удивлялась нашей столичной жизни. И смотрела на тебя с обожанием. А Таню, к сожалению, уже мало чем удивишь. Она сама может кого хочешь удивить. В том числе такими разговорами о женитьбе. На душе было нехорошо.

Разговор был не на уровне, не из чего. Даже близко похоже на женитьбу здесь не было.

Среди нынешних героев я лично видел Марию Биешу живьем, в двух метрах, вблизи. Герой Социалистического труда, лауреат Государственной премии, депутат Верховного совета, лирико-драматическое сопрано, приятная женщина с акцентом. Лучшая Чио-Чио-Сан 1967-го, что ли, года. После этого начался ее взлет. Даже в лице появилось что-то японское. Юлик Аранов говорит, что она до сих пор доила бы коров в глухом селе, если бы не его отец. Он ее заметил и рекомендовал дальше на выездном прочесывании местности типа «Алло, мы ищем таланты». В народной гуще, в глубине. Отец Юлика – заслуженный деятель республики, композитор, дирижер, ныне покойный. В словах Юлика чувствуется некий упрек. Он намекает, что Мария Биешу как бы в долгу перед их семьей, и не отдает. Но с какого боку здесь Юлик, как она отдаст долг, она же не может с ним поделиться своей славой, тем более, что он не поет.

Мария Биешу удачно вписалась в систему. Юлик из системы выписался сразу. Что тоже приравнивается к Герою Советского Союза, но с изнанки. И без денежного довольствия. Оркестр его отца по известности и репертуару соперничал с оркестром Утёсова. Ну, может, процентов на двадцать меньше знаменит, потому что в кино не снимались. По жизни всё схвачено, всё чинно, благородно. Квартира в центре города на бульваре Негруци. Между двумя памятниками. В одном конце бульвара стоял памятник воинам-освободителям. Многофигурная композиция с элементами оружия и знамён. На первой редакции памятника стояла многообещающая надпись: «На года, на века, навсегда». Памятник простоял три года и однажды ночью упал, без человеческих жертв. Ветер юго-западный, умеренный, местами сильный. Больше таких слов старались не писать. Через полгода поставили другой памятник на эту же тему. С опущенным центром тяжести, на дополнительном крепеже. Бульвар широкий, красивый, недлинный. Один памятник может видеть другой памятник. На другом конце бульвара стоит памятник Котовскому на коне. То есть, судя по отсутствию первичных половых признаков, на лошади.

Между двумя памятниками – три гостиницы: «Интурист», «Кишинэу» и «Космос». Четыре одноименных ресторана. Бойкое место. Иностранцы попадают. Центральный корпус Академии наук. Бульвар зелёный, в цветах и деревьях. Живи и радуйся. Престижная школа для детей непростых родителей. С математическим уклоном, на иностранные языки, с каким хочешь уклоном, на выбор. У Юлика был свой. Школу оставил в 14 лет. С родителями цапался. Увлёкся эзотеризмом, сидел в позе лотоса, читал самиздат. Мать возила его показывать мос-

ковским профессорам-психиатрам. Они ему поставили шизофрению. Он им поставил примерно то же самое.

Отец умер, когда Юлику было 15 лет. Школу окончил экстерном. То есть, имел понятие об основных предметах. Сделал даже попытку поступить в университет на инъяз. Но это было несерьёзно. Он со всеми преподавателями разговаривал снисходительно и свысока. Непонятно, кто к кому пришёл поступать. Так что у него не было даже шанса, несмотря на папу. Тем более папа умер.

Но вообще, мечта была поступить в Институт восточных языков в Ленинграде или в Москве. Вся мистика идёт с Востока. Нужно знать восточные языки, если стремишься к неведомому.

Соблазнил мою сестру, ещё раньше, чем поступал. Правда, он мог и жениться. Но она ему изменила в турпоходе через неделю с его же приятелем. Раз пошла такая пьянка. Юлик очень обиделся. Это-таки больно, когда изменяют в первый раз. Для нормального человека. Для шизофреника, оказалось, тоже. Да и во второй и в третий раз тоже больно, когда изменяют. Так что надо стараться этого не делать. Или делать так, чтобы никто никогда ни о чём не узнал. Не пойман – не вор. Если уж очень приспичило.

А я поступил в первый же год. Тренер посадил меня сзади на свой мотороллер и повёз в Пединститут на улице Чернышевского. Николай Чернышевский, писатель, публицист, литературный критик. Жил в 19 веке. Считал, что социализм обусловлен всем развитием человечества. И неизбежен. Один из родоначальников народничества. Два года отсидел в Петропавловской крепости. Семь лет каторги. Потом пожизненная ссылка в Астрахани и Саратове. В школе изучали его роман «Что делать». Учили наизусть четвёртый сон Веры Павловны о светлом социалистическом будущем. С такими фактами биографии Чернышевскому было необходимо такое будущее. Он не дожил. Мы уже пережили.

В Пединституте не было инъяза, но был физкультурный факультет. Учить детей физической культуре. Тренер вошёл в какой-то кабинет, вышел и сказал, что всё в порядке, поступай сюда. Я сказал, что хочу на филфак, а не на физкультуру. Не имеет значения, в этот институт, хоть на дефектологию. Я даже не знал, что есть такой факультет. Учить детей с дефектами речи. Зарплата, кстати, на двадцать процентов выше, за вредность. Эти дети на двадцать процентов вредней обыкновенных.

Сестра в первый год не поступила в университет. В этот год она сомневалась, поступать или поработать ещё годик, а тогда, уже со стажем, легче. Я ей сказал, что тренер советует поступать в Пединститут на филологический. Сестра спортом не занималась, играла на аккордеоне четыре года, пока не надоело. Причем, не нам, а ей. Пальцами правой руки нажимаешь на клавиши, пальцами левой на басы. И ещё меха раздуваешь обеими руками. В этом есть что-то от спорта. Сестра прислу-

шалась к совету тренера. Опять же, за компанию. Её кураж частично поиссяк, и нужен был буксир. В общем, она тоже поступила, училась и, в отличие от меня, закончила. Тренер знает, что говорит. На то он и тренер.

Главным было написать сочинение на троечку, а не на двоечку, что не исключалось. Одна из тем так и звучала: «В жизни всегда есть место подвигу». На сочинении ты аноним, ты под номером, и никакого блата. Ни один тренер не поможет. Дальше было легче, после сочинения нас, мальчиков, осталось так мало, что можно было пересчитать. По порядку номеров. Так что в нас были заинтересованы. Экзаменаторы радовались нам, как родным. Даже Юлик бы поступил. Но он не признавал коллектива, эпатировал общество. Мог закурить в кинотеатре посреди сеанса и в троллейбусе посреди езды. Мне было даже как-то неудобно рядом с ним в такие моменты. Тем более, что за проезд в троллейбусе мы не платили. Считали унижительным. Да и дорого. Четыре копейки даже за одну остановку. А обещали коммунизм. За провоз одного места багажа – 10 коп.

И всё равно нас оказалось в итоге немного. На двадцать пять студентов в группе – четверо. Остальные – девушки. На курсе всего 4 группы: две русские и две молдавские. 16 ребят и 84 девушки приблизительно. Несколько вольнослушателей. Курсы сливались в поток. Это совокупность всех курсов этого года, всех специальностей. Курсом руководит декан. Поток возглавляет ректор. Ректор по рангу на уровне предрайисполкома. Но с учёной степенью.

Во всём этом свои плюсы и минусы. Девушек много, их больше – это плюс. После института нужно два года поработать в школе учителем, по распределению, в деревне. В пределах республики. Это – минус. Без этого диплом не подтверждается. Ну, до этого ещё дожить нужно. Будем, как Ион Крянгэ, ходить по деревне босиком. Ну, а в город станем ездить каждый праздник. И надевать по этому случаю сапоги.

Главная улица в городе, конечно, улица Ленина. Про него уже и говорить не хочется, разве что это фигура собирательная и сильно идеализированная. Самый человеческий человек. Мы, дети, даже не могли представить, что он как все: ест, ходит в туалет, сморкается, пукает. Он должен быть выше этого. И ещё путаница с вопросом, почему у него не было детей. То ли не могли себе позволить, потому что в ссылке, на нелегальном положении, целиком посвятили себя революционной борьбе. То ли потому, что он был выше этого, был над сексом и ниже не опускался. Учителя как-то невнятно нам отвечали. А может, мы невнятно спрашивали. Не сумели сформулировать вопрос в лоб.

Раньше улица Ленина называлась Александровской, в честь российского царя. Сейчас, после самоликвидации Советского Союза, улица названа в честь молдавского господаря Штефана чел Маре. Стефана Великого. С крестом в левой руке и с мечом в правой.

Стефан Третий Великий, родился – неизвестно, умер в 1504 году. 47 лет был Господарем Молдавии, это не слабо. Проводил политику централизации. Заключил военно-политический союз с Россией, скреплённый браком его дочери Елены с сыном Ивана Третьего Иваном Молодым. Богата Россия Иванами. Надеюсь, Елена тоже была не в годах.

Памятник Ленину из розового мрамора убрали с центральной площади, перенесли на склад ВДНХ, где он стоит посреди сельскохозяйственной техники. Разжаловали и понизили. Бросили одного. И молодожёны не несут ему цветы в самый счастливый день своей жизни, как они думают. И школьников не принимают в пионеры в его присутствии 19 мая, в День советской пионерии. Всё, лафа кончилась. Не для него уже праздничные дни.

Маркс и Энгельс как сидели на бронзовой скамейке у бывшего ЦК КПСС Молдавии, так и сидят, беседуют. Не торопятся составить Ленину компанию на складе ВДНХ. Делают вид, будто их не касается. Бюст Дзержинского так и остался, видимо, во дворе Школы милиции. Для внутреннего пользования.

У кинотеатра «40 лет ВЛКСМ» стоит памятник на огромном пьедестале; крупный мужик, полуголый, в брюках со складками, подняв кулак над головой, смотрит сурово. Называется памятник «Борцам за свободу». Он будет стоять всегда, в любую погоду. Это памятник всем. Кто из нас не борец за свободу?

На проспекте Молодёжи у кинотеатра «Москова» стоит памятник молодёжи. Многофигурная, агрессивная, мало запоминающаяся композиция. Молодёжь – это понятие собирательное, многофигурное и преходящее. И мы когда-то были молодёжью. А кто не был, тот будет.

Была представлена болгарская тема, тоже, между прочим, у кинотеатра. Стояла стела в память о русско-болгарской дружбе и совместной борьбе против турок у кинотеатра «Шипка». Продавались сигареты «Шипка» болгарского производства. За 14 копеек, без фильтра, но неплохие.

Был памятник Георгию Димитрову в виде бюста, и улица Димитрова недалеко от памятника. Димитров был известный человек. Его судили фашисты за поджог рейхстага, но кишка оказалась тонка против болгарина. Он сам себя оправдал перед мировым сообществом. Пришлось его отпустить прямо из зала суда в Советский Союз. В Болгарии Димитров был как у нас Ленин. Ему построили мавзолей в Софии, после смерти забальзамировали, и он там лежит. Его многие знают.

А вот Христо Ботева почти никто не знает. Его увековечил барельеф в начале улицы Христо Ботева на Ботанике. С курчавой бородой, лицо симпатичное, по национальности болгарин. Больше ничего о нём не известно широким слоям.

Зато у нас все знали эстрадных певцов Лили Иванову и Бисера Кирова, и по пластинкам, и по гастролям. Одно время они даже были мужем и женой. Вместе выступали. Недолго. Она была процентов на сорок талантливее его как певица. И про-

центов на двадцать старше по возрасту. У них всегда был аншла́г в нашем городе.

Улица Болгарская в центре города пересекает улицу Ленина. Неплохая улица, всё на ней есть. Тюрьма, стадион, трикотажный комбинат, Дом офицеров, мамалыга в кафе «Золотой початок», телеграф, Центральный рынок, автовокзал. Одним концом упирается в стену Армянского кладбища. Так что полный набор. Все двадцать четыре удовольствия. Другим концом упиралась в кинотеатр «Искра», но памятника там не было.

Литературная тема, в основном, представлена бюстами. В центре парка им. Пушкина стоит бюст Пушкина. Лучший парк в городе. Раньше назывался Семинарским.

Народные легенды рисуют Пушкина шалопаем. Сюда его сослали за нехорошее поведение, но он не исправился, продолжал хулиганить. Обижал местных бояр. Три дуэли за Кишиневский период, и один раз его отлупил тростью сердитый офицер, за непочтительность. Скорее всего, он не знал, что это будущий великий поэт. А может, и не хотел знать. Кстати, в том же парке, который впоследствии станет Пушкинским. Не только по этой причине. В отместку Пушкин написал стихотворение: «Проклятый город Кишинев, Тебя бранить язык устанет...» и т. д. Примерно такие отношения, по преданиям.

Бюст Льва Толстого поставили прямо на тротуаре, возле троллейбусной остановки у гостиницы «Интурист». В современном стиле, с развевающейся бородой, как будто дует сильный боковой ветер, а Толстому всё нипочём. Такой матерый человечек. В гуще трудящихся, на троллейбусной остановке.

Естественно, есть улицы Пушкина и Льва Толстого. Улицы Горького нет, но был бюст Горького с усами и гривой волос в скверике, возле ресторана «Молдова», в кустах. Он не сохранился. Ему досталось во время отделения Молдовы. Энергичная молодёжь искала виноватых. Памятник снесли и куда-то заныкали. Скорее всего, продали каким-нибудь заинтересованным лицам. Или в скупку цветных металлов. Отомстили за «Жизнь Климá Самгина», за «Мать», за «Гордо реет буревестник». На этом русская тема с бюстами закончена.

Есть несколько бюстов румыно-молдавских писателей в том же Пушкинском парке. Называется – аллея классиков. Что-то около двадцати. В первом ряду Ион Крянгэ и Михаил Эминеску. Они должны быть более-менее известны культурному человеку. И Дмитрий Кантемир тоже должен быть известен. За остальных классиков мне как-то боязно. Я не уверен, что они известны. И это меня беспокоит. Классиков нужно знать в лицо. Разбудить среди ночи – и должен отчитаться по именам. Костакe Негруци, на проспекте имени которого жил Юлик Аранов. Умер шестидесяти лет. Василе Александри, писатель, театральный деятель, собиратель фольклора. Прожил 69 лет в позапрошлом веке. Михаил Когэлничану, исто-

рик, писатель. 74 года в том же веке. Алеку Руссо, писатель, публицист. Умер в 40. Мирон Костин, летописец и политический деятель. 58 лет в 17 веке. Николай Костин, летописец, его сын. И ещё одиннадцать классиков. И аллея время от времени пополняется, потому что и в наше время живут и творят классики. И умирают. Но вроде бы они бессмертны. Если уж они классики.

До пионерского лагеря имени Бориса Главана, что в Страшенском районе, добираться из города часа полтора в западном направлении. На транспорте. В двенадцати километрах по трассе минуем небольшой посёлок Гидигич, душ на девятьсот. Есть нефтебаза в окрестностях. Основная достопримечательность – озеро Гидигич. Вернее – искусственное водохранилище, снабжающее город водой. Дамба патрулируется вооружённой охраной. Если дамбу взорвать (теоретически), то весь город смоем и размажет тонким слоем по республике. Вплоть до Чёрного моря. Такие есть опасения в народе. Очень много кубических метров воды в хранилище. Два километра ширины от пляжа до противоположного берега. Тот берег пустынен и крут. Километров 12 в длину, от дамбы до западной оконечности. И метра три глубины, если взять в среднем. У берега мельче, дальше глубже. А в среднем – три метра. Очень много кубических метров получается в сумме. Даже если перевести в кубические километры, что практически невозможно, всё равно получается какая-то цифра.

Где пляж, там и зона отдыха. Место купания ограничено буйками на воде. С берега на воду уходят несколько деревянных пирсов, с них можно прыгать сразу на глубину. В районе пляжа дно земляное, берег песчаный, песок завозной, карьерный.

Тенью под навесами от солнца можно пользоваться бесплатно. А зонтики и шезлонги арендуют по десять копеек в залог паспорта. В паспорте записано, что категорически запрещается оставлять паспорт в залог. Но охотней всего берут паспорт. Взамен паспорта берут ещё десять рублей, но у кого такие свободные деньги в наше время.

Осуществляется прокат двухвёсельных лодок-плоскодонок и двухместных водных велосипедов с почасовой оплатой навигации. Но не меньше часа. Торгует неплохой буфет с ресторанной наценкой, где есть охлаждённое пиво в бутылках и отпускают вино в розлив. Неплохо пропустить в тенечке бутылку белого марочного «Ркацителли» на двоих, чтоб немножко закружилась голова.

В озере водится рыба и мидии, что-то типа устриц. В принципе, съедобных. Если уж очень припрет. Зимой практикуется подледный вертикальный лов через лунки. С водочным подогревом изнутри. Летом освежаются лимонадом, пивом и вином. Закусывают свежими помидорами, огурцами, луком. Вареными яйцами и картошкой. Неплохо идет холодная курица. Колбаса

не лежит на пляже, может испортиться от жары. Сыр плавится, теряет форму и вкус. Соленые огурцы всегда в порядке.

Народ в плавках и купальниках. Играют в подвижные пляжные игры: бадминтон вдвоем, волейбол без сетки вдвоем и больше, образуя круг. Играют в карты на подстилках, хотя азартные игры в общественных местах запрещены. Карты считаются азартными играми. Спасательная станция зачитывает через мегафон правила поведения отдыхающих на воде. В сезон из центра города до пляжа ходит маршрутный автобус с интервалом в один час. Цена билета двадцать копеек. Домой возвращаешься с загаром и песком на зубах.

Следующий населенный пункт по трассе – Страшены, районный центр. По-молдавски – Страшень. В центре работает большой универмаг, где бывает дефицит. Книги кишиневских издательств: Пикуль, Дрюон, Дюма, Сименон. Пользуются повышенным спросом. В обувном отделе случается импортная обувь. В трикотажном – трикотаж.

Около 16 тысяч жителей всего. Мужчин и женщин. Стариков, взрослых и детей. Проживают представители двенадцати национальностей. В Кишинёве разных национальностей больше, чем в райцентре. А в деревне чаще всего проживает одна нация. Какой с деревни спрос? Многие гордятся тем, что принадлежат к какой-то нации. Даже не многие, а большинство. Непонятно, хорошо это или плохо. Плакать или смеяться.

Проезжаем Страшены и едем дальше в сторону Калараша. Тоже райцентр. Там есть железнодорожная станция, винодельческий завод, трикотажная фабрика. 20 тысяч жителей. Представители десяти национальностей. Тут другая зависимость. Чем дальше от столицы, тем меньше попадаетесь разных национальностей, хотя количество жителей может быть и выше, чем в таком же райцентре, но с большим представительством национальностей. Который находится ближе к столице.

Через пять километров после Страшен попросить остановиться. Автобус идёт дальше по прямой, он не сворачивает. У него и маршрут, и график, и расход горючего на каждый километр. И количество пассажиров всегда больше нормы. Больше, чем рассчитывал завод-изготовитель. Чаще всего это Львовский автозавод.

А нам налево вбок ещё четыре километра до пионерского лагеря, пешком или на попутке. Лагерь называется пионерским, но там отдыхают и пионеры, и комсомольцы. Все, кто школьного возраста. Может, затесались и беспартийные, как-то просочились. Но это вряд ли. У нас в стране с этим строго. Все охвачены заботой.

Лагерь расположен в Страшенском лесу. В нем находится историческая достопримечательность. Стоит дуб Стефана Великого, огромный, в три обхвата. Под этим дубом останавливался и отдыхал наш господарь со своей дружиной. Туристиче-

ские автобусы специально сворачивают с трассы, чтобы посетить это место. У них такой маршрут.

Что запомнилось в пионерском лагере? Что не высыпались. Подъем в 5.45. В шесть планерка в актовом зале. Разбор вчерашних полетов и настрой на будущее. В семь часов поднимаем детей, и весь день проходит по полной программе. В десять вечера уже все дети должны быть в постели. Засыпали к одиннадцати. Скидывались мы до этого, и кто-то из пионервожатых шел в село за вином. Типа десятилитровой канистры. В полдвенадцатого начинали. Гитара, костер, анекдоты, байки. Всё довольно невинно. Но не высыпались. На фоне этой невинности запомнился бурный роман физрука и медсестры. Физрук и плаврок в лагере главные авторитеты. У них под началом бассейн, спортивный инвентарь, утренняя зарядка, день Нептуна. Какой отряд на сколько минут запустить в бассейн. Медицина тоже в почете.

Физрук был такой качок, не мелкий. Она тоже высокая, крупная, ладная. Всё при ней, всё на своих местах. По габаритам ей подходили только физрук и плаврок. Но ведь люди должны подходить не только по габаритам. И по-человечески важно.

Они были постарше нас, практикантов, все-таки. Он учитель в школе, она тоже уже с дипломом, работает. В Республиканской инфекционной больнице имени Тома Чорбы, кажется. А мы пока тренируемся. Пионервожатые считаются рангом ниже, чем воспитатели. Только с совещательным правом голоса. Выше воспитателей по авторитету процентов на десять – физрук, музрук, плаврок. Верхний авторитет и диктатор – это начальница лагеря, ветеран коммунистической партии и почетный старожил республики. Восьмидесяти с чем-то лет. Потом стоит по рангу старший пионервожатый, такое ощущение, что он и на ночь не снимает любимый красный галстук на всю жизнь. Рост – метр пятьдесят пять с пилоткой, лет под шестьдесят.

Как-то раз ночью, после канистры, я попытался прижать медсестру к дереву, а она мне сказала, как старший добрый товарищ, что лучше не надо, завтра нам обоим будет стыдно. И на этом всё кончилось. Для такой медсестры мы, пионервожатые, мелковаты. А с физруком у нее был роман. Видно было, что она в него влюбилась, в том числе – и в габариты. Ну, есть такая слабость. А он, между прочим, женат. Где у женщин голова, чем они иногда думают? Мы за нее все переживали, даже болели за нее.

Когда на день открытых дверей нашего лагеря приехала физрукова жена, специально ходили на нее посмотреть. Он ее и не прятал. Наша медсестра была интереснее раза в три. Мне бы не было назавтра стыдно, что бы она ни говорила. А физрук же не в рот смотрел. Как-то ощущалось, что он под каблуком.

Роман у медсестры оказался бесперспективным. Она очень переживала. Но и жена не виновата, что она получилась менее интересна на данном этапе. Может, у нее другие заслуги в

прошлом и будущем. Не будем менять жен, как перчатки. Это не всегда окупается. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Не всегда. Медсестра сделала попытку, это ее право. А теперь страдает – и этого у нее не отнять. Но мы за нее почти все переживали. Она оказалась, кроме внешних данных, еще и просто золотой человек. Это запомнилось. В смысле, что не высыпались.

Потом мы с физруком как-то встретились в городе, зимой. Он мне обрадовался, как родному, не хотел меня отпускать. Это было странно, в лагере мы двух слов друг другу не сказали, он нас, пионервожатых, едва замечал. Потом я понял, почему он обрадовался. Я ему напомнил о поре, когда ему было хорошо. Его любили, крутилась жизнь, он в центре внимания. Хотел, чтоб мы вспомнили и поговорили об этом за жизнь. Не приснилось же ему.

А что мы имеем теперь. Он учитель в школе, жена дома, спякота и туман на дворе. Вот и лето прошло, как в песне поется.

Что еще запомнилось. Ко мне в лагерь навестить неожиданно приехала девушка Лида. Я даже слегка растерялся. Я о ней совершенно забыл, оказывается. Даже не знаю, почему. С тобой сорок детей от рассвета до заката. На твою ответственность. Ночью гулянки. Спишь три часа в сутки. Где тут вспомнить о любимой. Хорошо хоть, она вспомнила, навестила. После этого в лагере кое-кто стал меня больше уважать. Такая девушка приехала, красивая, загадочная. Сама пришла. Я отпросился на пару часов. Гуляли по лесу, кругами в окрестностях дуба Стефана Великого. Целовались долгими поцелуями в лесной чащобе. Ну, вот кто она мне, зачем приехала, напомнила. Жениться я не могу, а так не получится. И ей рано замуж, пусть учится, приобретает знания. Смутил девичий покой и забыл, ничего не помнит. Проводил ее до трассы, посадил на автобус.

Приезжал Юлик с ночевкой. Просто проветриться. Он в пионерлагере ни разу в жизни не был. Ни пионером, никак. Посидели вечером у костра в компании. Утром он уехал, но успел нагрубить начальнице лагеря. Она не ожидала ни сном, ни духом. Она здесь главная. Она может нагрубить. Но чтоб кто-то ей посмел... На ее территории. Чуть скорую помощь вызывать не пришлось. Это значительно снизило мою оценку за педпрактику. Ниже этой отметки только расстрел на месте без суда. На зарплату не повлияло. После вычетов за питание выплатили сорок три рубля с копейками, как и обещали.

Юлику проще, с одной стороны. Ему уже поставили диагноз. Он может сказать начальнице лагеря, что она старая службистка и маразматик. То есть, как оно есть на самом деле. Юлик и сам может ставить диагнозы. А мне ещё диагноз не поставили окончательный. Я ещё делаю вид, будто я как все. Хожу в пионерском галстуке, поддакиваю маразматикам, конспектирую первоисточники. Первоисточники – это Маркс, Энгельс, Ленин. Если кому напомнить. Стараюсь быть как все. Хотя сильно не

хочется быть как все. Не хочется повторяться. Хочется быть уникамом, в хорошем смысле этого слова. В одном экземпляре.

Есть, конечно, вещи, от которых не отмахнешься, не отодвинешься. Они для всех. Например, все мы умрем. Поголовно. Это всеобщая зависимость от постороннего фактора.

Вторая зависимость – это то, что нужно есть, пить и отправлять естественные потребности. Илюша Гольдберг говорит, что человек – это ходячий унитаз. Нет, он не мог так сказать, он деликатный. Он сказал, что иногда он ощущает себя ходячим унитазом. Про себя сказал, а не про других. За других не расписывается. Такая постанровка. Это сильная зависимость. Причем, умрешь не сегодня и не наверняка, а кушать надо каждый день. Организм требует. Чтобы не меньше трех раз в день и с переменами блюд. Знать, что у нас сегодня в меню: на первое, второе и третье.

Многие еще и пьют. Хорошо, если не с утра или хотя бы не с сорока градусов начинают. Бабушка, когда работала в поле, брала с собой двухлитровый кувшин напитка в пропорции 1:19. Одна часть белого сухого вина на девятнадцать частей воды. Утоляет жажду, а не умножает. Дедушка никогда не разбавлял и не запивал. Без запивки обходился. Мог заесть чем-нибудь. Начинать не раньше, чем в обед, с маленького графинчика вина. Как всякий виноградарь. Как большинство в его селе. Был буен во время запоев, приходилось связывать его ремнем.

Посты соблюдали. В пост ели, в основном, фасоль с хлебом. Один раз, нацепив очки на нос, дед читал нам с сестрой Евангелие. Это было трогательно. Когда такой суровый человек, как дед, признаёт власть более высокой силы. Потому что обычно дед не признавал. Он хозяин в своём хозяйстве, и катитесь все подальше. Крепкий единоличник. За что, видимо, и сослали в Сибирь.

Еще человеку предписано природой спать. Часов восемь в сутки. Тоже осознанная необходимость. Никто ничего с этим поделать не может. Кто спит больше, кто меньше, у кого-то бессонница. Бывают случаи, когда спят на марше, в строю. Происходит сильное торможение в мозгу, как бы проваливаешься. Как будто контакты нужно отключать на время, чтобы перезарядиться. Но ноги продолжают идти. Ты же всё-таки в строю.

В один прекрасный момент появляются половые проблемы. И всё на этом оказывается повязано. Весь род человеческий. Сильная зависимость от противоположного пола. Если правильная ориентация. Всех касается.

Илья говорит, что они были другими в наши годы. Он намекает, что на десять лет старше. Они были другими по отношению к девушкам. Они с ними дружили, разговаривали, пели песни. И в школе, и в студенческие годы, и в НИИ. Они их уважали как личность. А мы уже через два дня после знакомства с девушкой просим у Ильи ключ от его новой квартиры. Вернее,

чуть ли не в тот же день. Что я, что Юлик. Сразу дойти до самой сути. Как будто это самое главное в отношениях, как будто без этого нельзя. Они были другими. Более правильными, что ли. Но ключ Илья дает.

Илья закончил институт инженером. Играл в КВН от сборной Кишинева. Женился на дочке профессора по насекомым. Так он попал в дом, где жил Юлик. На бульваре Негруци. С высокими потолками, резными дверями. С ухоженным двором. На лестничной площадке только две квартиры. А в среднем по республике – четыре с половиной. Есть дома общежитского типа, где на площадке сорок квартир. Есть отдельные дома, где на этаже одна квартира. Очень редко бывает, когда одна квартира занимает два этажа многоквартирного дома. То есть – половина квартиры на этаж. А в среднем по республике – четыре с половиной. А на бульваре Негруци – две. То есть Илья неплохо придумал с женьбой. Все его шаги – только вперед.

Я никогда не видел столько книг по насекомым, как в доме у Ильи, вернее, его тестя-профессора. И, наверное, уже больше не увижу. Двенадцать тысяч томов по насекомым на всех европейских языках с иллюстрациями. Кто как размножается. Они мне будут сниться. Об одних кузнечиках – целая стена книг от пола до потолка и кое-где в два ряда. Возможно, с двойным дном. Есть что полистать на досуге.

Илья работал днем по специальности, которую приобрел, учась в институте. Работал инженером, точнее не сказать. Я не могу сказать точнее. А вечером подрабатывал полотёром, это я знаю, могу описать детально. Сначала мыл паркет уайтспиритом. Потом натирал мастикой, типа ваксы. И доводил до блеска специальной машиной с крутящейся щёткой по часовой стрелке. В Академии наук, в главном здании, на площади Освобождения. Вход только по пропускам. В двух шагах от дома. Мы с ним коллеги, только я работал в филиале. В двух остановках от моего дома. Но по Илюшиной протекции. Никаким образом Илья не был нахлебником в доме у тестя.

Построил двухкомнатный кооператив в академическом доме на улице академика Прянишникова. В пяти остановках от моего дома. В восемнадцати от своего. Двумя транспортами. Улучшенной планировки. Хотя комнаты и смежные. Первый взнос две тысячи в жилищно-строительный кооператив. Надо же как-то решать жилищную проблему. А потом пятнадцать лет небольшую сумму ежемесячно. И живи, не тужи. Раз попал в номенклатурную среду.

Переезд в новую кооперативную квартиру всё время отодвигался. Не исключено, что жили дружно у профессора. Так тоже бывает, но редко и ненадолго, и неправда.

Видимо, тогда было другое время, когда в наши годы Илья с девушками дружил, духовно общался и пел песни у костра. И наши годы тут ни при чем, время было другое. А сейчас другое время, и он в его годы нынче ведет себя, как мы в наши годы

сейчас. А нам было столько, сколько ему десять лет назад. И он тогда себя вел с девушками по-другому, чем мы сейчас. Время, видимо, другое. Другими словами, ключ от квартиры не всегда был свободен.

Илюшина жена обнаружила как-то раз забытый женский зонтик на вешалке в новой квартире. Видимо, шёл дождь в ту ночь или собирался политься и уже накрапывал. А под зонтиком можно спрятаться от дождя. Дождь кончился, и зонтик забыли. А свалили всё на меня, что это я привёл девушку с зонтиком. Так что и я один раз выручил Илюшу. Рискнул собственной репутацией. Время сейчас, видимо, другое. Надоело долго разговаривать. Квартирой я воспользовался три раза, если не изменяет память. Два раза удачно, один раз неудачно. По тогдашним понятиям.

Была еще одна сильная зависимость от постороннего фактора. Что сильно мешало жить. Это социальные отношения. В данном случае – советская власть. Сама общественно-экономическая формация оказалась не подарок. Хотя поначалу пелось наоборот, что вот, в какой стране нам довелось родиться... Я понимаю, что и другие формации не сахар, одни названия наводят ужас, например, первобытнообщинный строй. Представляются дикари в шкурах с дубьем. И ходят строем. На первый-второй рассчитайся. И запевала среди них.

Рабовладельческий, феодальный. Капиталистический со своими джунглями, акулами, волками. Социалистический должен был быть поприличней. Если бы хотя бы с человеческим лицом. Как-то он себя не проявил с хорошей стороны, этот социализм. За что боролись – на то и напоролись.

По разговорам наоборот, а в действительности оказывается, что больше обязанностей, чем прав. Нет свободы слова. Нет денег, и не заработать. Частное предпринимательство наказуется. За рубеж не поехать. Граница на замке. Жить где хочешь нельзя, только по месту прописки. Квартирный вопрос острее некуда. Обязательная воинская повинность. Не спрашивают, хочешь, не хочешь. Называется: отдать долг Родине. Какой долг, откуда? Сразу ставят в положение должника. И чуть что, готовы упечь: за самиздат, за тунеядство, за бродяжничество. Так Родина должна обращаться со своими сынами?

Можно, конечно это всё вытерпеть ради коммунизма, ради светлого будущего человечества. Но и это оказалось уткой. Коммунизм виден, он уже на горизонте. А горизонт, оказывается – это воображаемая линия, которая всё время отдаляется, по мере твоего к ней приближения. Надо отвечать за свои слова. А если нет, то и в ответ получится – нет. Значит, никто никому ничего не должен. Долги списываются обоюдно в разные стороны. Какой такой долг Родине после этого?

Нам в свое время пообещали, и я даже подсчитал, что, когда наступит коммунизм, мне будет 28 лет. Долго, конечно,

ждать – 20 лет, ну да ладно уж, подождем. И не для себя, в основном, хотелось коммунизма, а для всех. По справедливости. И для мамы, и для сестры, и для Назыма Хикмета, и для Доло-рес Ибарури. Жаль, бабушка, наверное, не доживёт до коммунизма. И дедушка. Но он не пошёл бы в коммунизм, скорее всего. Он принципиальный единоличник. Никого силком тащить в коммунизм не собираемся. Сами побегут, когда увидят.

И еще я подсчитал, что когда наступит следующее тысячелетие, мне будет 46 лет. Из двух подсчетов одно оказалось верным. Неплохая статистика. В смысле, могло быть и хуже.

От чего нельзя уйти – не уйдешь. Пуля догонит. Но сопротивляться нужно. Чтобы сохранить человеческое достоинство хотя бы. Мы не хотим жить, как родители. Мы пойдём другим путем. Мы не сломаемся и не купимся. Не будем оправдываться тем, что у нас дети. Что о детях приходится думать. Отсюда и аборты. Не будем работать по восемь часов в день за мизерную зарплату. Чтобы через пятнадцать лет получить квартиру от производства, а через сорок лет пенсию от государства. Не ходить в армию. Там доламывают то, что не доломали раньше. И человек уже согласен жить как все. Лишь бы не было войны. По таким меркам. Мы не согласны жить, как все. Мы хотим помучиться. Познать самих себя.

В программу самообразования входит семь лет странствий. Нужно путешествовать, уезжать из Кишинева. Главный город в нашей стране – Москва. Там больше возможностей. Живут интересные люди. Снабжение по первой категории. То есть ближе к коммунизму, в смысле снабжения. Метрополитен имени Ленина – самый красивый в мире. И самый дешёвый. По пятаку с носа. Там главная ёлка страны на Новый год. Все коридоры власти – в Кремле. А Кремль находится в Москве, в самом её центре. Диссиденты тоже, в основном, в столице. Есть йоги, гурджиевцы, ламаисты, кришнаиты – все наши ребята. Товарищи и соперники в поисках неизвестного. По блужданию в тумане. Тунеядцы, самиздатчики, нарушители паспортного режима.

Ближе к коммунизму, но за деньги можно сделать всё. Решить проблемы. Прописаться, отмазаться от армии, полететь в космос. Только вот денег нет. Как при коммунизме.

Москва – порт пяти морей. Столица мира, если хочешь знать. Одних вокзалов – десять штук. В любом направлении. А в Кишиневе только один. В трех направлениях. На Одессу, Москву, Бухарест. В Бухарест нельзя – это заграница. Туда пускают только благонадежных. Партийных, профсоюзных, проверенных. Заслуженных и верноподданных. А в другие направления и смертному можно взять билет.

В Москве бывает летом за тридцать, зимой за сорок. Как в сорок первом. Летом плюс, зимой минус. Не всякая европейская столица вынесет такие перепады. Не говоря уже об азиатской. Бывает и ноль. Ни туда, ни сюда. Много чего есть необыкновенного.

Восемь миллионов жителей и примерно столько же приезжих. В том числе и транзитников. Есть и неучтенные. Не охваченные статистикой. Представители свыше пятисот национальностей. Если считать национальностью национальный округ и племя. Очень бойкое место. Несмотря на перепады температуры.

Москву объявили образцовым коммунистическим городом. Городом мечты. Взяли за образец. Когда все города подтянутся и станут как Москва, тогда и коммунизм можно объявлять. Такая мысль. А пока – в основном. На партсъезде объявили, что, в основном, завершено построение коммунистического общества. Дело за деталями.

Москва – большой, огромный культурный центр, просто необъятный. Свыше шестидесяти больших и малых театров. Триста пятьдесят домов культуры, восемнадцать домов пионеров и школьников, пятнадцать домов молодежи, шестнадцать тысяч первичных партийных организаций. Стадионы, бассейны, танц-площадки. Пятьдесят восемь кинотеатров, восемнадцать тысяч библиотек, даже больше чем парторганизаций. Десятки церквей, одна мечеть, две синагоги, один мавзолей. Парк культуры и отдыха имени Горького с многочисленными аттракционами. Самый большой зеленый парк в Европе – Измайловский парк, с очень злыми комарами. Есть бильярд, шашки-шахматы, домино, пневматический тир. Прокат лодок, велосипедов, электротехники, посуды, свадебных платьев. Но нет проката автомобилей.

Есть дом быта. И не один, а тридцать шесть. А по Московской области до ста двадцати домов быта. В 120 раз больше, чем во всей Европе вместе взятой. Ломбардов около двадцати. Пятнадцать скупок цветных металлов. Один ипподром с лошадьми.

Тысячи школ и детских садов, больниц и поликлиник. Свыше восьмидесяти высших учебных заведений. Сберегательных касс восемьдесят, даже больше, чем при коммунизме. Блинные, чебуречные, пельменные, домашняя кухня. Беяши, вареники, ватрушки. Но без расстегаев. Без буржуазных блюд. Этого не надо. Двадцать четыре ЗАГСы, где можно жениться и развестись, получить справку о рождении и смерти. И действовать в соответствии с этими справками.

Все значительные аббревиатуры прописаны в Москве. ЦДЛ, ЦДРИ, ЦДК, ВТО, ЦПКО, ВДНХ, ВЦСПС, ЦК КПСС, ВЛКСМ, ВПШ, МПС, СЭВ, Варшавский договор.

В Москве больше миллиона оборудованных остановок общественного транспорта. Народный, товарищеский и Верховный суд. Генеральная прокуратура, несколько тюрем. 250 гостиниц, включая дома колхозника. 25 рынков, частично крытых. 1600 музеев, включая трудовой славы и дома-усадьбы. Больше миллиарда стволов, в смысле – зелёных насаждений. Если считать деревья по стволам. Если по кронам, то немного меньше.

Восемь аэропортов, Речной вокзал, обзорные экскурсии на катерах по Москве-реке. 30 валютных магазинов, торгующих

только за валюту. Те же деньги, но иностранные. С большей покупательной способностью. С детства. Что не купишь ни за какие деньги. Наши, советские деньги, с низкой покупательной способностью. С детства.

В Кишиневе только один валютный магазин с милиционером на входе. Кто посмелее, туда заходит как в музей, хотя бы посмотреть. Откуда у нас валюта?

Три темы – Москвы, женитьбы и прописки, – можно легко объединить в одну общую разработку. Народные сказки частенько поднимали эту проблему в своих сюжетах. Иван-дурак из деревни в конце концов женится на принцессе, царской дочке, и получает полцарства в придачу. А царская дочка где живет? В Москве. В стольном городе, там, где коридоры власти. И в этом нет ничего плохого, в темах народных сказок. В народе живёт вековая надежда на чудо и улучшение собственных обстоятельств.

Эти три темы объединились у меня в пионерском лагере. У нас на курсе училась девочка из Москвы. Обычно со всех концов едут туда поступать, но бывают и обратные единичные случаи. У нее тут дядя работает руководителем среднего звена, он обещал обеспечить поступление на 100%. Мы были пионервожатыми в смежных отрядах, в шестом и пятом. Работали с детьми среднего школьного возраста. Средней степени вредности. И приятности. Со старшеклассниками обычно труднее, к ним прикрепляют более опытных вожатых, со стажем. Умеющих держать удар. Иногда в прямом смысле. Например, в первом отряде воспитателем работал кандидат в мастера спорта по боксу. Но уже завязавший со спортивной карьерой, так что так и остался кандидатом. На восемь лет меня старше. Работает инструктором в РайОНО. Районный отдел народного образования. Мы с ним подружились. Я уже написал тогда свое первое стихотворение в четыре строки. Намечалась тяга к искусству. Звали его Николай. То есть, я не помню. Он сказал, что тоже имеет отношение к поэзии. Он был женат на поэтессе. И сказал фамилию. Удачливая и довольно известная в нашем городе поэтесса. Из тех, кого печатали, у нее были более-менее приличные стихи. Я ее уважал как поэта на 50%. А на другие 50% не уважал.

Они недавно развелись, но какое-то время продолжали жить в одной квартире вынужденно. Поэтесса устраивала ему сцены. Она обвиняла его в том, что он ворует у нее мыло. Называла его ворюгой. Довольно несерьезное и несолидное обвинение. Да пусть ворует себе на здоровье. Вы же любили друг друга когда-то. У вас любовь была, вроде того. Спали вместе, обнявшись, небось. Клали голову друг другу на плечо. Слова говорили. А теперь скандалы вокруг того, что мыло ворует. Непозитично всё это.

Причем, не то, что он вроде мыло кусками воровал. Не кусками, а намыливаниями. Просто пользовался ее мылом вместо своего. Насчёт этого был крик.

Не мог Николай у нее мыло воровать. Спортсмен, музыкант, эрудит. Благородный человек, мой друг. Я ему верю. Просто придирки вздорной женщины. Я перестал ее уважать как поэтессу, еще на 50%. Дошло до нуля. Так суровые факты из жизни влияют на восприятие поэзии.

Москвичку звали Света. Вернее, не помню. Сорок процентов, что Света. Остальное на другие имена. Она на год старше. Значит, в первый год не поступила, а потом решила не рисковать и поехать в Кишинев на обещанные дядей 100%. Светлая, крупная. Приятные правильные черты лица. Характер спокойный, товарищеский. Но нужны же какие-то чувства. Если их нет, постараться их пробудить. Если уж решаешь стратегические задачи. Решение некоторых проблем по примеру Иванушки-дурака.

Она какая-то правильная, немного пресная, без инициативы. И некуда жаловаться. Я ее пригласил на наши вечерние посиделки. Не бывает нелюбимых женщин, бывает мало водки. В данном случае – вина. Вино как раз было. В итоге мы с ней целовались и обнимались. По молодости. Но не больше. Она оказала достойное сопротивление. Только через ЗАГС. Она правильная была. А мы – неправильные. Вернее, у каждого своя сверхзадача, как говорил Константин Станиславский. Тем более, что чувства не появились, ни обоюдные, ни односторонние. А без чувств взаправду не получается. Я верил в большую любовь и ждал. Чтоб пришла и трахнула по голове дубиной. И станет понятно, что нужно жениться. Втихаря я верил, что браки совершаются на небесах. И начинал догадываться, что там они и остаются, как идея. Как данность. Нет счастливых браков, не получается. Но все ждут большую любовь и надеются. Любовь – это, вроде бы, хорошо. И не бывает любви несчастливой.

Республиканский стадион в Кишиневе построил Леонид Брежнев. Ильич. Не лично он, но под его руководством. И выкопал рукотворное Комсомольское озеро, и залил водой. Это был его конек, это он делал в каждом городе, куда его посылала Партия на более-менее долго. И в Молдавии, и в Казахстане. Стадион на двадцать тысяч зрителей, чаще болельщиков. Максимальной величины футбольное поле, размер 110 на 60, с лучшим в республике травяным газоном, бобриком. Регулярная стрижка газонокосилкой. Одиннадцатиметровый перед воротами отмечен белой краской, чтоб не каждый раз замерять перед пенальти. Разметка ровная, по веревочке: центр поля, штрафная площадь, вратарская, – всё как прописано. Четыре угла, из которых пробиваются угловые удары. Двое ворот одинакового размера аккуратно друг против друга на расстоянии 110 метров по прямой. Целая наука и техника.

Вокруг поля – восемь беговых дорожек, что позволяет проводить всесоюзные и международные легкоатлетические соревнования. Таковы международные требования к количеству беговых дорожек. Ну, и по ширине. Чтоб не толкаться.

Всесоюзных и международных не припомню, но были зональные соревнования. Республика Закавказья и Молдавии. Попали почему-то в одну зону. Каждая зона из четырех республик. А всего республик шестнадцать. На четыре делится. Логично. Победители едут на межзональные и так далее.

Тер-Ованесян прыгнул дальше всех в длину. Санаев дальше всех тройным прыжком. Выше всех в прыжках с шестом прыгнул наш Гамаль. Почему-то память избирательная, сильна именно в прыжках. Огорожен стадион красивым каменным забором с излишествами. Мог бы быть и пониже.

Только у тюрьмы, что расположена через квартал, забор выше. И не такой красивый. Без излишеств. И только одни ворота. Администрация гордилась, что из этой тюрьмы ещё никому не удавалось сбежать. Пока ещё. Но в народе поговаривали, что Григорий Котовский из неё один раз сбежал. Всего изпод стражи он сбежал пять раз. Из них два раза с каторги. И все при царском режиме. Не умели охранять как следует. Кто очень хотел, тот сбегал. Но от администрации не сбежишь. Тюрьма была построена при Николае Втором, а не при Брежневе, что характерно. Или не характерно.

Национальный вид спорта – это борьба «трынта». Что-то типа вольной борьбы, ногами нельзя. Только захваты руками, броски и в конце положить на лопатки. Победителя ждет приз – живой баран, весь в каракуле. Точно такая же национальная борьба есть в республиках Закавказья, и с таким же призом. Теперь понятнее, почему Молдавию и Закавказье включили в одну легкоатлетическую зону. По какому признаку. По борьбе и по барану.

От стадиона до Комсомольского озера идти пешком не торопясь минут двадцать пять. По брежневским местам. Сначала мимо Армянского кладбища. Я не знаю, почему такое название. Армян там не больше, чем других. Представлено свыше двадцати наций на кладбище. Забор есть – что-то среднее между тюремным и стадионным. При коммунизме не будет заборов, это один из тезисов. В Кишиневе была даже кампания сноса заборов. Убрали ограду вокруг Университета. И стало гораздо лучше. Не нужно обходить, искать ворота. Прямо с тротуара ступаешь в парк и идешь к зданию по дорожкам. Убрали заграждения вокруг газонов и т. д. Потом кампанию свернули. Как будут функционировать фабрики и заводы без заборов? Всё же разворуют вконец. Рановато нам пока без заборов.

Тюрем при коммунизме не будет, естественно, и забора к ним. И у стадиона забора не будет, заходи свободно на любое зрелище. Без денег, без билета, без контролера. Денег вообще не будет, это главный тезис. Или аксиома. И погосту забор не нужен. Красивое, ухоженное, зелёное кладбище только украшает перспективу.

Стадион, тюрьма, кладбище, Центральный парк культуры и отдыха. Есть огорчения, есть и развлечения. Примерно поровну. Комсомольское озеро входит в ансамбль ЦПКиО. Три раза

обежать его вокруг – это десять километров. Но, в основном, место отдыха. Неплохой пляж с песком, грибочками, буйками, лягушатником, кабинками для переодевания. Есть спасательная станция, медпункт, опорный пункт народной дружины. Опереться чтоб. Позагорать, искупаться. Буфет торгует бойко. Мороженое в лотках на выбор: фруктовое, сливочное, крем-брюле, эскимо на палочке. Стекляшка-закусочная «Ветерок» со столиками как внутри, так и снаружи. Неодетые не обслуживаются. Ресторан «Поплавок» на сваях прямо в воде в двадцати метрах от берега. Кругом вода.

Можно прыгнуть с парашютом, если ты такой смелый. С тридцатиметровой вышки. За небольшую плату. Только в нашем парке. Только для взрослых. Можно порыбачить в удовольствие, посидеть на бережку с удочкой. В озере водятся окуньки, есть и раки, у которых правая клешня всегда больше левой. И среди них я не видал еще левшей. За четыре копейки можно взвеситься, уточнить свой вес в килограммах и граммах. И даже дадут квитанцию для отчета. Можно проверить силу кистевого сжатия, за те же деньги в том же месте. За десять копеек стоит рискнуть проверить силу удара собственной руки сверху вниз печатью по блямбе. Припечатать. И тоже под квитанцию.

Хорошо пройтись на веслах из конца в конец по водной глади за сорок копеек в час. С прогулочной скоростью. В охотку. Или же на водном велосипеде с лопастями вместо колес.

Это что касается отдыха. А посмотрим, что насчет культуры предлагается в нашем Парке культуры и отдыха. Есть Дневной кинотеатр с брезентовой крышей, типа цирка шапито. Почему Дневной? Днем полной темноты в зале организовать не удавалось из-за брезентовой крыши. Только ночью в зале было темно и комфортно глядеть на экран. Вот почему. Дневной кинотеатр потому, что при сеансе днем в нем было светло как днем. От дождя тент оберегает, но не от мороза. Когда идет дождь, под тентом даже как-то романтично. А в мороз кинотеатр не работает.

На территории ЦПКиО постоянно действует и экспонирует выставка достижений народного хозяйства. ВДНХ. Огромный павильон с прилегающими угодами. Территория огорожена. Внутри ограды – розарий и выставка сельхозтехники, в основном. И еще насосы. Продукция Кишиневского, ордена Ленина, насосного завода. За территорией – дендрарий и уходящая за холмы лесопосадка.

Внутри павильона – другие достижения. Сельскохозяйственная, в основном, продукция. Много разных медалированных бутылок с вином. Фотографии огромных винных подвалов в Криково. Консервная промышленность. Много разных консервов и закуток.

В республике очень высокая плотность населения. Количество человек на квадратный километр. Самая высокая плотность в стране среди республик. 100 человек на квадратный километр. Существует проблема занятости. Надо их чем-то

занять. Эти сто человек. Обеспечить работой. Реализовать их право на труд. Дать заработать на жизнь. Поэтому построены крупные предприятия, позволяющие трудоустроить сразу много людей. Трикотажная фабрика «40 лет Октября», обувное объединение «Зорице», кондитерская фабрика «Букурия», телевизионный завод «Фотон», завод, изготавливающий детали для военной промышленности. Водители троллейбусов так и объявляют: следующая остановка – секретный завод «Мезон». Что такое мезон, никто не знает. Про фотон догадываются, что это что-то такое в телевизоре.

Физическая культура – одна из самых важных в жизни культур. На озере действует спортивно-оздоровительная школа гребли на байдарках и каноэ. Молдавия традиционно сильна в этом виде спорта даже на международной арене. За сборную Советского Союза выступают несколько молдавских гребцов. С русскими фамилиями. Воспитанники молдавской школы гребли. Спортобщество «Молдова». У каноэ одно весло и гребёт оно с одного боку. У байдарки-одиночки тоже одно весло, но с двумя лопастями. И гребёт оно и справа и слева попеременно.

Есть Летний театр на две тысячи мест с внушительным забором. Эстрада под открытым небом. Тут выступали: Владимир Высоцкий, Бисер Киров, Дан Спэтару. Иногда концерты отменялись или переносились, если лил дождь. Но не концерт Высоцкого. Разнесли бы весь Летний театр в пять минут. Невзирая на ливень. В любую погоду. Искусство принадлежит народу, несмотря ни на что. Высоцкому давно бы дали Героя Советского Союза, Заслуженного артиста и Государственную премию, если бы прислушивались к мнению народа.

Медленно крутится колесо обозрения, семьдесят метров в диаметре. Сверху можно обозреть далеко вокруг. Всего три таких колеса в городе. Взад-вперед качаются качели. Крутится карусель вокруг своей оси. Там 5 копеек, там 10, там 15. За деньги все крутится, как миленькое. На чем же все-таки всё будет крутиться при коммунизме? Наверное, всё остановится. Будет тихий коммунизм, без движения.

В Советскую армию не забреют, если ты у мамы один. И мама у тебя одна. И больше никого у вас нет. Короче, если ты единственный кормилец в семье. А зарплата у солдата 2 рубля 40 копеек.

В октябрята принимают в первом классе, пионером становишься в четвертом. С четырнадцати лет принимают в комсомол, если честно ответишь на пару вопросов: сколько орденов у ВЛКСМ, когда и за что дали. Паспорт вручают в шестнадцать лет, и можешь идти голосовать. Согласно конституции. Отдать свой голос блоку коммунистов и беспартийных. В восемнадцать лет и дальше имеешь право жениться без ограничений. И в армию призывают с восемнадцати. Два раза в год призывают. Весенний призыв и осенний. Как у перелетных птиц. И призыв

этот может продолжаться до двадцати восьми лет. Если ты призыв не услышал, как-то проскочил, то после двадцати восьми лет уже не заберут. Но могут посадить за уклонение от службы в армии. Некоторые баптисты, например, уклоняются по религиозным соображениям. И сидят три года в тюрьме.

Уголовников в армию не берут. И если ты женат и у тебя двое детей. И больше. Если поступаешь в ВУЗ, то дают отсрочку на время учебы. Стране нужны специалисты, а не только солдаты. Но после окончания ты всё равно обязан отслужить. По укороченной программе, вместо двух лет – один год. Обязан уложиться. Если в институте действует военная кафедра, то после выпуска тебя ждут два месяца летних военных сборов с присвоением звания младшего лейтенанта.

В нашем институте отсрочка распространяется и на два года обязательной педагогической практики в деревне. Если и после практики ты остаёшься учительствовать на селе, то можно с военкоматом договориться о дальнейшей отсрочке. Учителей не хватает в глубинке. Кто будет детей учить? Учение – свет. Все дети тянутся к свету. А никто не хочет ехать учительствовать в деревню после города. Для них в городе – свет, а в деревне – тьма. Город намазан медом.

Таким образом, учительствуя на селе, можно благополучно дотянуть до двадцати восьми лет. Институт заканчивается в двадцать один год. Семь лет прозябать в деревне, только чтобы в армию не пойти. Зато нести детям разумное и доброе. Можно и не донести.

Женю Соколова едва не уволили с последнего курса нашего института. В деканат пришла бумага из милиции, точнее, из вытрезвителя. Напился и шатался. Буянил и сопротивлялся. Пришлось вязать. Ставят общественность в известность. Применить меры к пьяницам и дебоширам.

Обычно о своих загулах Женя рассказывал смешно: «Приехал ко мне как-то друг издалека. Радость большая, стали мы пить. До потери памяти. Не помню даже, сколько дней гуляли. Три, пять, десять? Пришел в себя однажды утром в четыре часа. Светало. Стою на центральной площади нашего городка. В пижамных штанах, босиком, в руках двустволка. Ну, беда, что же я такого натворил? Смотрю на горком – на нем знамя красное. Ну, слава богу, думаю, ничего, значит, страшного».

А тут ничего смешного рассказать даже не смог. Да, вытрезвитель, да, повязали, и еще бока намаляли. Ничего смешного. Всё болит. Я его навестил в его хандре. Снимает угол у приятеля. Он не из нашего города. Из Бельц, с левого берега. Из народа. Лежал на диване второй день, институт не посещал. Там уже повесили молнию: «Позорит наш институт». Пока не снимут – в институт ни ногой. И даже сочинил белый стих, что вообще-то у него считалось делом никчемным. Что-то такое про ветер, который дует и гнёт, гудит и завывает, треплет и ласкает.

У Жени мышление парадоксальное. Любой на его месте возненавидел бы ментов после того, как его избили. Женя любил быть сильным. Уважал силу. А сила на стороне власти. Не на нашей стороне. И Женя перешел на сторону силы. Какие-то связи у него были в силовых структурах.

– Мы скинем советскую власть изнутри, – как бы оправдывался он. – Сделаю карьеру и отменю Советскую власть декретом. А ты будешь у меня по международным связям. Типа Киссинджера.

Заодно решался вопрос с деревней и армией. Стране нужны были такие: крупные, красивые, сильные, с высшим образованием. Куда-то его взяли. Он темнил, не говорил куда. По военной части, точнее, по правоохранительной. На какие-то курсы повышения. То появлялся, то исчезал. Писал письма из Куйбышева. Приезжай, погудим. У нас тут в группе есть неплохие лейтенанточки. Будем заниматься любовью, не снимая кителей.

И выплыл в конце концов каким-то чином в конвойных войсках. Каким-то старшим лейтенантом. Форма ему шла. И фамилия подходящая для военной карьеры: Соколов. Нарочно лучше не придумаешь.

Женя Соколов и Сережа Ступин – друзья. В институте были не разлей вода. Мама у Ступина – заместитель главного врача Республиканской детской больницы. Но даже она не смогла сына избавить от обязательной педпрактики. Как-то все-таки помогла. Поехал не в деревню, а в райцентр. Город Дубоссары, на левом берегу. Женя посетил друга в ссылке. Рассказывал: квартир нету для учителей. Поселили Ступина в зачуханной гостинице, единственной в городе. Нашёл я его в ресторане при гостинице. Сергей Константинович сидел за столиком и ел булочку. Больше ни на что денег не было. Увидев меня, чуть не прослезился. В ресторане играл патефон. Посетителей – три с половиной человека, все мужчины. Двое из них танцуют танго. Третий подошел к нашему столику, щелкнул каблуками и пригласил Ступина на танец. У Сергея Константиновича аж булочка вывалилась изо рта. Я встал и почему-то с грузинским акцентом ответил, что мы не танцуем, к сожалению.

Ну и не вынесла душа поэта. Не получилось из Сережи Ступина педагога Иона Крянгэ. Не смог в деревне. Не потянул просто. Сбежал домой, в столицу нашей республики. А тут его ждал солдатский призыв осеннего разлива. Раньше сядешь – выйдешь раньше.

Мы его провожали на призывной пункт. Пункт сбора призывников со всей Молдавии. Что за рожи, где нас таких только делают? Все призывники пьяные, курят и говорят только матом, плюют на пол и блюют в углах. Одеты на выброс, в то, чего не жалко, что тоже не красит.

В огромной казарме – нары в три ряда. Запах тот ещё. Нар на всех не хватает, поэтому местных отпускают на ночь домой. Но чтоб к утру вернулись. Чтоб не искать потом. Кого-то выкри-

кивают, вызывают, строят, уводят, увозят. Слава богу, хоть время мирное, почти все вернутся назад. Лучше шизофрения, чем Красная армия.

Ступина построили и увели только на третьи сутки. Соколов оставался до упора. Я выдержал первые полночи. Что соответствует отношениям. Основной его друг – Женя. Я постольку-поскольку. В основном, через Женю.

И все телодвижения призывников только через гастронорм. В армию не уходят в сознательном состоянии, только в бессознательном. Как раз ввели передовую систему – систему самообслуживания. Это один из вторичных признаков коммунизма. Самообслуживание и самоуправление. Сейчас нами правит партия и правительство. А когда настанет, то ты сам собою будешь управлять.

Всё расфасовано, ценообразовано, подходи и бери. Клади в корзинку. Неси на контроль. Выбор всегда был невелик. Как повезёт. А если повезёт, как будто праздник.

Взяли две бутылки вина, сыр «Буджакский», селедку иваси, кильку в томате, два батона. В такой последовательности. Вне программы Сережа Ступин пронёс под пальто бутылку коньяка пятизвёздочного. За десять рублей с копейками. Это серьёзное противоправное деяние несознательного элемента. За это могли и протокол составить при задержании. Как говаривали в таких случаях: если б ты кусок хлеба украд, тогда извинительно. Жрать хочешь. Но вы же всё водяру воруете, чтоб залить глаза свинячьи. Но сейчас пронесло. На этот раз. Потому что впоследствии Ступин не раз попадёт под протокол. А кто бы мог подумать! Из интеллигентной семьи. Мать – главврач больницы. Полный дом хороших книжек. А сын – рецидивист.

Из армии Ступин написал пару писем Соколову. И оба по сексуальному вопросу. Снятся, вроде того что, разные неприличные сны. Если бы Зигмунд Фрейд отслужил бы в Советской армии действительную службу, его доводы были бы проще, а аргументы убедительней. Если бы он вообще после всего захотел бы что-то написать.

Ступин вернулся из армии через год, причем високосный, полностью отдав свой гражданский долг под расчет. Демобилизовался вчистую, как будто и не было. Ушел в отставку без сверхсрочного. Не остался сверх срока, хватило. Ушёл ефрейтором запаса. Если что, у нас в запасе есть.

Погулял по буфетам и забегаловкам. «Кэрнацей», «Мити-тей», «Плачинте», «Кипэруш», «Бутояш». Навестил подружек, если кто остался. То есть, остался ли кто.

Мало осталось прежнего. Студенческие годы исчерпались до последнего звонка. И теперь каждый по себе. Сдаёшь зачёты перед собой лично и непосредственно жизнью.

Мама помогла устроиться служить в Кишинёвскую книжную палату сотрудником. Грановитая палата – это там, где сосре-

дотачиваются драгоценности. Оружейная палата – где оружие. А в Книжной палате – соответственно. И Серёже по профилю.

Мать пообещала квартиру, если женится без дураков. Так и случилось. Потом случился сын. Хороший мальчик, как и все, пока маленькие. Случалось, что Серёжа промышлял продажей книг, играя на разнице. Государственная цена и негосударственная. Всё-таки мы филологи. И это по профилю.

Квартира в районе телецентра. Однокомнатная с балконом. Балкон можно застеклить и использовать как дополнительную площадь. Хотя горком возражал против остекления. Портит внешний вид жилого массива. Участковые с папками ходили по квартирам и предупреждали, что примут меры. Против собственного народа. Но в действительности принимали только против балконов на главной улице города. Но там балконы законопослушные. Хоть лозунги вешай. А на другие – попробуй, сунься. По закону жилище граждан неприкосновенно. На любой закон есть другой закон. Единство и борьба противоположностей. Балкон нужен, чтобы выйти и подышать свежим воздухом. В тёплой домашней обстановке. Но, в основном, использовали для пустых бутылок и чтобы покурить.

Кухня отдельно, туалет и ванная вместе. В комнате диван, стол со стульями, трюмо. Одна стена полностью в книгах. Дефицитные чешские полки за 15 руб. 40 коп. поставлены одна на другую от пола до потолка. Приличная обстановка, культурная семья.

Я у него был один раз. Посидели полчаса на кухне. Он, маленький сын и я. Сыну примерно уже года два от рождения. Запомнился сладкий запах георгин из большого букета в трёхлитровой банке на подоконнике. Когда сын захотел пи-пи, отец просто отодвинул немного грязную посуду в раковине, приспустил ему штанишки, приподнял и направил струйку. Уринотерапия. Надо взять на вооружение.

Дом четырехэтажный, панельный. Длинной в три подъезда. На плоской крыше – заросли телевизионных антенн. Ржавая пожарная лестница с торца. Дом с честью выдержал семибалльное землетрясение 1973, что ли, года, только крикнул. В другом торце, на первом этаже, работает сберкасса. Окна зарешечены. В доме напротив – овощной магазин. В доме позади – электротовары. В семь часов утра и вечера приезжает мусорная машина за мусором. Через каждые двенадцать часов. Однозначно звенит колокольчик в руке у мусорщика. Граждане выносят в ведрах у кого что накопилось.

Хорошая жена, отдельная квартира – что ещё нужно, чтобы сидеть и не рыпаться. Но в жизни всегда есть место всякому.

Осенней слякотной ночью в два часа Ступин вышел из дому на подвиги. То ли еще не ложился, то ли встал ни свет ни заря. Но это вряд ли. С утра такого не удаляешь, только с вечера. Значит, еще не ложился. И уже не ляжет в родную постель минимум год. Если получит по минимуму. В соседнем доме кир-

пичом разбил витрину овощного магазина и вошёл через витрину вовнутрь. По-соседски. Без приглашения.

Что в овощном магазине такого интересного? Красивая мигающая неоновая вывеска «Овощи-фрукты, соки-воды». Два отделения от входа: направо и налево. В одном отделении торгуют овощами и фруктами по сезону. Слышен запах сырой земли от сеток с картошкой. Потому что плохо моют. Шесть с половиной процентов от ее веса составляет земля. Крепче всех пахнет лук, какходишь, его сразу чувствуешь. Плюс легкий запах плесени отовсюду. Лежит кондиционная морковь, не пахнет. Свекла – обычно с хвостиком. Капуста – белыми кочанами, без застёжек. Редиска пучками. Помидоры, огурцы, лук порей. Укроп, петрушка, сельдерей. Мочености в прозрачных пакетах. В огуречном рассоле плавают сморщенные огурцы.

По принятым коллективом Социалистическим обязательствам в отделе должно быть не менее 6 наименований овощей. В наличии. На прилавке. Витамины потребителям. Товар лицом к народу. Не из-под прилавка. И жалобная книга предъявляется по первому требованию.

Из фруктов сильнее всего пахнет виноград «Изабелла». Просто преследует запах. Особенно одноименное вино из этого винограда. На второй ступеньке виноград «Мускат». На третьем месте «Лидия». Сильно пахнут сухофрукты: яблоки, груши, чернослив. Всё – детство, отрочество, юность – на компоте из сухофруктов. На третье – почти всегда компот.

Соки на розлив прямо у стойки: томатный, яблочный, виноградный. Ложечка в стакане с водой, крупная мокрая соль в солонке. Чтобы подсолить томатный сок, кто хочет. Минеральная вода «Ессентуки №17» по двадцать копеек бутылка. Бутылку можно сдать за десять копеек. Значит, и вода стоит десять. Это единство формы и содержания. Маринованные огурцы и помидоры в трехлитровых пыльных банках. Их давно никто не берет. Они тяжелые. Просто не донесет. Икра кабачковая и баклажанная в полукилограммовых банках с этикетками. Вес брутто и нетто. Кто сомневается, может проверить лично. Вино и безалкогольные сладкие напитки в бутылках емкостью 0,5 и 0,7 л. Всё вегетарианское, производное из овощей и фруктов. Дары Молдавии.

Коньяка не было. Ступин с достоинством выносил из магазина пол-ящика десертного вина «Ауриу», когда его задержал милицейский наряд. По горячим следам. Помимо звона витринного стекла, магазин оборудован сигнализационным звоном, который сигнализирует прямо в районный отдел милиции на пульт. Дежурный сообщает патрульной машине. Патруль едет разобраться на месте. Чёткое взаимодействие всех оперативных служб. Всем скопом на одного Сергея Константиновича.

Все только руками разводили и снова сводили. Никто не верил, думали шутка. Не похоже на интеллигентного человека, с головой. Сделал бы по-умному и вовремя слинял. А так –

ни в какие ворота не лезет. Так собой распорядиться. Хозяин – барин.

Что-то в нем было от барина. Наш факультет находился у черта на куличках, за околицей. Конечная остановка троллейбуса. Улица Студенческая. Студент – это же не стыдно, это временно, пока учишься. А выучишься – и перестанешь быть студентом. Вечный студент – это уже диагноз, это колея, попал и уже не вылезешь. То есть, конченный, только могила исправит. Я не хочу попасть в колею, не хочу быть конченным. Не надо. Только спокойно, ещё не всё потеряно. Надежда остаётся.

Ну вот, идёт Серёжа Ступин таким барином от остановки к институту, покуривая, не спеша. А мимо пробегаем мы, первокурсники, я с сестрой. Ну, он меня окликает: что за пожар? Так как же, говорю, на лекции опаздываем. Это не причина, отвечает, лекции на то и существуют, чтобы на них опаздывали. Довод мне показался неслабым. Действительно, бежишь, не успеваешь, лицо теряешь. Всё равно уже опоздал. А Ступин так красиво идёт. Мне нравится. Я притормозил, пошёл рядом. В русле. Тогда мы ещё не попали в колею. Каждый в свою.

Самая длинная улица в городе – Мунчештская. В переводе означает рабочая. Рабочий – это тоже уже колея. Биография. Персонаж. Рабочий тащит пулемёт. Рабоче-крестьянская власть. Характер. Рабочий – это не только до почётных проводов на пенсию. Это навсегда. В смысле, до конца.

Проспект Космонавтов. Космонавт – и уже никуда не денешься, не открутишься. Летал в космос – значит, космонавт, так и запишем. Но это пока не наказуемо. Даже наоборот.

Бульвар Советской Армии. Армия – всех сильнее. Военный – это чётко проложенная колея от солдата до генерала. Все отношения строго по уставу. Военная косточка. Пушечное мясо. Готовый персонаж. Вроде Скалозуба.

Улица Заводская. Тут где-то проходная, что в люди вывела меня... И обратно уже не заведет. Надёжный профессиональный туннель с премиальными. Тринадцатая зарплата. Тринадцать месяцев в году.

Улица Строителей. Наш город – нам строить. Самая мирная профессия. В военное время – сапёры. Каска обязательна. Страховочный пояс. Подъёмный кран. Майна-вира. Обеспечиваются квартирами в первую очередь. В течение двух лет. Трёх лет. Четырёх.

Улица Советских пограничников. Фуражка с ремешком под подбородком, автомат на плече и почему-то всегда с собакой. У них тандем. Причём, собака ведущая, а пограничник ведомый. У неё хотя бы нюх. Она знает лучше, куда бежать.

Дворец железнодорожников. Железная дорога. Тут не колея. Тут два рельса вдоль, шпалы поперек и перестук вагонных колёс. Гудок локомотива в ночи. Ещё их называют путейцами. На дороге железной всё путём. Они себя еще называют движенцами. Мы – движенцы, вы – движенцы. Самая длинная же-

лезная дорога в мире. А может, и во всей вселенной. Для работников один раз в году проезд на поезде бесплатный в любой конец и обратно. Ехать можно долго из конца в конец. Двенадцать часовых поясов с дырочками. И железнодорожная форма с лычками бесплатно. Раз в три года.

5 мая – День Печати. Но, оказывается, не той, на которую нужно сперва подышать, а потом шлепнуть оттиск на подпись. Хотя она достойна памятника. Особенно ценится круглая печать. Подделка печати преследуется по закону.

Первое воскресенье каждого октября – День Учителя. Пятибалльная система оценок учащихся. У каждого учителя в руках указка и пять баллов цифрами. За всю учительскую жизнь, сколько можно детям поставить хороших оценок. И сколько можно плохих. Это ж и от человека зависит. Любит ли он детей.

Дом Колхозника. Колхозник. Это не ругательство. И не оскорбление. Это участник коллективного хозяйствования. И жена у него колхозница. Он не виноват. Человек нелёгких трудов. Непростой судьбы. Сеятель семян и кормилец города.

Уголовник – это не колея, это траншея по поясу, откуда не выбраться. Шаг не туда – стреляют. Не так посмотрел – в морду бьют. Твое место, считай, у параша. Попался второй раз – дают срок больший. Но переносишь легче, уже как бы не впервой, вроде втянулся. Тем же концом по тому же месту, но уже соломки подстелил. Встречаешь знакомых корешей, знаешь порядки. Считаешь дни, ждёшь окончания срока.

У человека в тюрьме появляется мечта. Он мечтает о воле. Все мысли об одном. А на воле ни о чём не мечтает. Пропадает мечта.

Тебя охраняют, значит, ты чего-то стоишь. Тебя изолируют, выходит, боятся. Ты угроза обществу. Это не плюнуть и растереть.

Серёже Ступину суд народных заседателей определил меру наказания: 1 год общего режима. Будет соблюдать режим. Меньше нельзя было дать, статья такая: от года до пяти. По минимуму, куда уж меньше.

Друзья стали видаться чаще. Один по месту отсидки, а другой – там, где работает. Женя Соколов, к этому времени перспективный старший лейтенант конвойных войск, был вхож в любую камеру по всей Молдавии. И мог выйти в любой момент, что немаловажно.

На могиле украинского философа и баснописца Григория Сковороды написано: «Мир ловил меня, но не поймал».

Вот так. Очень достойный ответ всем этим безобразиям. Я тоже так хочу. Коротко и ясно. Ловил, но не поймал. Больше ничего из учения Сковороды не запало. Но и это много.

Ступин отсидел, вернулся и через короткое время ломанул продмаг в двухстах метрах от местожительства. Строго в своём районе. Чужого ему не надо. Даже не успел выйти из магазина, как его обложили. Хороший райотдел милиции в Ленинском районе.

Женя Соколов уже был капитаном, рос как на дрожжах, дневал и ночевал на службе. Старался быть незаменимым. Так что встречались они часто. Но уже непонятно, то ли как друзья, то ли как персонажи. Классическая пара: рецидивист и кум, уголовник и вертухай, заключенный и охранник.

Если по Григорию Сковороде, то поймал их мир или не поймал?

Ступина так даже не мир поймал, а наряд милиции. И не один раз. А Женю Соколова поймала служба и уже не отпустит. Сейчас капитан поймал. Потом поймают майор, полковник, генерал. Всё как бы известно, не он первый. К тому же законченные персонажи. Арестант и конвоир. Значит, мир ловил и поймал.

Я так не согласен. Я не хочу ловиться. Женя, извини! При чем взаимно. Не хочу быть персонажем. Хотя чувствую, что уже почти. Ведь мы не для этого же. Скажи, Юлик! Если согласишься, то кранты! Будешь как все, а ведь мы не хотели. Еще не поздно что-то сделать, или как? Боюсь, что уже поймал. Или еще можно вырваться?

Сбор назначили на Центральной автобусной станции, чтобы поехать автобусом на маевку, в смысле пикника с ночевкой. Уже и купаться можно, днем двадцать пять градусов в тени. А на солнце – до шестидесяти. Есть свидетели. Кладезь ртутный столбик на землю, под прямые солнечные лучи и показывает шестьдесят градусов. Теперь понятнее, откуда берется солнечный удар.

Договориться – договорились, но никто не пришел, кроме меня и Саши Мельника. А предполагалось, что соберется человек десять, в том числе и девушки. Он меня не узнал, под каждым глазом у меня фингал, на одном, заплывшем, черная повязка. Так бывает, когда трое на одного и убежать не можешь, потому что с девушкой. Зато девушка у меня теперь в долгу. Оля Заполоцкова из нашей студенческой группы.

Я Сашу узнал по черным длинным волосам, гитаре в чехле и толстым стёклам очков. Армия ему не грозила, зрение у него минус четыре с колебаниями. Колебания важны, потому что при трех с половиной в армию еще берут. Не в снайперы, конечно, но забреют. А при четырех уже свободен. В остальном Саша ничем не уступал. Наоборот, у него был повышенный слух, характерный голос, несколько аккордов и романтико-философский репертуар. Умел держать аудиторию. Готовился поступать куда-то на кино. То есть амбиции были. Никто не предполагал, что после этой поездки его планы изменятся. Кина не будет.

Ждали целый час, но никто не явился. Если уж настроились, надо ехать, хоть в таком составе и без девушек. У Саши палатка, у меня спальник. Сухой паек домашний, вино из магазина. Гитара опять же. Спички, чтобы разжечь костер, самые дешевые спички в мире. Из настоящей берёзы с толстой серной го-

ловкой, Брянского древесностружечного комбината. В деревянном коробке. Берешь в руки – маешь вещь.

Автовокзал привозил и увозил пассажиров в праздничном режиме. По уплотненному графику. Колхозники, отторговавшись на рынках, поспешали домой. С пустыми кошельками и мешками и полными кошельками. Иногородние студенты на майские праздники убывают по домам подкормиться и подзарядиться. Были и как мы, с рюкзаками и гитарами, но поболее числом.

Автобусы обдавали жаром и выхлопом моторов. Никаких кондиционеров не было. Советский Союз традиционно числился северной страной, так что даже в Ташкенте не полагалось кондиционеров на транспорте. Отопление зимой – да. Охлаждение летом – нет. Главное ехать с ветерком. И махать рукой на прощанье. И растворяться в мреющей дали. Пишите письма мелким почерком. Наш адрес – Советский Союз.

Приходят автобусы с юга, из Буджакских просторных степей. Из города Комрата, столицы Гагаузии. Гагаузы – это турки, перешедшие на сторону славян. Язык свой, а письменность на основе русского алфавита. Мягкий знак не выговаривают. Их всего двести двадцать тысяч во всем мире. Занесены в Красную книгу. Большая часть живет на юге Молдавии – сто пятьдесят тысяч. Рано отдают девушек замуж и только за своих. Стараются не ассимилироваться.

В той же стороне Чимишлийский маршрут. Чимишлия – центр компактного проживания болгар. Свой язык и общая с русскими письменность. От Кирилла и Мефодия. Восемьдесят восемь тысяч болгар в Молдавии. И нет квоты на рождаемость. Сколько хочешь. Не как в Китае.

Решили всё-таки поехать. В непривычном составе. Пусть нам будет хуже. Или им будет хуже. Но поехать не на дальнее озеро в Иванчу, а на ближнее, в Гидигич. Долго ждали, потеряли время, скоро темнеть начнет.

В автобусе было полупусто. Были даже свободные сидячие места. В это время в обратную сторону он идёт переполненным, с пляжа. Со слегка поджаренными пассажирами.

За пляжем сразу начинается лесопосадка, и можно ставить палатку и столбить место. Половину составляют рыбаки, стережущие утренний клев. По-особому квакают местные лягушки. Свиристы непуганые цикады. Плещется легкая волна. Слышится гитарный перезвон и перекличка ночного купания. Звонят колокольчики на лесках у рыболовов. Преодолею звуковой барьер невидимый истребитель.

Вбили колышки, растянули палатку. От комаров, ночной свежести и непредвиденного дождя. Развели костерок из валежника. Открыли бутылку сухого вина. Сначала аккуратно отбили сургуч на горлышке черенком ножа. Потом поддели и вытащили полиэтиленовую пробку с характерным звуком. Разложили, у кого что было из еды, на свежей газете «Советская Молдавия», две копейки за экземпляр.

Разговор пошёл по спирали. До этого мы вообще не разговаривали. Общались в компаниях. Дым костра поднимался вверх. Луна смотрела вниз на свое отражение в воде. Что ли любовалась.

Видимо был толчок к теме. Я Саше вдруг рассказал, что усвоил, своими и чужими словами. Подливая в кружки вино.

Жизнь есть иллюзия и крепкий сон. Думаем, что бодрствуем, а мы спим. И снятся друг другу, причем непонятно, ты мне или я тебе. В натуре. Другими словами: неужели я настоящий и действительно смерть придет. Вот вопрос. Человек ничего не может делать, с ним всё случается. От его усилий ничего не происходит, но и без усилий тоже. Как сказал Абдарахман Джами: «Онагра не поймал в степи бежавший за онагром, но тот, кто степью не бежал, онагра не поймал». Вот такие пироги. Необходимо понять, что ты спишь, и захотеть проснуться. Хочет ли он проснуться?

Саше было даже как-то обидно, что он спит. Как-то даже непривычно. Первый раз об этом слышит. Где доказательства?

На некоторые вопросы отвечать невозможно. Это как в школе, когда старшеклассник подходит к младшему и говорит: «Что-то ты тут много выступаешь не по делу. По морде захотел получить? Да или нет? Говори, хочешь по морде?» Скажешь: «Нет, не хочу», – значит, струсил. То-то же, тогда сиди и не рыпайся, шкет. А если скажешь: «Да, хочу. От тебя что ли?» – то можно действительно схлопотать. Вон он, какой бугай. Так что под некоторые вопросы лучше не попадать.

Наутро палатка нагрелась от солнца с первыми лучами. И спать стало невозможно, хотя только семь. После купания в холодной всё еще по весне воде, голова оказалась светлая, настроение приподнятое, приятное воспоминание от вчерашней посиделки. Что же было такое хорошее? Я же завербовал человека. Сбил с панталыку. Навел на путь. Нашел единомышленника. В нашем деле ты не можешь подняться на следующую ступеньку, пока не поднял кого-нибудь на свою. Нашего полку прибыло. Саша старше меня на полгода. Но у нас считается старшим тот, кто старше в Работе. Так что я старше.

Это нужно отметить. С вечера ещё осталась бутылка вина. Тогда время было такое, что оставалось с вечера. Потом настало другое время и перестало оставаться. Выпивалось всё с вечера, и ночью шли к пивным автоматам добавить. По пятнадцать копеек стакан. Они работали круглосуточно. Какое-то время. Когда сутки еще были круглыми.

Тогда было время, что мог выпить с утра, в полдень добавить, и всё равно дневную программу выполнить полностью. Включая сдачу зачёта по истории педагогики. Про Макаренко и Песталоцци. Сейчас это по-другому. С утра выпил – и весь день свободен. Время, видимо, другое. Свободы больше.

Сегодня многие начнут с утра. Вся огромная страна. С Запада на Восток и сверху донизу. Протяженность сухопут-

ных границ Советского Союза – свыше одиннадцати тысяч километров в длину. И немного в ширину. Плюс прибрежные воды.

Четыре получилось подряд выходных дня на этот раз. 1 и 2 мая – красные дни в календаре и к ним примкнули суббота и воскресенье, недельные дни отдыха трудящихся. Недавно перешли на пятидневную рабочую неделю. Понедельник потом будет тяжёлым днём. Скажется в первую очередь на производительности труда. И здоровье можно потерять с этими праздниками. Сплошное застолье.

Дядя Федя нарочно на все праздники брал дежурства в своей автоколонне. Даже в Новогоднюю ночь. Во-первых, оплачивается по двойному тарифу. А во-вторых, вся страна в праздничном дурмане, а он полностью контролирует ситуацию. Как внутри себя, так и на родной автобазе № 6. Не поддается общему безумию. И от этого получает глубокое моральное удовлетворение.

А мы сегодня будем расслабляться вместе со всем народом. Праздник солидарности всех трудящихся всё-таки. Будем взаимно солидарны. Ничто так не обходится дешево.

Саша Мельник, как дядя Федя, не курит и почти не пьёт. Не видит в этом удовольствия. Не сделал привычки. Контролирует себя и ситуацию. Знает, какой взять пальцами аккорд, поет негромким, внятным своим голосом. Регулярно пополняет свой репертуар. Сейчас у него на очереди Галич. Листает толстую общую тетрадь, куда самолично списывает тексты с магнитофона. Когда он поёт, из лесу приближаются от своих палаток отдыхающие, тянут ухо, чтоб его послушать.

Весенний лес ласкает взор нежной молодой зеленью. Бликует озеро солнечными зайчиками по всем направлениям. Рыболовы затевают уху утреннего улова. Летают майские жуки в поиске, на бреющем полёте. Скромно цветут и пахнут полевые цветы в подлеске. Их охраняет государство. Сбор и продажа полевых цветов воспрещены. Штраф – десять рублей. Можно только с огорода.

Саша обозначил свой репертуар, развесил аккорды на ветках, побросал слова на ветер. Потом самолично вернулся к вчерашней теме. Как там, что мы вроде спим, а думаем, что бодрствуем. И что нужно проснуться. Хотелось бы поподробнее.

У меня тоже есть репертуар, типа любимого цитатника, что всплывёт на поверхность по ситуации.

Сказал шейх: «Мы все болеем одной болезнью. Если болезнь одна, то и лекарство одно. У всех нас болезнь небрежения, пойдём пробудимся».

Небрежение – что-то вроде пофигизма. Сон – явь, жизнь – смерть, право – лево, верх – низ, вкривь – вкось, сикось-накось, – какая разница! Думать ещё об этом. Всё на фиг!

Сказал Фудайл однажды спутникам своим: «Что вы думаете о человеке, у которого в руках финики и который садится потом

на краю отхожего места и бросает туда финик за фиником?» Они ответили: «Это безумный». Он сказал: «А тот, кто бросает их во чрево свое, пока не наполнит его, еще безумнее. Ибо то отхожее место наполняется из этого».

После таких слов запомнишь Фудайла на всю жизнь. Сказал не хуже украинского Григория Сковороды.

У нас в Молдавии не видали фиников на прилавках даже на пятидесятилетие Советской власти. А это не маленький был праздник в 67-м году 20-го века. Могли бы порадовать народ финиками по случаю торжества. Даже на 100-летие со дня рождения В. И. Ленина фиников мы не увидели. А это бывает только раз. В жизни раз бывает 18 лет. Многие из деревни даже не знают, что такое финики. Только по книжкам. Так что не будем мы никуда бросать финики. Ни в какое место.

Шейх Абу Ицхак сказал: «Мне всё время в пустыне хотелось сладостей, но я не ел». Шейх Харагани ответил: «Мне всё время в пустыне не хотелось сладостей, но я ел». Тут интересно понять принцип: делаешь не то, что хочешь, а наоборот. Позиция Харагани по-человечески ближе: не хочешь, а ешь. Чтобы быть большим и сильным. Абу Ицхаку сочувствуем. Хотел, но не ел.

Баязид сказал: «О Боже, уведоми землю об этой любви моей». Земля затряслась. Некто сказал: «О, шейх, земля начала трястись». Он ответил: «Да, её уведомили».

В Кишинёве было два семибалльных землетрясения через пятнадцать лет. Одно от другого. Без человеческих жертв. Отделались испугом. Видимо, кто-то уведомил землю о любви своей. Семибалльная любовь бывает раз в пятнадцать лет.

Сказал шейх: «Я хочу не хотеть». Ответил другой: «Но этого он хотел».

Значит, что получается. Правильнее «не хотеть хотеть», чем «хотеть не хотеть». Хотя с первого взгляда кажется, что это одно и то же.

Шейх сказал: «Господь, да прославится мощь его, привёл вас в мир чистыми, не идите же к нему из мира грязными».

Это просто пожелание. Не приказ, не обязаловка. Просто тихое напутствие старшего товарища.

Геннадий Беззубов

НОВЫЕ СТИХИ

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

Человек просто глядит в окно
Поверх черепичных крыш и прочего инвентаря,
Понимая, что сверх этого не дано
Ничего, собственно говоря.

Только глаз, которому все равно,
На чем задержаться в пути вперед,
Ибо нет сомнений – разрешено
Все, что он выберет и вберет.

Только ухо, где шелестит отсев
Тех попутных звуков, случайных фраз,
От которых то прячешься, озверев,
То перебираешь их, как припев,
Пересыпаешь, как золотой запас.

Только голос, который им вслед спешит, –
Видно, боится, что не поспеет в срок, –
Вечно начинающий с «Берешит»
Нескончаемый свой урок.

* * *

Птицы спят, а летучие мыши – нет,
Хоть во тьме и тем, и другим темно
И в сознание не проникает свет,
Как в глухое окно.

Птицы спят, а тех пробуждает тьма,
Тоже крылатых, только полет иной –
Грузный, неверный, прерывистый, как тесьма
Над другой стороной

Предрассветной улицы Невиим,
Где под шелест крыльев нетопырей

Воздух остаться пытается недвижим,
Становясь все серей,

Пока разносчик невечерних газет
Дверью не хлопнет, бросив тяжелый тюк,
И сосед бормотнет спросонок, что покою, мол, нет,
Приподнявшись на стук.

* * *

Александр Вернику

Русские поэты в Америке, сплошь евреи.
Пересчитав их слева направо, чтоб уловить скорее
Все различия между тем и этим,
Поймешь, что умрет с отцами и что останется детям.

Меж невообразимых сосен над розовым Мичиганом
С неким старым знакомым, по-хозяйски румяным,
Прогуляться с камерой, в отпускном распорядке,
Присесть в трактире попутном и записать в тетрадке:

«Птицы кричат и здесь, но есть в этом крике что-то
Бережущее душу – то ли тянет с болота
Сыростью, то ли из наших краев – тревогой...».
Да, раскричались птицы, раскричались перед дорогой.

Может, и вправду что-то хотят сообщить оттуда?
Вот и косишься на них, покуда звенит посуда,
Многоэтажный обед заедая грушей.
Слушай это радио. Слушай. Слушай.

* * *

Ты про сад, где метелками цвета
Окружен говорящий фонтан?
Расскажи. Что, не помнишь, где это?
«Где-то там... Где-то там...»

Где-то там. И уже непонятно.
Существует ли это «оно»
И во что там сливаются пятна,
Как в беззвучном кино.

Только стрекот воды однотонный,
Пара лампочек в несколько ватт,
Да хозяин вздремнул за колонной,
Как всегда, смурноват.

И не знаешь – он слышит, не слышит,
Бородою густой заслонен,
Разбирает ли то, что надышит
На стекле промежуток времен.

Но как пальцем зачертишь по стеклам, –
Замаячит Рамалла вдали
В электрическом венчике блеклом,
В несмолкаемом ропоте мокром,
В мелких каплях фонтанной пыли.

* * *

Красный матерчатый конус над вертолетной площадкой
Выпрямляется под восточным ветром,
Но победа над вертикалью, скрашенная последним метром,
Не кажется сладкой,
Даже когда уже вполз на вершину холма,
Потому что выше – небо, его так много,
Такие, можно сказать, бескрайние закрома,
Что глубину прикинув, понимаешь, сколь сама мысль убога.

Но вверх мало кто смотрит. Сподручнее сверху вниз
Исподлобья взглядывать ненароком,
Пока вертолет садится, как бабочка на карниз,
Норовисто вздрагивая камуфлированным боком.

Это он что ни день проходит над головой,
Грохоча, насосавшись с утра керосину,
Прошивая пространство пунктирной канвой,
Время сжимая, как неподатливую резину.

А внутри, наушники нацепив,
Озирая убегающее под брюхо,
Перевирает популярный мотив
Некто, напрочь лишенный слуха.

Мы глядим друг на друга, и каждый видит свое
Сквозь потрясающий воздух, чуть запотевший сбоку,
Будто наводит оптическое ружье,
Целящее в самую подоплеку.

Он знает: внизу ждет машина, и в ней зашторят стекло,
Чтоб полумрак помог припомнить детали
Того, что уже изрек и что сказанным быть могло,
Чтобы все в итоге заплодировали и встали.

Но вот он взлетает снова. Отвесный подъем следя,
Поневоле отметишь нарастание шума,
Что, впрочем, вполне нормально, когда встречают вождя,
Пусть какой отщепенец и отмалчивается угрюмо,

Слыша, как в горле неба клокочет нарастающий лязг винтов,
Как стальные лопасти скребут оболочку
Пространства, сжимающегося в точку,
Куда весь мир вот-вот ввинтиться готов.

* * *

Жизнь пронесется по Яффо на самокате с мотором
Мимо боковых улочек, по которым
Сподручней передвигаться боком
Или же пребывая в обмороке глубоком,
Как большинство здесь живущих и тех, кто еще в дороге,
Кто, не убоявшись ни конца света,
Ни неизбежных потерь в итоге,
Готов платить и за это.

И тогда все они устремятся по Яффо,
Будто массовка, рвущаяся со сцены,
Будто моль, вылетевшая из шкафа,
Где детали изнанки до ужаса откровенны,
То есть сожрана ткань и, по сути, нечем кормиться.
Только брезент моль не берет, и потому пустыня
Переймет цвет брезента, отбрасывая на лица
Отсвет вполне зловещий, какой-то желтый иссиня.

Правда, при чем здесь Яффо? Там всех цветов напитки
Утверждают рост потребления, и груды вафель
Громоздятся, венчаясь багровым объявлением о скидке,
Только пустынных тонов фалафель
Напоминает, где мы на самом деле,
А часы стучат, пугая громкостью звука,
Будто сверху на все большой циферблат надели,
В самый центр его целя из слишком тугого лука.

Михаил Пробатов

СОКРОВИЩЕ

– Деточка, вы так поздно, – сказала старуха. – Я боялась, что вы сегодня совсем не придете. А завтра, представляете себе, меня увозят в Хайфу.

Доктор Блюма безнадежно оглянулась. Кресла не было. С тех пор, как она запретила старухе смотреть телевизор, кресло вместе с телевизором и сиделкой перекочевало в салон. Постоянно оставляет старуху одну. Свинство. Блюме пришлось сесть в ногах у больной, хоть это и против правил лечебной гигиены, которые она, будучи врачом старшего поколения, привыкла строго соблюдать. Ноги гудели. Обычно она отдыхала в кресле у постели больной, сильно уставая за день, а присев боком на край высокой кровати, толком не отдохнешь.

– Много больных, – шумно вздыхая, коротко сказала она.

Ей недавно исполнилось сорок пять, и пошаливало сердце. Старухе было девяносто восемь, и она умирала, хотя сердце работало, как часы. Именно благодаря здоровому сердцу она еще долго будет умирать. Долго и нелегко. Блюма знала о предстоящем переезде, потому что накануне ей звонили из Хайфы, запросили историю болезни старухи, и профессор подробно расспрашивал её об этом случае. Но ей не хотелось лишать старуху удовольствия рассказать новости.

– Шломо, мальчик, внучек мой, – сказала, почти пропела старуха. – Он получил, наконец, работу в такой шикарной конторе, что это невозможно описать. Собирается покупать виллу в Хайфе, на самой горе. Он ждал этого двадцать лет, работал, как проклятый. Бедная Леечка – вы ее не застали в живых, его покойная жена – не дождалась этого часа. Несчастная! Не намного она была старше вас. Болела только все время. И умерла. Вы знаете, – старуха перешла на русский с характерным польским выговором, – Шломо хочет теперь жениться, и эта женщина вчера уже приезжала. Пусть она живет сто лет... Но мне не нравится, что она появилась в такой момент. Где она была раньше?

– Если женщина ищет защитника в такие тяжелые времена, в этом нет ничего плохого, – возразила ей доктор Блюма. – Давайте-ка я вас прослушаю. На той неделе были легкие хрипы.

– Постойте, деточка... Как жаль, что вы не говорите на идише. Совсем отвыкаю от родного языка. Раввин говорит на идише, но редко приходит. Ну хотя бы по-польски... Вырасти в Каменец-Подольске и не говорить по-польски! Все образованные люди там всегда говорили по-польски. А на идише только среди своих.

– Это было очень давно, – сказала доктор Блюма. – У нас в семье говорили только по-русски. Моя бабушка знала идиш и польский. А я так даже по-украински понимаю с трудом.

– Давно, – тихо проговорила старуха. – Правда. Очень давно. Все было давно. Недавно – только эта проклятая постель... хотя вы со мной возитесь уже скоро шесть лет, а ведь я уже была лежащая, когда вы пришли. Я тогда сразу сказала себе: «Бася, это тебе Бог посылает настоящего доктора, чтобы ты жила на свете и дожила до времени, когда твой внук станет большим человеком». Вы знаете, Шломо ездил в Тель-Авив. Его начальство теперь там, а в Хайфе он сам себе будет начальство. Он это заслужил... Что нового от вашего Бориса?

– Ничего, – сказала доктор Блюма. Она помолчала, тяжело дыша. – Ничего, кроме того, что он в Иерусалиме живет с какой-то марокканкой.

– Ой, все мужчины сумасшедшие. Вы такая красавица.

– Красавица. Послушайте, Бася, я похожа на старую корову, – сказала доктор Блюма. – Есть еще хорошая новость. Боря остался должен здесь двадцать пять тысяч шекелей. И платить придется мне.

– Почему вам?

– Потому что я здесь живу... Не в суд же подавать?

Она откинула простыню и стала прослушивать больную. Действительно, начинается бронхит. Ничего удивительного, старуха совершенно неподвижна. До пневмонии рукой подать. Неподходящее время для переезда. А может, все к лучшему? Шломо женится. Новая метла чисто метет. Этот человек всегда нравился Блюме. Этот мужчина. Она шумно вздохнула, представив себе, как выглядит будущая жена важного менеджера серьезной строительной фирмы. Глупости. Не надо было так полнеть. Нечего думать об этом.

– Деточка...

– Бася, дайте слушать.

– Ничего хорошего вы там все равно не услышите. Лучше послушайте, что я вам скажу. И, пожалуйста, не перебивайте. У меня нет денег...

Доктор Блюма сделала протестующий жест.

– Нет денег, а Шломо мне их не даст. Он слишком строгий человек.

Доктор Блюма вздохнула. Этот Шломо как-то раз вызвался помогать ей учить английский. Она почему-то отказалась. Еще неизвестно, чем бы закончились эти уроки. Ну и хорошо. Ей надо воспитывать сына. Старуха продолжала своё.

– Деточка, я вам скажу, что ваши заботы обо мне невозможно оплатить деньгами, даже если бы они были у меня. Вы за мной ходили, как за родной. И я знаю, что мне теперь делать. Посмотрите на полке, где книги. Там такая картонная коробка. Нашли? Дайте её мне.

Вздрагивающими, опухшими пальцами она открыла коробку и стала доставать из неё небольшие яркие керамические фигурки. Она расставляла их перед собой на белой простыне.

– Вы знаете, что это? Я вам скажу. Мой дед был старьевщик в Каменец-Подольске, – она улыбнулась. – Это было в середине прошлого века. Тогда старьевщик был что-то вроде антиквара, всяким торговал. Он был богат. И вот что осталось от этого богатства. Но это очень дорогие вещицы. Если захотите их продать, подумайте, чтоб вас, упаси Бог, не обманули. Это фигурки каких-то немецких крестьян, я знаю, а может, голландских. Но дед их очень ценил. Пока он был жив, они стояли у него на письменном столе. Почти все его деньги ушли на переезд, на покупку жилья и земли, которую потом пришлось бросить. Мы приехали сюда до первой войны, потому что он так решил. И он оказался прав. Когда он узнал, что случилось в Кишиневе... Знаете, У нас в Каменец-Подольске, где мы жили, я и вы, только в разное время – странно, правда? – так там в девятьсот третьем году почти ведь и не громили. Но когда дед узнал про Кишинев, он сказал моему отцу: «Натан, сначала это пройдет, а потом будет еще хуже. Твоим внукам здесь не выжить», – так он сказал. Он был очень образованный человек. В то время еще принято было говорить «просвещенный». Знал Талмуд. Читал Лессинга и Канта по-немецки. Когда мы сюда приехали, я была еще ребенком, но хорошо помню, как хотели эти фигурки продать, чтобы купить дом, который стоил очень дорого, понимаете? Но дед не разрешил.

– Оставьте, Бася, – сказала доктор Блюма. – Что это вы придумали? Как вам не стыдно? Это для ваших внуков.

Старуха долго молчала.

– Послушайте, моих правнуков я никогда не увижу, и вы это знаете лучше меня. А вас я полюбила. Дайте мне вам помочь! Я хочу, чтобы ваш сын учился в хорошей школе. И чтоб вы, наконец, выплатили за квартиру. И чтоб вам не нужен был защитник, чтоб вы просто вышли замуж за порядочного человека. Тогда мне будет легче умирать. И оставьте в покое тонометр. Конечно, давление подскочило после такого разговора, но если вы не станете меня огорчать, оно придет в норму.

Старуха снова замолчала, тяжело переводя дыхание. И доктор Блюма тоже молча вздыхала. Она взяла старуху за белую опухающую руку. Пульс был немного учащенный, но ровный и хорошего наполнения.

С семи вечера доктор Блюма работала на приеме в скорой помощи. Это был неплохой приработок. Но возвращаться домой иногда приходилось в первом часу ночи. Такси ей оплачивалось. Расплатившись, выйдя из машины, она немного постояла прямо под окнами своей квартиры. Горело окно в салоне. Сестра смотрела телевизор. Улочка была пуста, и если б не этот свет из окна, совершенно темно. Почему так мало фонарей? Дурацкий вопрос. Дышалось легко после жаркого дня, однако, становилось холодно. Идти домой не хотелось, но так и простудиться можно. Она с трудом поднялась по лестнице на

второй этаж и стала рыться в сумке в поисках ключей. Она так устала, что найти ключи не смогла и позвонила.

– Кто там? – сестра прилетела в гости из Москвы рано утром. Они даже не успели поговорить.

– Открой, Бэллочка, это Блюма.

– Господи! – испуганно вскрикнула сестра. – Какая Блюма? Здесь нет никакой Блюмы...

– Бэлла, Блюма это я, Рита. Меня здесь зовут Блюма, я же тебе писала.

Дверь открылась.

– Господи, как ты меня напугала!

– Что ты, сестренка, стала так пуглива? Стареешь?

– Ты не представляешь себе, что в Москве творится. Все поставили себе стальные двери, с глазком обязательно. В каждом подъезде домофон.

– Я знаю. Смотрю телевизор, – они прошли на кухню. – Сережка спит? Он занимался? Читал? Или только сидел у компьютера? Поел он?

– Поел кое-как. Плохо он ест у тебя. Слушай, что ж он совсем русский-то забывает? Жалко ведь.

Блюма принялась сердито доставать еду из холодильника.

– А если б не школа, он вообще разучился бы разговаривать. Борька обращал на него внимания не больше, чем на меня. А я всегда на работе. Гулять на улице я ему не разрешаю. Здесь плохой район. Живет, черт знает кто, – она быстро и жадно ела холодные бутерброды с индейкой, запивая колой.

– Зачем тогда вы здесь поселились?

– Ой...Ну, здесь квартиры дешевле. Зато, согласись, мы живем-таки по-человечески. Три комнаты с холлом – это не коммуналка на Кировской.

Сестра Блюмы была старше её на десять лет. Она всегда считалась очень красивой женщиной, и сейчас была еще красива. Но, в отличие от Блюмы, Бэлла с возрастом стала худеть, а с тех пор, как они виделись в последний раз восемь лет назад, совсем исхудала.

– Вид у тебя больной. Расскажи, наконец, что у тебя там.

– Сначала ты.

– Что там рассказывать. Борька сделал подлость. Очередную. Но на этот раз последнюю.

– Сколько раз уж ты так говорила? А кто эта женщина? Она моложе его?

– Ей двадцать пять. К тому же, она марокканка.

– Ну и что? А откуда здесь марокканцы?

– Я тебе писала. Это марокканские евреи. С ними очень трудно.

– Ну да. А с советскими очень легко.

– Это африканцы, совсем другие люди. Здесь, кстати, их полно, поэтому и дешевые квартиры.

– А почему ты одеваешься в такую жару, как... как старая дева?

Блюма невесело усмехнулась.

– Да не старая дева, а старая еврейка. Больные больше доверяют врачу, если этот человек – религиозный. Эдеваюсь, как положено верующей. Бэллочка, я в этой поликлинике работаю не в штате, а по договору. И получаю поэтому почти в два раза меньше, и место могу потерять в любой момент. Подвернется кто-нибудь помоложе... Знаешь, как меня здесь зовут?

– Знаю уже, Блюма.

– Меня все зовут здесь «доктор Блюма», – они засмеялись. – Ты еще не забыла, что я вполне приличный терапевт? Но если я стану носить открытые платья, это нарушит мой имидж пожилой, энергичной, религиозной женщины-врача. Я год работала бесплатно. Представляешь, сколько медиков сюда приехало из России?

– Ты, наверное, хочешь спать?

– Поговорим еще немного. Мне завтра на работу не с утра, а к двум. Выплюсь.

– Ты отпросилась?

– Здесь не отпрашиваются. Просто расписание такое. Слушай, Шимон виделся в Москве с твоим Мишей. Он говорит, что это алкоголик. Ты что, с ума сошла?

– Какой Шимон?

– Семка Дубин.

– Почему вы здесь меняете имена? Это что, обязательно?

– Не обязательно, но так легче. Зачем тебе на старости лет пьяница?

Сестра встала из-за стола и торопливо заходила по кухне, прижимая руки к груди. Её движения были похожи на танец, и походка осталась прежней, она будто перелетала с места на место, как синица. Бэллочка, подумала Блюма, красавица...

– Видишь ли, Рита, – заговорила сестра, – все далеко не так просто. Это писатель, человек с большим будущим. Он был знаком с Булатом Окуджавой, представляешь? И с Ерофеевым. И с Леонидом Губановым.

– Алкоголики.

– Подожди, я тебе что-то покажу, – она вышла и вернулась с газетой. – Пожалуйста, прочти. Это его статья. И на нее были отклики.

Блюма стала читать. Это была «Общая газета». Она читала статью, которая занимала почти целый подвал, а Бэллочка ходила из угла в угол.

– Извини, я не понимаю, о чем тут идет речь.

– Чего тут не понять? Из бюджета города были выделены деньги на ремонт теплотрассы. Их украли. И в целом микрорайоне не было отопления чуть ли не до Нового года, представляешь?

– Представляю, – сказала Блюма, вздыхая. – Потрясающе интересно. И он часто печатает такие опусы? Часто?

– Это не опусы, а публицистика. Кроме того, он пишет прекрасные стихи. Их не печатают, потому что он не входит ни в

какую обойму. Он очень независимый человек. А потом в России сейчас вообще мало кто читает стихи.

– Лучше бы он зарабатывал. Он живет за твой счет.. И пропавает твою пенсию,

– Дура! – закричала Бэллочка. – Это неправда! А твой Борис – бабник. И украл деньги. Ты с ним жила двадцать лет, он сидел на шее у папы, пока тот был жив...

Доктор Блюма заплакала. Она плакала, отвернувшись к окну. И Бэллочка тоже заплакала. Она подошла к сестре и взяла её большие полные руки в свои тонкие. Они плакали, взявшись за руки.

Два месяца спустя Бэллочка стояла посреди огромного зала в аэропорту «Шереметьево 2». Все пассажиры, прилетевшие с ней, уже ушли. Она стояла одна с чемоданами, уныло озираясь. Где же Миша? Какой-то человек в застиранном джинсовом батнике, лохматый, неопрятный, заросший седеющей щетиной, остановился, разглядывая её. Это что еще такое?

– Вы простите... У вас фамилия, случайно, не Прицкер?

– Нет, – тревожно ответила Бэллочка, – но это фамилия моего мужа.

Незнакомец рассмеялся.

– Тьфу ты... твою мать! – радостно сказал он. – Да когда ж вы умудрились прилететь? Мы вас ждем, ждем...

– Самолет пришел минут сорок назад. Я тоже жду. А где же Миша?

– Господи... твою мать! – продолжая улыбаться, сказал незнакомец. – Где ж ему быть? – он указал рукой туда, где у стойки бара, повернувшись к ним спиной, стоял её Миша.

– Мишель! – заорал незнакомец. – Мишель, кончай кирять, она давно прилетела. Завязывай. Меня, между прочим, зовут Лёня, – представился он. – Мишель!

Миша оглянулся. Он был пьян, но не слишком сильно. С ликующим криком он побежал к ней, и охранники проводили его внимательными взглядами.

– Бэлка! Бэллочка моя! Ура! – он подхватил ее на руки. – Мы прослушали, родная, заговорились, понимаешь... здесь объявляют, будто во рту горячая каша, ничего не разберешь. Познакомься, это Лёнька. Золотой парень. Работает в пончиковой, прямо напротив нашего дома. Теперь будем есть пончики бесплатно.

Среди многоцветного стада иномарок не без труда отыскивали старенький рыжий «Москвич». За рулем сидела угрюмая женщина лет сорока.

– Моя супружница, – представил ее Лёня. – Так. Вы садитесь назад и воркуйте. А я рядом с Веркой. А то она машину водит, как слепая. Ну уж, когда выпимши...

От обиды и негодования Бэллочка хотела заплакать, но ей не позволяла гордость. Она молчала. И Миша тоже помалкивал, опасливо косясь на нее. Лёня непрерывно говорил.

– А мы с Веркой тоже евреи. У меня отец был еврей по матери, бабка моя, то есть, еврейка была, померла. А Верка, она вообще... у нее родни еврейской целая дивизия, и где они только не живут, – он стал загибать пальцы, – в Алма-Ате, в Киеве, в Николаеве, в Петербурге, и в Израиле тоже у нее кто-то живет...

– Лёнь, а Лёнь, – сказала Вера.

– А?

– Заткнись, – она оглянулась назад. – Действительно, у меня тетка живет в Израиле. Вы где там были?

– В Ашдоде. У меня там сестра, – сказала Бэллочка.

– А тетка в Бат-Яме живет. Пишет, паршивое место. Климат там какой-то...

– Меня туда возили, но я была только на пляже.

– Сестра ваша устроилась там?

– Слава Богу...

Когда машина остановилась у подъезда, Миша попытался затащить друзей в гости. Он явно не спешил остаться с Бэллочкой наедине.

– Завтра на работу к семи, – мрачно сказала Вера.

Миша с Бэллочкой молча поднялись по лестнице. За дверью мяукал кот.

– Ты хоть кормил его?

– А как же.

На кухне Бэллочка села у стола. Белый с рябыми пятнами кот с громким мяуканьем прыгнул к ней на колени.

– Сразу узнал, – дрогнувшим голосом сказала она.

Миша стал доставать из холодильника маринованную селедку, нарезанную колбасу на блюде, салат в пластмассовой коробке. В заключение на столе появились бутылка «Смирновской» и три бутылки пива «Бавария».

– Мишка, прошу тебя, не надо устраивать ночного бдения с водкой, я ужасно устала. Я же плохо переносу самолет. Давай ложиться. Ну, пожалуйста, милый!

Он взял ее лицо своими горячими сильными ладонями, которые она так любила.

– Бэллочка... Надо же отметить твоё возвращение. Я тут чуть не подох без тебя. Ну, по крайней мере, поесть тебе надо с дороги?

– Слушай, а поесть чего-нибудь нет? Давай сварим картошку.

– Представляешь, я забыл картошку купить. Давай сварим пельмени.

– Поставь чайник. Чай-то есть?

– Есть. Но, кажется, кончился сахар.

Ночью Миша несколько раз вставал и на кухне прикладывался к бутылке, так что к утру она заняла свое место в батарее пустых бутылок за холодильником. Денег в обрез хватало до пенсии. Миша должен был получить около полутора тысяч в «Огоньке», но когда это случится... Неизвестно, как перезаложить серебро, которое томилось в ломбарде уже второй год. Под телефоном лежала внуши-

тельная пачка счетов. Квартплата. Ботинки у Миши совершенно разваливались. Некоторые долги уже начинали гореть.

– Миш, ты что там делаешь? – окликнула Бэллочка мужа, стоя у плиты.

Миша появился на кухне с книгой в руке.

– Нет, ты послушай... послушай, что Костомаров пишет!

– Что такое?

– В 1587 году, после смерти Батория, Федор Иоаннович имел некоторые шансы короноваться в Варшаве королем Речи Посполитой. Ну, там были разные препоны. Денег не хватало на подкуп литовских магнатов. Но...

– Мишенька, ты о чем? Ты звонил в «Огонек»?

– Да не выплатят на этой неделе. Противно клянчить. Ты хоть материал-то мой там прочла?

– Ты просил сварить холодец.

– Да черт с ним, с холодцом. Пойдем к Лёньке поедим. Ей-богу, у них здорово кормят. И ты не смущайся, он же совладелец, вернее, Верка его. Учти, Бэллочка, Лёнька человек совсем не простой, он очень интересный художник. Очень. Очень интересный. Пропадает, конечно. Пьет и фантастически неграмотен... Как помочь ему? Не понимаю.

– Я вот, знаешь, чего не понимаю? Этот Лёня – владелец кафе. А у нас, помимо пенсии, на двоих тысяча рублей и то не каждый месяц. И ты не знаешь, как ему помочь? Знаешь что?

– Что? – с тоской спросил Миша.

– Мне очень трудно.

– Так, так, так... И чего ты требуешь от меня?

Бэллочка заплакала, а Миша нервно курил и барабанил пальцами по столу. Он был возмущен.

– Твои слезы – орудие пытки. Ты добиваешься от меня, чтобы я торговал, как Лёнька, пончиками. И погиб, потому что такое занятие для меня нравственная смерть.

Бэллочка перестала плакать.

– Пойдем, Миша, в комнату. Я тебе что-то покажу.

Она расставляла на столе керамические фигурки. Старик на низкой скамеечке, с трубкой в руке, старуха в круглых очках что-то вяжет, мальчик с пушистым щенком, девушка в пестром чепце и таком же переднике, парень в шляпе с петушиным пером – все в огромных деревянных башмаках. Сто пятьдесят лет тому назад эти фигурки каким-то образом попали откуда-то, может быть, из Амстердама или из Кельна, в польский город Каменец-Подольский, а оттуда в Палестину, а оттуда – в Москву. Двадцатый век на исходе. Белый пятнистый кот прыгнул на стол и, задравши великолепный хвост, прошелся между фигурками иностранцев из далекого прошлого.

– Но как же ты могла это принять? – спросил Миша. – Ведь это огромная ценность. Мы просто не имеем права на такие подарки от твоей сестры. Я так понимаю, что ее дела там далеко не блестящи.

– Когда продали папину квартиру, я ничего не получила. Рита хотела мне помочь. Как только я устраиваюсь на работу, ты начинаешь пить.

– Мне тут одному без тебя очень тоскливо.

– Макароны и картошку ты есть не хочешь.

– Почему? Я могу... – он вдруг вскочил. – Постой. А сколько в Израиле стоит дом?

– Около миллиона долларов.

– Черт возьми! – закричал Миша. – Я был уверен, что мы с тобой как-нибудь выкрутимся.

– Подожди, подожди... Во-первых, это очень хороший дом, вилла на море столько стоит, а раньше было дешевле, а в начале века в Палестине...

– Ерунда, все равно речь идет об огромной сумме. Прежде всего, поедem за границу.

– Действительно, – задумчиво сказала Бэллочка, – если удастся продать это, на неделю в Анталию можно за двести долларов слетать, ну за триста...

– Ты с ума сошла! Мы поедem в Италию или в Париж. Какого черта я в Турции не видал?

– Мишенька, милый, мы еще ничего не продали. Неизвестно, сколько за это заплатят. Мне что-то с трудом верится...

– Пойдем сейчас к Лёнке. Он, хотя бы приблизительно, может оценить. У него полно друзей-коллекционеров.

Лёня сидел за столиком с бутылкой водки.

– Привет! Ребята присаживайтесь, сейчас выпьем. Верка! Миша с супругой прибыли, тащи пончики.

Появилась распаренная Вера с подносом.

– Верочка, а ты что это сегодня за официантку? – спросил Миша.

– Я эту девку выгнала, – злобно сказала Вера. – Она тут свою водку прогоняла. А этот, видишь: с утра выпил – целый день свободен. Ой, горе луковое... Вот, Бэлла, полюбуйся, работник.

Пончики, действительно, были очень вкусные. Миша немедленно проглотил фужер водки и стал выставлять керамику. Вера принесла блюдо с бисквитами и кофе для Бэлочки и для себя. Она присела за столик.

– Та-а-ак, – сказал Лёня. – Тут нужно серьезно подойти. Лохануться – как два пальца... Понимаешь, в Измайлово, на Арбате, такой керамики море. Это может быть и эксклюзив, а вполне может оказаться и туфта.

– Какая ж туфта, когда бабка говорила...

– Мишель, бабка живет в Израиле, а у нас совсем другой расклад. Рынок наш специфический. Отвезти надо в Кусково. На Арбате ребята очень крутые. А в Измайлово ни у кого приличных денег нет, там шушера торгует. Да я сам вас отвезу, а то вас обуют в лапти, как два пальца...

– Ку-уда это ты собрался, пьяный? – сказал Вера. – Сиди на месте. Напился – сиди, не дергайся.

Они гуляли в парке Кусково. Посетили павильоны «Оранжевая», «Эрмитаж», «Итальянский дворик», «Голландский домик». Нужно было найти замдиректора по имени Ирина Николаевна. Ее нигде не было. Она только что была и ушла. Миша задержался у калитки, купил пива и бутербродов. Было очень жарко. Рядом, на дорожке, остановилась группа представительного вида кавказцев, окруживших немолодую, стройную деловую женщину.

– Обсуждать можно, – сказала она. – А вот строить здесь ничего нельзя.

– Если б Шереметьев был живой, он бы обязательно построил здесь хороший ресторан, – сказал один из ее собеседников. – Это просто невозможное дело, чтобы здесь не было ресторана.

– Вы ошибаетесь. Но дело в том, что здесь не Шереметьев хозяин, а Управление по охране памятников.

– Два слова нужно: «Не возражаю» – больше ничего, – сказал кавказец.

– Разве я на сумасшедшую похожа?

Миша подошел к ним и обратился к женщине:

– Ирина Николаевна, мы вам звонили утром по поводу керамики, Вы помните?

– А-а-а! Из Иерусалима? Очень интересно. Мы сейчас пройдем ко мне и там посмотрим.

– Послушай, любезный, – сказал кавказец, – ты что, не видишь, что здесь деловые переговоры?

– Одну минутку, – Ирина Николаевна, нахмурившись, о чем-то думала. – Давайте так, Вахтанг, я сегодня набросаю проект договора, и мы с вами завтра его обсудим.

– Какого договора?

– Приезжайте завтра, – сказала Ирина Николаевна. – Приезжайте, я вам все это в цифрах покажу. После обеда.

– Э-э-э! Подход не деловой... Ну, я подъеду... Эх!

Миша с Бэллочкой прошли в «Итальянский домик», где помещалась дирекция. Там Ирину Николаевну ждали унылые дамы. У каждой на лбу было как бы написано: «Работник бюджетной сферы».

– Ирочка! Ну, расскажите, расскажите! Он соглашается?

– Он торгуется, – сказала Ирина Николаевна. – Я тоже торгуюсь. Он думает, что я дура. Это ему не помидорами торговать. Завтра посмотрим. Показывайте свои сокровища, – обратилась она к Бэллочке.

– Очень романтично. Палестинские сокровища.

Фигурки расставили у нее на столе, и некоторое время она смотрела на них. Взяла каждую в руки и перевернула, рассматривая донышко.

– Никакого клейма. Это какие-то итальянцы, судя по всему.

– Какие итальянцы? – сказал Миша. – Разве вы не видите, что это фламандцы?

– Вот как? А вы откуда знаете?

– Посмотрите на эту шляпу с пером. Сабо. Так одевался Уленшпигель.

– Постойте, Уленшпигель, это какой же век?

– Середина шестнадцатого, если мне не изменяет память, – язвительно сказал Миша.

– Вы что же, хотите сказать, что это шестнадцатый век?

– Я жду, что вы скажете.

Ирина Николаевна стала передавать фигурки по рукам, и бюджетные дамы вертели их, рассматривали, покачивая головами.

– Ну, возможно, это было сделано до войны.

– До какой войны? Старуха с этими фигурками приехала в Палестину в девятьсот шестом, а они были у ее деда еще за долго до ее рождения.

– Допустим даже, что это начало века. Но работа серийная. У нас полно такой керамики.

– Послушайте, – сказал Миша, – дед этой старухи собирался в начале века на эти фигурки купить себе дом в Палестине. Существует же какая-то экспертиза, чтобы точно установить дату?

Ирина Николаевна стала аккуратно заворачивать фигурки в папиросную бумагу и укладывать обратно в пакет.

– Поверьте, такая экспертиза стоит дороже, чем вся ваша керамика. Я вам очень сочувствую. Последние двести лет – понимаете? – производство такой продукции было поставлено на поток. Сколько они стоят? Сколько бы ни стоили, продать их, практически, невозможно. Единственно, я вам посоветую, поезжайте в Измайлово, и там рублей по тридцать, может, по пятьдесят у вас примут. Но вряд ли.

Когда они вышли на жару, Миша сказал:

– Вот теперь я совершенно уверен, что это огромная ценность. Едем на Арбат. Там настоящие коллекционеры, антиквары.

– Знаешь, если мы это продадим по пятьдесят рублей, уже получится шестьсот. Мы могли бы перезаложить серебро в ломбарде.

– Ни за что на свете.

На Арбате в нескольких магазинах им коротко отвечали, что такой товар не нужен. Но вдруг одна девушка за прилавком пригляделась к фигуркам и звонко крикнула:

– Василий Сергеевич! Посмотрите, тут принесли, я что-то не пойму.

Вышел старик, неряшливо одетый, с гривой седых волос, стоящих дыбом. Он был не вполне трезв и курил, стряхивая пепел прямо на пол. Он посмотрел фигурки и велел нести их за ним следом. Привел их в кабинет или, скорее, мастерскую, заваленную мусором, пропахшую растворителем, где на полках и столах было множество глиняных, фарфоровых, керамических безделушек. Один из столов, судя по всему, был письменным, на нем лежали бумаги, рукописи, книги и альбомы. Тут же стояла початая бутылка коньяку.

– Хотите кофе?– спросил старик.

– Ой, спасибо, что вы... – сказала Бэллочка.

– Вас могу угостить рюмочкой коньяку, – обратился старик к Мише. – Я хочу кое-что объяснить. Вы, действительно, принесли любопытную керамику. Я этим делом занимаюсь полвека. Я нисколько не исключаю, что это восемнадцатый век, возможно, начало девятнадцатого. Кроме того, это работа, великолепная в художественном отношении. Но авторство установить невозможно. А время изготовления – почти невозможно, потому что за последние триста лет технология, практически, не изменилась, сырье то же. Вот где этим серьезно могли бы заинтересоваться, так это, как ни странно, в Нидерландах, Бельгии или Германии, там есть настоящие знатоки.

Они выпили с Мишей вместо рюмок по полстакана коньяку.

– Не беспокойтесь, – сказал старик, – коньяку у меня всегда хватает. Пейте кофе.

Бэллочка встала и принялась ходить по комнате, рассматривая диковинки – китайские, японские, африканские, индийские, – насколько она могла судить, здесь были собраны редкости со всего света. Она задумалась. Голоса Миши и старика звучали монотонно. Время от времени какая-то фраза, сказанная громче, доходила до ее сознания и снова терялась в сумбурной путанице слов. Бэллочка остановилась перед большой глиняной собакой, похожей на бульдога, которая сидела и смотрела на нее огромными глазами. Именно эта собака, наверное, охраняла сокровища в андерсеновской сказке про солдата и ведьму. Глаза, как чайные блюдца.

– Мы с вами находимся в эпицентре чудовищной исторической черной дыры, – говорил Миша. – Все, что было создано в течение, как минимум, трех тысячелетий, неотвратимо втягивается в эту дыру, а виной какая-то историческая ошибка, случившаяся, мне кажется, в период, почему-то именуемый эпохой Возрождения, а в действительности это был первый сигнал грядущего развала...

– Вы ошибаетесь! – говорил старик. – Ох, как же вы ошибаетесь, молодой человек. Вы полагаете, что какой-то там Рабле, Лютер, если хотите, Чубайс с Зюгановым могли или хотя бы намеревались как-то подправить историческое и культурное развитие по своему произволу?

Да ничего подобного! История идет совершенно, самостоятельно, а люди заняты устройством своих мелочных делишек. От наших бредней История совершенно не зависит. Куда она идет, вот вопрос...

Они пили коньяк, курили. Было жарко и душно. Время остановилось.

Александр Верник

РЕФЛЕКСИЯ

Г. Беззубову

Страх мой, срам мой стал невелик,
однако и раньше он чукчей был.
Декабрь песком обложил язык,
а он тебя не любил.

Ночью стреляют что эти, что те.
Привычно скучно диктор юлит.
Я раздражен. А в темноте
скалится пес, скулит.

Надо бы действие остановить,
надо бы деток попридержать,
рифмой глагольной на выстрел завывать,
руки разжать.

декабрь 2000

СИОНСКИЕ ВОРОТА

Аркадий Ф. Коган

ОСЛЫ И ЛЮДИ

...Но разум есть не только у ослов. Погонщики разоблачили хитроумного длинноухого.

Иштван Рат-Бег,

«История человеческой глупости»

Так случилось, что Чаки родился в семье рядовых, ничем не примечательных тружеников в качестве осла. Семья была большая, в меру дружная, в меру несчастная, в меру много и тяжело работающая на плодородных холмах благодатной Паннонии. Глава семьи Шандор пахал с восхода до захода солнца, потом отдыхал в корчме за бутылкой-другой иногда доброго старого, но чаще доброго молодого вина, шел домой, терпеливо пережидал причитания вечно беременной или кормящей жены Анны, возлегал с ней и исправно исполнял супружеский долг. Делал он это монотонно и буднично, как привык свершать все, что предписано Всевышним. Столь же монотонно и буднично Анна приносила детей, в основном, мальчиков, но бывало, что и девочек. Дети, если не умирали, росли здоровыми и веселыми, до наступления половой зрелости резвились в свое удовольствие, осваивали, подражая родителям, житейские навыки, овладевали потребными для общения с себе подобными тысячью двадцатью четырема звуковыми сигналами, потом спаривались, обычно законным способом, и жизненный цикл повторялся вновь и вновь. Таким образом, семья Шандора являла собой завидный образец нравственного здоровья.

Примерно то же самое можно было сказать и о вспомогательных членах семьи: корове, которую почему-то звали Мустафа, волу, чьи имена в силу их ограниченной полноценности история не сохранила, лошадей Белой и Серой, а также супружеской пары ослов Земфиры и Геркулеса. Особое положение занимал пес Киркор, шумный и дурковатый, с не по росту развитым апломбом, что вообще свойственно особам, приближенным к главе рода, учреждения или государства. Наличествовало также некоторое число свиней, коз, овец и кроликов, но круговорот их был столь интенсивен, что никто из них именами собственными обзавестись не успевал. Исключение составлял боров Гавриил, но был он ленив, туп и грязен, а потому интерес мог представлять разве что для свиней. О немлекопитающих членах фамилии говорить особо не стоит ввиду их многочисленности и трудноразличимости. Скажем лишь, что по большей части были это птицы отрядов куриных, гусиных и утиных, абсолютно все породистые, а потому похожие до одинако-

вости. Да, был еще кот Цирля, но по причине независимости характера, был он приходящ. Единственной целью его визитов было желание подъестся, а потому и отношение к нему было соответствующее: пришел – и слава Богу, а нет – так и на то воля Божья.

В семье рождению Чаки были рады. Рождение новой твари – это к добру, а осленка – так и вовсе к счастью. Вообще-то настоящее имя осленка было Будуар. Этим нездешним, но красивым словом окрестил малыша Шандор, однако изыск сей никому, кроме хозяина и самого ослика, не понравился, а потому прижилось простецкое прозвище Чаки. И все же осленок запомнил, как впервые обратился к нему Шандор, и с радостью откликался на Будуара, но так хозяин звал его только будучи сильно нетрезв, то есть по праздникам.

Малыша полюбили все и сразу. Мать любила Чаки хотя бы за то уже, что с его рождением ей был увеличен рацион. Папаша Геркулес довольствовался тем, что Чаки отвлек на время внимание Земфиры на себя, что позволило ему выделить время для более тщательного обнюхивания с Белой и, особенно, с Серой. Довольны были и детеныши Шандора и Анны, не достигшие еще половой зрелости. Они могли часами мутузить друг друга за право поиграть с Чаки.

Так осленок рос, согласно установленному порядку, и все шло своим чередом и дальше шло бы по накатанному, если бы в Будуаре внезапно не проснулся Разум. Разум я пишу с большой буквы, поскольку явление это столь необычно и редко, что заслуживает каждый раз особого отмечания.

Случилось это теплой, сентябрьской ночью, когда Чаки стоял в своем стойле, положив мордашку, украшенную огромными и выразительными глазами, из которых левый был печален, а правый окрашен хитростью, на жердь. Стоял он так и привычно принимался к запахам ночи, слитым из аромата полевых трав, недавно скошенного сена, свежего навоза и личных запахов всех членов большой семьи Шандора. Осленок тихонько поводил туда-сюда стройными ушами, пытаясь уловить шорохи, доносившиеся из материнского стойла. Мать жила через перегородку слева, отделили их недавно, и Чаки еще не доставало тепла ее тела. Он прислушался: показалось, что там, за перегородкой, послышался вздох. Чаки тоже вздохнул, но нежность его тихого ржання была грубо перечеркнута храпом, раздавшимся из стойла справа, где обитал отец. Вот тут-то, возможно от неожиданности, Чаки и подумал: «И что она нашла в этом осле?» Сначала ему почудилось, что это говорит кто-то из шандоровых детей. Он затряс головой, отгоняя наваждение, фыркнул, снова прислушался, но ничего снаружи, кроме пения цикад, отдаленного лая собак и привычных звуков хлева, не услышал. Звук шел изнутри, точнее из головы, из междуушья, где до того всегда было тихо. «Нет, в самом деле, что она в нем нашла? Осел, как осел. Труженик. Тупой пахарь. Причем, чем больше он пашет, тем меньше времени у него для всего

остального. Нет, погоди. Что-то уж больно я ранний. Может быть, этого другого и нет вовсе, может быть, мы и родились для размеренной каждодневной работы? Тогда батя прав. Да и кто я такой, чтобы судить об отце?» – Ослик тяжело вздохнул и поднял глаза к небу.

Так Чаки стал первым ослом, увидевшим звезды. Что послужило причиной появления разумного осла, сказать трудно. Однако хочу обратить ваше внимание на то, что дело было в начале двадцатого века, и что совсем неподалеку от стойла ослика, в городе Вена, в это же время профессор Фрейд размышлял над определяющим значением Эдипова комплекса в становлении личности. Что если флюиды профессорской мысли вырвались через форточку из замкнутого объема венской квартиры и рванули на волю, а там подхватил их вольный ветер и понес к холмам Паннонии навстречу ослику Чаки, который по прихоти providения впитал их неким непостижимым образом для осуществления замыслов, нам недоступных? Так ведь бывает в жизни. Редко, но бывает.

Приступы мыследеятельности приключались все чаще и чаще. Болезнь Разумом прогрессировала, то есть делала свое разрушительное дело, и вскоре дошло до того, что Чаки сказал: «На свете нет ничего, о чем стоит говорить. Разве что звездное небо над головой и нравственный закон внутри меня». Хорошо, что его никто не услышал, а то ведь, не ровен час, могли и в плагиате обвинить!

Однако Чаки рос не только интеллектуально, но и физически, и настал день, когда пришла пора расставаться с отчим хлевом. Шандор привычно взнуздal ослика, привязал его к краю телеги, и Чаки вынужден был предаваться горьким размышлениям, семена за повозкой и имея лишь то удовольствие от окрестного пейзажа, которое было доступно боковому зрению, поскольку прямой взгляд на действительность был ограничен толстым задом Серой, запряженной в воз.

Чем дальше уходил Чаки от родной деревни, тем более насыщенное движение гужевого транспорта отмечал он. Через некоторое время плотность потока стала практически предельной, на обочинах вместо домов, похожих на шандорово обиталище, начали появляться строения пообширнее, но менее приспособленные для нормальной жизни. Чаки не понимал, зачем так много места занимают дома и где же место для хлева? Хотя, если предположить, что хлев там, внутри, то это даже здорово. В конце концов, у ослов не меньше прав на жизнь, – и притом хорошую! – чем у людей. «Пора кончать с примитивным антропоцентризмом», – мелькнуло где-то между ушей у Чаки, но тут караван пришел в место, где люди, кони, ослы и иные твари толпились, как куры в курятнике. «Рынок, – понял Чаки. – Сейчас меня будут продавать».

От осознания этого факта ему стало жутко, мерзко, но очень интересно. Еще бы! «Быть самым умным на свете ослом и быть проданным, как пучок укропа. Но с другой стороны, много ли мы знаем о внутреннем мире укропа? Да и как познать высоту, на

которую определила тебя судьба, если не изведать падения на самое дно?»

День уже клонился к обеду, Шандор распродался, но вот только Чаки никак не удавалось сбыть с рук. Покупателей было много, а толку мало. Не нравились они Чаки. Слишком мало давали, да и запах был у них не тот, не порядочный. Ослик давно научился классифицировать людей по запаху, но объяснять это бесполезно, поскольку не обладаем мы нужными словами. Для их формирования необходимо обладать не только ослиными мозгами (мыто с вами, конечно, умней!), но и ослиными ноздрями, а по этой части природа нас, безусловно, обделила.

Итак, покупатели ослику не нравились, а потому, как только кандидат в начальники пытался испытать себя в роли хозяина, Чаки демонстрировал ему весь ассортимент достоинств, от ослиного упрямства до ослиной тупости. Но без четверти двенадцать, когда Шандор уже рвался, как очумелый, в корчму и по этой причине готов был даже приплатить, только бы забрали этого осла, пришел человек, симпатичный уже тем, что одет был странно, не по-деревенски. Человек этот выслушал речь Шандора о пользе осла в хозяйстве до того места, где Шандор объявил цену, достал деньги и молча заплатил ровно половину требуемого. Шандор вздумал было воспротивиться, но покупатель удивленно поднял брови, и Шандор махнул рукой на все и отправился отмечать окончание базарного дня в близлежащую корчму.

Человек, одетый не по-деревенски, заинтересовал Чаки, но оказалось, что дело придется иметь не с ним, а с его помощниками, манерами схожими с Шандором, но еще более грубыми. Однако наибольшее разочарование ослика вызвало то обстоятельство, что на новом месте следовало работать. Идиллические времена забавных игр с шандоровым потомством кончились. Начались трудовые будни. Теперь каждый день приходилось совершать не менее десяти не столько утомительных, сколько нудных подъемов от ручья, что протекал за околицей села, на вершину одного из холмов в окрестностях Паннонхалма, где господин Гашпар, так звали человека, одетого не по-деревенски, должен был воздвигнуть дом в романтическом стиле для некоего господина Мора. Новый образ жизни Чаки не понравился, более того, он счел для себя оскорбительным таскать два огромных бурдюка с водой. И все же делать было нечего – пришлось покориться. Пока. Не верилось маленькому ослику, что будет таскать он на себе бурдюки всю жизнь, не для того рожден – таково было его внутреннее самоощущение. И он начал думать, как изменить положение вещей, как избавиться от булькающей тяжести по бокам.

Думать на этот раз было тяжело, непривычно. Уж больно конкретна была задача. Раньше Чаки никогда не искал выхода из жизненного затруднения. Он мыслил вообще. Объектом размышления чаще всего становились абстракции или вещи, лишь внешне связанные с реальным миром. Да, искать решения поставленных перед собой проблем, пусть даже не нужных в обы-

денной жизни, мучительно, но разве можно сравнить наслаждение этими мучениями с тупой радостью освобождения от ноши на вершине холма?

Однако с какой стороны подойти к проблеме? Для себя Чаки решил, что верная постановка задачи – половина ее решения. Это правило он вывел уже давно, месяца три назад.

Дело было так. Наблюдал Чаки однажды за своим тогдашним хозяином, Шандором, в минуты, когда тот, будучи сильно навеселе, наливал очередной стакан молодого зеленого вина. Неожиданная мысль пришла в голову Чаки. А почему это Шандор из двух абсолютно не различимых бутылок, стоявших на столе, отдал предпочтение левой, если ему, правше, сподручней было ухватить правую? Что за процессы подвигли Шандора к выбору? Объективно говоря, тяготение к дальней бутылке необъяснимо рационально. Можно, правда, предположить, что близость к правой руке не есть аргумент, потому что выбирает-то не рука, а голова, но она как раз находилась в равноудалении от предметов вожделения. По идее, Шандор должен был «зависнуть», так как выбор между двумя равноценными доводами инструментами разума неосуществим. Отсюда следовало, что, так как Шандор выбор все-таки совершил, он есть существо неразумное.

Это выглядело вполне логично. Шандор и его потомство, как тупой механизм по уходу за Чаки... Неплохо. На первый взгляд просто безукоризненно. Ан нет, ведь даже такая простая работа, как уход, тоже требует какого-никакого интеллекта, а уже малейший интеллект обязан выбирать. Но ведь нельзя выбирать между абсолютно равным, потому что любой выбор зиждется на отличиях, а какие же отличия между абсолютно равными? Порочный круг, парадокс какой-то!

Решение пришло к Чаки не сразу. Однажды ночью ослик дремал у себя в стойле, когда некая сила вышвырнула его из сладких сновидений. Он понял! Бог совершил выбор за Шандора! Только Высшее Существо, ведающее дополнительной информацией, могло принять решение. Это только для нас, не знающих даже того, что произойдет завтра, бутылки равнозначны, но не для Него! Он-то ведает будущее, которое, по всей видимости, у каждой бутылки свое.

От радости открытия Чаки забил копытами и заржал. Мать за перегородкой забеспокоилась, но ослик заботливо фыркнул специальным фырком, принятым у ослов для успокоения друг друга, и мать затихла.

Упоение окончилось столь же внезапно, как и началось. Если Богу ведомо все, то мир для него уже завершен, кончился. Но тогда и Бог кончился, потому что, если нет мира, то нет и места для Бога!

И снова неделя творческих мучений. И вновь, как удар молнии, озарение. «Да пошевели же задачу, осел! – подумал Чаки. Динамика! Вот ответ. Как может быть в реальном мире хоть что-то постоянным, если время меняется, к тому же, не в лучшую сторону?»

Ясно же, что голова Шандора не находилась в состоянии покоя, она не могла находиться в нем, хотя бы потому, что после той дозы вина, которую влил в себя Шандор, ей положено болеть. Боль заставляла человека встряхивать головой, от встряхиваний голова шла кругом, от хождения кругом возникло головокружение, головокружение вызвало компенсирующее противовращение, а оно исключает сколь-нибудь длительное положение равновесия между двумя бутылками. Таким образом, баланс между двумя соблазнами был шатким, не мог быть устойчивым во времени.

Когда чуть позже ослик проанализировал процесс решения, он понял, что трудность действительно заключалась в постановке задачи. Вначале Чаки решал проблему статично, оттого-то и возник логический тупик. Стоило же чуть-чуть подвигать условия, и все стало на свои места.

Ослик очень гордился этим решением. Он даже придумал для нее специальное название: «Будуаров Шандор». Не раз он впоследствии возвращался к ней, смаковал ее перипетии. Особенно его порадовало соображение, что и в статическом варианте задачи есть немало интересного. Например: а может быть, правое и левое неравноправны в этом мире? Или вот еще: а что, если Шандор, как правша, тянулся к левой бутылке на основании всемирного принципа дополнения, согласно которому левое тянется к правому, и наоборот? Кстати, о наоборот. Не исключено, что Шандор скрытый левша, всю жизнь страдающий из-за неправильного воспитания в «правоориентированном» мире, а потому инстинктивно тянувшийся ко всему левому?

Однако «Будуаров Шандор» – это прошлое. В настоящем же пара хлюпающих не в такт бурдюков, каменистая тропинка и безрадостный вид сзади на бредущего впереди. Пора было что-то делать.

Перво-наперво Чаки начал наблюдения. И вот что он заметил.

Караван ослов, состоявший из двадцати трех, как посчитал Чаки, особей, обслуживался всего двумя работниками. Во время перехода один из них возглавлял караван, а другой замыкал шествие. Внизу оба работали вместе, набирая воду в бурдюки. На вершине холма они переправляли содержимое емкостей в огромный чан. Эта унылая круговерть повторялась в течение всего светового дня раз десять-двенадцать.

Ночью ослик тщательно обдумал все и составил схему действий. В ее основу легли следующие умозаключения:

1) работники вряд ли способны считать не только до двадцати трех, но и до чисел гораздо меньших;

2) общее выражение лиц погонщиков свидетельствовало о том, что распознать двух ослов они не могут ни по окрасу (Чаки заметил, что часов с десяти зрачки погонщиков перестают реагировать на солнечный свет), ни по обонятельному признаку – собственный их запах заглушал не только тонкий аромат, источаемый ослиными метками, но и вообще все, что отдавало живым.

Наутро Чаки перешел к действиям. Первое испытание он назначил на четвертую ходку, то есть примерно на половину одиннадцатого, когда лучи солнца основательно прогревали выпитое погонщиками из фляг. План, как и все гениальное, был прост.

Чаки пристроился в середину, чуть ближе к концу, и когда примерно треть каравана стояла в стороне, переминаясь под грузом наполненных бурдюков, Чаки, как бы невзначай, пощипывая травку, стал мигрировать в сторону уже груженных товарищей. Как он и предполагал, маневр удался. Работники ничего не заметили и тупо погнали караван к вершине холма. Возле чана в момент разгрузки Чаки повторил операцию, но в обратном порядке. И на этот раз все прошло без сучка и задоринки. И с тех пор весь цикл повторялся множество раз, изо дня в день.

И все же Чаки не был до конца удовлетворен: ему быстро наскучило ходить строем, гортанные крики погонщиков мешали сосредоточиться, общество ослов тяготило полным безразличием ко всему окружающему. Да, не только погонщики, но и товарищи Чаки не заметили его хитрости. Это безразличие, впрочем, имело приятную сторону, поскольку опыт общения с себе подобными говорил Чаки, что на понимание рассчитывать не стоит. Однажды он уже попробовал сказать годовалой палевой ослице, что отражение звезд в ее глазах прекрасней россыпи синеватых веснушек на негритянском лице ночи, но в ответ услышал: «Чаво, чаво? Знаем мы вас, сперва про звезды, а опосля слова от вас ласкового не добьешься. Спасибо мамаше, рассказала чаво вам, ослам, от нашей сестры надобно». Чаки промямлил, было, еще что-то о копытцах, которые-де столь остры, что сравниться с ними может только ее же ум... Завершить комплимент Чаки не успел, потому что прекрасная ослица повернулась к нему вполне оформившимся, с точки зрения эстетики, задом и чуть было не въехала осленку по лицу теми самыми недовоспетыми копытцами.

Осленок был в шоке. Он долго недоумевал, как в столь прекрасном теле может обитать столь грубое существо. Только дней через десять он сказал себе: «Дай Бог, чтобы в здоровом теле был здоровый дух», — и на этом успокоился. Этот эпизод многому научил Чаки. В частности, он понял, что не стоит смешивать жизнь биологическую с жизнью духа. Например, не следует искать друзей по признаку красоты, силы или быстроты, а лишь среди равных себе по качествам внутренним, трудно различимым внешне. Может быть, поэтому у ослика не было пока ни друга, ни подруги.

Кроме всего прочего, Чаки очень тяготился монотонностью своего бытия. Да, конечно, теперь, когда он наловчился использовать невнимательность погонщиков и ослов, физически стало легче, но заданность маршрута угнетала. Не может разумное существо долго терпеть безысходность бытия! А потому, когда судьба предоставила Чаки шанс, он не преминул воспользоваться им.

Однажды, уже ближе к осени, ослик заметил, что на стройплощадке происходит нечто необычное. У Чаки боковое зрение было развито гораздо лучше, чем у его смиренных сотоварищей, а потому он уже издали рассмотрел группу людей, оживленно беседующих неподалеку от чана, в который караван опорожнял бурдюки. Когда среди них ослик узнал того самого человека, одетого не по-деревенски, то сразу понял – это решающий момент.

...Господин управляющий был сегодня в хорошем расположении духа. Тому было множество причин, но ни одна из них не представляет ни малейшего интереса для нашего повествования. Важно только, что настроение господина управляющего было столь великолепным, что он, даже распекая десятников, с трудом сдерживал улыбку. Когда же один из ослов в шедшем к чану караване вдруг заржал, подпрыгнул на месте и исполнил что-то вроде джиги, управляющий не выдержал и расхохотался. Десятники, не видя причин для смеха, понимающе переглянулись, и управляющий, заметив это, несколько смутился:

– Экий проказник, этот ослик, – как бы оправдываясь, пояснил он.

Но пояснение все равно осталось непонятым, потому что десятники стояли спиной к каравану. Управляющий продолжил совещание, но глазами следил за осликом, привлечшим его внимание. Похоже, что и ослик следил за управляющим. Во всяком случае, длинноухий посмотрел пристально на управляющего, обнажил длинные, желтоватые зубы в подобии улыбки и, повиливая кисточкой на конце хвоста, перешел из группы еще неразгруженных животных к собратьям уже освободившимся от ноши и мирно пощипывающим колючки на обочине. Там этот хитрован еще раз оглянулся и, встретившись глазами с управляющим, еще раз улыбнулся.

– Саботаж! – вырвалось у управляющего, и десятники не на шутку испугались, подумав, что управляющий сейчас выведет кого-нибудь из них на чистую воду. Но и на этот раз обошлось.

Караван направился вниз, и когда достиг места водозабора, настал самый волнующий для Чаки миг: продолжает ли управляющий наблюдать за ним, заметит ли издали маневр?

Заметил. Это стало ясно, правда, лишь через день.

Вся многовековая история использования ослов в качестве вьючных животных не знала такого. За блистательными перемещениями Чаки приехал наблюдать сам господин Мор, для которого воздвигалась, как вы, должно быть, помните, усадьба. Судя по всему, господин Мор был человек в свете известный, поскольку вскоре на необыкновенного осла начали съезжаться смотреть дамы и сопровождающие их кавалеры. Дамы, подумалось Чаки, должно быть, служат где-то, потому что одеты они были на удивление однообразно. Как правило, они были обряжены в светлые платья до земли, в одной руке держали нечто, похожее на маленький бурдючок, а в другой – тоже светлый, в тон платью, переносной навесик. Со словами «ри-

дикуль», «зонтик» и прочими галантерейными понятиями ослик еще не был знаком, как, впрочем, и с рядом других специфических явлений человеческого общества. Мужчины все же смотрелись разнообразней. Многоцветье мундиров перемежалось пиджачными парами, некоторые, в основном, пожилые особи, рядились в особые пиджаки с длинными, как у павлинов, но не столь пестрыми, хвостами. Функциональное назначение этих одежд было тоже не совсем понятно, поэтому ослик предположил, что это как-то связано с брачными играми людей в городских условиях. В сельской-то местности все бывало намного проще, что Чаки не раз наблюдал еще в шандоров период своей жизни, да и обитатели Паннонхалма давали немало примеров спаривания на свежем воздухе. Чаки сделал вывод, что, чем ярче мужской наряд, тем самец интереснее для человеческой самки, а пиджак с длинным хвостом – это что-то вроде специального знака, что мужчина уже ни на что не претендует. В общем, у Чаки складывалось впечатление, что половая жизнь в городе изобилует условностями.

Поток гостей не иссякал. В Вене и Будапеште, не говоря уже о Зальцбурге, Инсбруке, Брно, Братиславе, Любляне и прочих провинциальных городишках стало просто неприлично не съездить в Паннонхалм. Говорят, что даже некоторые (далеко не последние!) особы императорской фамилии почтили своим присутствием, правда, инкогнито, эту, в недалеком прошлом, глухомань.

Естественно, что для гостей были сооружены специальные трибуны первого, второго и третьего классов, посещение которых стоило весьма немало. Скажем лишь, что лучшие места первого класса по цене были сопоставимы с билетами в ложи Императорской оперы в дни премьерных гастролей заезжих звезд. Естественно, что доходы от лени одного талантливого ослика в немалой степени покрывали расходы на строительство.

Итак, отношения с людьми складывались у Чаки благополучно. Чего нельзя сказать о взаимоотношениях с себе подобными. Стаду Чаки не нравился. Сперва просто не нравился, без особых на то причин. Потом, когда, так думали труженики-ослы, караван начал привлекать внимание общества, они заметили, наконец, что Чаки сачкует. В результате, на ослином собрании в хлеву возник скандал. Вожак стада мрачно сказал:

– Значит так, чокнутый. Ты полагаешь, как я погляжу, что самый умный? Мы, значит, таскай, а ты бочком-бочком? Это ты этих идиотов погонщиков можешь так накалывать, а нас – нет, врешь.

– Ребята, поймите, я не выучный...

– Дурак ты! – перебил осленка старейший осел. – Неужели ты не видишь, что мы таскаем бурдюки так хорошо, как никакие ослы допрежь? На нас съезжаются смотреть со всего мира! Нам увеличено содержание!

– И мы можем его потерять из-за такого осла, как ты! – заорал вожак молодежной части стада.

– Да ребята, я действительно не выючный...

– А какой ты? – прищурив глаз, вступила в беседу любимая подруга Вожака, – Холостой, незаряженный? – Табун заржал. – Значит, как подбивать копыта к Палевой, это как все, а как таскать – не как все? – Шум в табуне нарастал. Самцы начали наступать на Чаки, но тут прибежали пастухи и стали налево и направо раздавать удары палками, при этом почему-то Чаки эти удары не доставались. Более того, его увели в отдельное стойло, и ослы видели, что в его ясли насыпают овес, как лучшим жеребцам. Если бы дать им волю, судьба Чаки была бы предreshена, но стаду пришлось ограничиться злобными замечаниями. Не было дня, чтобы Чаки не слышал: «Коллаборационист! Продажная шкура! Нечестивый осел! Мы рождены таскать, а не ляссы точить!» Услышав такое, Чаки не сдержался: «А я рожден думать!» – что опять привело к потасовке, которая вновь была прекращена лишь усилиями пастухов.

Жизнь Чаки, внешне выглядевшая благополучной, на самом деле стала сущим адом. И все же, он с упорством, свойственным ему от рождения, не хотел становиться рядовым ослом. Такова судьба гения!

Он, принесший всему стаду невиданное доселе благосостояние, не был не то что почитаем, но более того – он был презираем. Изгой, обвиняемый стадом в развращении молодежи, в отказе от старинной ослиной морали, он был бы обречен испить горькую чашу цикуты, если бы ему повезло меньше и он родился бы в благословенной Эллад в благородном обличье эллина. Но судьба была милостива к Чаки.

Однако все имеет конец, даже строительство загородного дома. Усадьба господина Мора не стала исключением. С завершением строительства исчерпала себя и публичная слава маленького Чаки, нареченного Будуаром, о чем уже никто, кроме него самого, не помнил. *Sic transit gloria mundi*.

P.S. И начинается нормальная счастливая жизнь. На сдаче виллы господин Мор был рассеян. Приказчику, руководившему строительством, как некогда десятникам, стало не по себе: неужели господин Мор неудовлетворен чем-то? А может быть, он прознал каким-то образом о тех маленьких хитростях, которые всегда сопутствуют большому делу? Каждому ведь свое: десятнику – десятниково, приказчику – приказчиково.

Даже когда показ был завершен, когда позади остались и гостиные, и столовые, и спальни, и библиотека, господин Мор оставался хмур и невесел. Все пояснения были сделаны, и воцарилась напряженная, неловкая тишина. Не прерывая ее, хозяин нового дома развернулся и вышел в сад, прошел, сопровождаемый ответственными строителями и управляющим, по главной аллее и остановился подле беседки, откуда открывался прекрасный вид на долину, ручей и луга. Постоял так несколько минут и, не поворачивая головы, спросил:

– А что наш ослик?

Управляющему стало легче. Не без легкой внутренней насмешки, но внешне вполне подобострастно, как и подобает говорить с хозяином, ответил сразу и без запинки:

– Полагаю устроить аукцион. Ослик знатный, дадут как за породистого скакуна.

Господин Мор помолчал еще немного, затем повернулся к управляющему:

– Такой осел и нам пригодится.

Пристально взглянул в преданные глаза приказчика и добавил с усмешкой:

– Мы и так немало с вами на нем заработали, не правда ли?

– Так точно-с, – поспешил согласиться строитель. «Этот господин Мор слывет интеллектуалом. Поди знай, что у него на уме, может, и знает чего».

С тех пор, как ослик поселился в усадьбе, господин Мор впервые за многие годы лишился тоски одиночества, сохранив все преимущества этого положения. Общение с Чаки было столь приятным, что позволило отказаться от многого, что было ранее необходимо в силу непреодолимой потребности даже выдающегося человека видеть существа, именуемые разумными. Особое наслаждение доставляло совместное с Чаки чтение. Дружья, а господина Мора и Чаки иначе теперь назвать и нельзя было, любили уединяться в беседке. Там хозяин усадьбы усаживался в глубокое кожаное кресло с искусно инкрустированными подлокотниками, а ослик располагался на некоем подобии кушетки, изготовленном специально для него, подкладывал под щеку переднюю лапку, благо конструкция кушетки позволяла это сделать, и изготавливался слушать. Господин Мор читал вслух что-нибудь, обычно из философов, и они обсуждали прочитанное. Чаки ржал в местах, которые считал смешными, тряс ушами, если был несогласен, совсем как человек закатывал глаза от восторга тогда, когда мысль была особенно хороша. Господин Мор обратил внимание, что в большинстве случаев философские вкусы их совпадают, хотя литературные пристрастия несколько отличны. Если Чаки нравились более резкие замечания, господин Мор тяготел все же к классическим формам выражения. Но это обстоятельство никак не мешало их дружбе. Скорее, наоборот, различия в деталях лишь подчеркивают сходство в главном.

Так, в непрестанном умственном напряжении текли годы. Дружья за своими занятиями не заметили первой мировой войны и крушения Австро-Венгерской империи и благополучно не дожили до второй мировой. Надо ли говорить, что, прожив счастливо, умерли они в один день?

Рав Ицхак Зильбер

«ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО Я СТАЛ РАССКАЗЫВАТЬ...»

Журнальный вариант

Книга, которую мы представляем читателям ИЖ, носит все формальные признаки мемуаров. Пока, в рабочем варианте, она называется «Воспоминания».

Тем не менее, к ее написанию автора побудило не желание пережить в памяти прошлое, не потребность осознать и переосознать события жизни, расставить акценты и подвести итог. Так что это вряд ли мемуары, да и кто, собственно, определит, что такое мемуары на самом деле? Не можем и утверждать, что это некий другой жанр – автор книги не литератор, и, в принципе, любовь к слову, как к таковому, вне системы его ценностей.

«Воспоминания» содержат яркий исторический материал, но его «эффективность» – явление сопутствующее. Автор не имел целью составить исторический документ, хотя и сказал: «Не запишем – согрешим».

Причины, по которым рав Ицхак Зильбер взялся за создание книги, цели, которые он себе при этом ставил, лежат в другой области, и становятся понятными из самого текста. Мы руководствовались простым соображением – помочь книге дойти до читателя.

Идея книги возникла несколько лет назад. В течение года на исходе каждой субботы велась запись устных рассказов рава Ицхака. Затем, начиная с «казанского периода», появились вставки: сказали свое слово живые очевидцы. Еще какое-то время информация уточнялась, дополнялась, обрабатывалась...

Виктория Кульвянская

Предисловие

Я никогда не собирался писать воспоминания. Считал, что это некрасиво, – самому себя расписывать. Но в частных разговорах и в лекциях случалось вспоминать людей и события, которые, как мне казалось, могли многому научить. А собеседники и слушатели убеждали меня, что описываемые происшествия и судьбы производят глубокое впечатление и жаль, если они не станут общим достоянием. И, в конце концов, я уверился в том, что это действительно важно.

А как получилось, что я стал рассказывать? В семьдесят втором году я приехал в Израиль и в том же году мне и еще двум репатриантам «из России» предложили поехать в Америку для участия в «динере» – благотворительном обеде, где собирали деньги для религиозного обра-

зования в Израиле. Наше присутствие должно было показать, что религиозные школы необходимо поддержать и ради детей новых репатриантов, которых будет становиться все больше. Я согласился. В Америке рав Пинхас Тайц (мой двоюродный брат) спросил: «Хочешь поговорить с одним из умнейших людей в мире?» – и привел меня к раву Ицхаку Гутнеру, благословенна память праведника.

Рав Ицхак Гутнер – один из крупнейших еврейских авторитетов. Среди его учеников и живущий сейчас в Израиле рав Моше Шапиро, глубочайший знаток Талмуда и еврейского мировоззрения.

Я зашел к раву Гутнеру на десять минут. А пробыл, наверно, больше получаса. Эта встреча многое изменила в моей жизни и в моем поведении.

Рав Гутнер интересовался, как же я растил и воспитывал своих детей религиозными евреями в Советском Союзе. Я стал рассказывать, но много говорить боялся. Хорошо ли это, думал я, сидеть в гостях у великого человека и болтать о себе? Я подумал: наверно, лишнее говорю, и извинился, – простите, меня, ребе, что много говорю. А он воскликнул: «Поверьте мне – если бы я не стыдился, я бы заплакал. Рассказывайте, рассказывайте и рассказывайте всем!»

С тех пор я начал рассказывать. Если бы не слова рава, я бы никогда ничего не рассказывал. Раньше я молчал. Даже дома не знали подробностей, например, про лагерь. Когда я вернулся из Америки и жена меня услышала, она удивилась: «Что это ты начал всё рассказывать?» А это рав Гутнер мне сказал: «Рассказывайте!» И вижу, он был прав.

Что сохраняется в нашей памяти? Какие вещи всплывают в ней, когда начинаешь вспоминать? Не знаю. Я человек уже не молодой, родился в Казани в 1917 году. И первое, что вспоминается из детства, – поступок, который мог бы привести к большой беде, но, к счастью, не имел последствий.

Родители были моими первыми и единственными учителями и учили со мной Тору. Я был еще совсем мал, когда прочел, что между нами, евреями, и Б-гом существует союз. Стих, где Аврааму является Б-г и говорит: «И Я установлю Мой союз между Мною и между тобой и между твоим потомством после тебя в их поколениях союзом вечным» (Берешит, 17:7) – меня поразил. Я спросил, что это значит, и родители объяснили, что единственный народ, который не оставит веру в единого Б-га, – это евреи. Дальше сказано: «И Я дам тебе и твоему потомству после тебя землю проживания твоего, всю землю Кнаана во владение вечное» (17:8).

– Значит ли это, что я когда-нибудь буду жить в Эрец-Исраэль? – спросил я.

Тогда, в двадцатые годы, это казалось немыслимым! Но родители отвечали мне: «Будешь!» – и я решил действовать. Если у родителей есть причины, по которым они медлят, то у меня их нет, и я, получив от Б-га такое обещание, тянуть не собираюсь.

Выяснив у прохожих, где находится комиссариат иностранных дел, я отправился туда и спросил главного. Подошел к нему и говорю:

– Разрешите мне выехать к бабушке в Литву, в город Рагува Паневежской области. Фамилия – Шапиро.

– Зачем тебе в Литву, мальчик?

Я простодушно отвечал:

– Мне нужно будет ехать в Палестину, а из России туда не выпускают. Поэтому я хочу поехать в Литву, а оттуда – в Палестину.

– Да? Любопытно! Мальчик, а в какой школе ты учишься? Кто твои папа и мама? За такое воспитание сажать надо!

Не помню, как я убежал оттуда. Только через много лет я понял, какой опасности подверг отца и мать. Лишь чудом можно объяснить, что их не арестовали. И хочу здесь признать свою вину. Но я был мал и наивен, мне было восемь лет. Родителям, благословенна их память, я так никогда об этом случае и не рассказал.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛЮЦИН

Прадеды

Мой прапрадед со стороны отца – раби Довид Циони – жил двести лет назад. В последние годы жизни он был раввином города Люцин (так до семнадцатого года назывался латышский город Лудза).

После раби Довида Циони раввином города в течение почти полувека был его сын, реб Нафтоли, мой прадед, упоминаемый в «Истории евреев в Курляндии» (1908 г., сост. рав Л. Б. Авчинский).

Рассказ кантониста

Один из старых кантонистов рассказал о своей встрече с равом Нафтоли («Дер идишер штрал», «Еврейский луч», 1995, № 1127).

«Мне было девять лет, когда меня отдали в солдаты. Мама была вдова, я был у нее единственный сын. Отец умер еще до моего рождения, и мне дали его имя. Как единственный сын, я по закону призыву не подлежал. Но закон пишут для бедных. Какой-то богач, родственник то ли отца, то ли матери, дал начальникам денег, оформил меня как своего сына, и меня взяли вместо его детей. То время так и осталось для меня страшным сном, который не хочется вспоминать. Я был мал и совсем не понимал, что происходит. Меня и еще десять таких же несчастных детей заперли в какой-то комнате. Солдаты курили, бранились. Ко всем детям приходили отец, мать, родные, целовали их. Ко мне никто не приходил. Когда входила какая-нибудь женщина с грустным лицом, я вскакивал, думал – мама. Но всякий раз ошибался. Мама не пришла. Это меня очень тревожило. С каждым днем я все больше сердился, ни с кем не разговаривал, никому не отвечал. Я был зол на всех. Но что я мог сделать? Помню, какая-то женщина хотела меня пожалеть, погладила по голове, а я, как злая собачонка, укусил ее руку. В последний день, когда нас должны были отправить в город, пришел еврей из моего местечка Пятровка. Он дал

мне не то двадцать, не то тридцать копеек, какой-то шарфик и старые заплатанные сапоги:

– Это тебе твоя мама послала.

– А где мама? – спрашиваю, отталкивая вещи. Мне было стыдно перед другими детьми: ко всем приходят, а ко мне – нет.

– Твоя мама? Она спит, она спит, твоя мама. Понимаешь, мой мальчик, она отдыхает, она спит, твоя мама!

Он замолчал, вышел и убежал.

Женщина, которая издали видела эту сцену, сказала:

– Она спит, бедная.

И слезы полились у нее из глаз.

Больше я свой город не видел до нынешнего дня. Вспоминая потом, позднее, я понял, что мама, видимо, умерла в ту же неделю, что меня забрали. Но тогда я не понимал: «Нашла время спать! Все мамы не спят, а она спит!»

Пять недель мы были в дороге. В каждом городе останавливались на день, на два: собирали детей. Всем детям было от двенадцати до шестнадцати лет. На шестую неделю мы приехали в Люцин, большой торговый город, с ярмарками. Тогда еще не было железных дорог, а была большая проезжая дорога из Петербурга в Варшаву, она называлась Екатерининский тракт и проходила через Люцин. Там был сборный пункт, куда собирали детей из всех местечек, распределяли по отрядам и отправляли дальше.

Я все это помню как дурной сон. Мне было холодно, мерзли ноги, дядьки кричали, ругались, смеялись над нами и гнали, гнали. Когда нас ввели в просторную казарму, мы удивились: нас там встретили пять-шесть евреев. Среди них выделялся красивый чернобородый еврей с глубокими карими глазами, с необыкновенно выразительным взглядом. Так, наверно, выглядит добрый ангел, который приходит утишать боль. В его глазах было столько сочувствия и столько любви, такая удивительная доброта! Я был маленький, усталый и замерзший. Его глаза притягивали, приковывали наше внимание. Мы вдруг все замолчали и уставились на этого еврея «с глазами».

Он сказал: «Шалом алейхем вам, родные!» У него был спокойный голос, и сердце стало оттаивать. Как по команде, мы закричали: «Алейхем шалом, ребе!» Но мы не знали, кто он. Это был молодой человек лет двадцати восьми – тридцати, высокий, широкоплечий. Каждому он подал руку, для каждого у него нашлось доброе слово. И я подошел. У меня на сердце было тяжело.

Остальные хоть виделись с папой-мамой, а я-то не видел маму. Они плакали, а я не плакал. С той минуты, как меня забрали от мамы, ни разу не заплакал. Я был злой, как забитый зверек. Когда меня били, я молчал, когда ко мне обращались, – не отвечал. Но когда я увидел этого еврея с такими глазами, во мне что-то стало пробуждаться, и я заплакался. Он мне говорил: «Родной ты мой, сколько тебе лет, бедный мой мальчик?» Я плачу и говорю: «Мама не пришла ко мне прощаться». Я плакал и плакал, чувствовал, что сердце сейчас разорвется. Его теплые руки меня гладили. Мы сели на какое-то бревно во дворе, он меня гладил и говорил: «Плачь, плачь, одинокое дитя, сирота...»

Мне казалось, что мама меня гладит. Когда я перестал плакать и успокоился, то, как вор, украдкой огляделся вокруг. Мне было стыдно. Но никто не смеялся. Те евреи, что были вместе с ребе, вытирали глаза. Несколько старых солдат с нашивками стояли нахмуренные, а толстый усатый фельдфебель стер слезу с глаз.

Пока ребе говорил с нами, двое евреев раздавали детям булки, конфеты, а другие угощали дядек водкой. Ждали воинского начальника. Когда он пришел, двое из этих евреев, знавшие русский, заговорили с ним и упрасивали о чем-то. Потом начальник велел записать наши имена, и нас выпустили с этими людьми. Они выхлопотали, чтобы то время, пока партия стоит в Люцине, мы находились у евреев.

Нас отвели в синагогу. Там уже ждали мужчины и женщины, было полно людей. Евреи разобрали детей. Рав очень внимательно смотрел, кто берет, – не каждому он доверял ребенка. Всех детей разобрали, я остался один... И мама не пришла, и здесь меня все забыли. Сиджу одиноко и вдруг чувствую теплую руку: «Идем, мой мальчик». Рав Нафтоли взял меня к себе, потому никому и не предлагал. Каждое утро и вечер мы должны были приходить в казарму отметиться. Рав Нафтоли приходил туда на час, а то и больше, и садился вместе с нами на нары в казарме. Если было сухо и светило солнце, он усаживался во дворе на бревно, а мы окружали его и, глядя ему в рот, слушали его добрые слова и удивительно красивые истории. Он много рассказывал нам о евреях, которых мучили, чтобы они изменили своей вере, и которые устояли. Рассказывал про раби Акиву, Хананью, Мишаэля, Азарью, рассказывал об инквизиции и крестовых походах, – но больше всего он любил возвращаться к рассказу о праведнике Йосефе. Кто не знает истории Йосефа-цадика? Но нужно было слышать, как он ее рассказывал. Йосефа ведь продали собственные братья. Благодаря способностям, уму и честности он сумел достичь высокого положения, но был разлучен с родными, со своим народом, с родителями, братьями. И вот пришло к нему трудное испытание (с женой Потифара). Он же был обижен, его ненавидели и выгнали собственные братья! Но в час испытания он видит перед собой лицо Яакова и знает, что Яаков плачет и грустит по нему. Разве Яаков виноват в чем-нибудь? Виноваты братья, но не Яаков!

– ...И пусть перед вашими глазами всегда стоит лицо Яакова, – закончил раби рассказ.

Через многие годы я понял, почему наш ребе так часто вспоминал Йосефа. Рав Нафтоли был умный еврей! Ведь Йосеф обижен – его предали свои же, евреи. Он мог бы озлобиться на евреев и «креститься». Но Яаков-то не виноват!

Мы все слушали его, ловя каждое слово. Он так хорошо, любя, рассказывал, он говорил слова, доходящие до детского сердца. У него у самого сердце было чистое, как у ребенка. И он сделал наши сердца мягкими, и мозг заработал по-другому...

Шло время, пришли бумаги, кого куда посылать.

За эти четыре недели мы много узнали. И наши сердца привязались к нашему народу, и мы научились прощать. Реб Нафтоли своими словами излечил нас от опасной болезни – ненависти. Каждый из нас питал ненависть к кому-нибудь из представителей еврейских властей,

каждый мог указать на человека, продавшего его. Реб Нафтоли научил нас прощению. Какая черная эпоха была! Так богатые относились к своим бедным... Пусть милосердный Б-г простит им, если только такое можно простить. Что было бы, не будь на свете таких людей, как этот рав и те, кто с ним? Мне было хорошо в его доме. Я совсем забыл, где я, что я... Жена его была для меня как мать. Но больше всего значил для меня рав. Я не знаю, чем я ему понравился, – были и другие дети.

И вот наступил ужасный, горький день. В последнюю ночь нас не отпустили по домам, где мы жили, оставили в казарме. Утром забили барабаны, затрубили трубы. У нас руки дрожат от холода, зубы стучат, нам страшно. Кончились золотые дни. Что нас ждет? Мысли одна тяжелей другой. «Придет ли наш рав сегодня?» – об этом думал каждый из нас. Нам не верилось, что он придет, – ведь едва светает. Мы уже стоим с сумками на плечах, заспанные, дрожащие... и вдруг поднимаем глаза – ребе уже здесь! Он совсем другой, я его не узнаю. Лицо строгое, холодное, но в глазах огонь. Он со своими евреями прошел по рядам. И всем детям, у которых уже была бар-мицва, дал тфилин (с тринадцати лет, то есть с бар-мицвы, мужчины-евреи выполняют заповедь наложения тфилин) и «арба канфос» (мальтй талит). Мальшам он дал только «арба канфос». Он чуть-чуть отошел и громко выкрикнул: «Дети, вы сыновья евреев, вы евреи! Знайте и помните, что вы дети Авраама, Ицхака и Якова! – он заплакал. – Вы еврейские дети, не забудьте, что вы евреи. Помните Даниэля, Хананью, Мишазля, Азарью, раби Акиву, Йосефа. Прочтите вместе со мной «Шма Исраэль!» «Шма Исраэль, а-Шем Элокейну, а-Шем эхад», – крикнули мы все. «Дети, вы уходите в далекий трудный путь. Будет много бед и невзгод, много тяжких испытаний, – он не мог говорить, голос прерывался, – но Б-г будет с вами, если вы Его не забудете, Б-г Авраама, Ицхака и Якова. Дети, я благословляю вас благословением, которым священники благословляли народ во времена Храма». Он подошел к нам, мы его окружили. Он положил руки на наши головы и благословил.

Показались первые лучи солнца. Барабаны бьют, трубы воют. Мы тронулись в путь. С опущенными головами мы прошли мимо нашего ребе, и он каждому сказал: «Иди и будь здоров». Мы вышли за город, с горы оглянулись назад, на гостеприимный город со святым раввином. Я как сейчас вижу, он шепчет «Иварехеха...» (начало благословения кознов – «Пусть благословит тебя Г-сподь и охранит тебя...»).

Семейная хроника

После смерти рава Нафтоли раввином города Люцин был его старший сын, рав Аарон-Зелиг Циони. Потом этот пост занимал его зять – рав Элизер Дон-Ихье. Рав Элизер прожил восемьдесят восемь лет (он родился в 1840 году) и умер в день своего рождения – четвертого тамуза (сказано: праведникам Б-г дает полные годы). После его смерти во главе евреев города встал рав Бенцион Дон-Ихье. Он был убит немцами во время второй мировой войны.

ГЛАВА ВТОРАЯ. РЕЖИЦА

Мой дедушка Режицер ребе

Второй сын рава Нафтоли (у него было трое сыновей), рав Ицхак Циони, в тридцать шесть лет возглавил общину города Режица (ныне Резекне) – стал Режицер ребе. Было это в конце позапрошлого века.

Его сын рав Бенцион – мой отец.

Я знаю о своем деде только по рассказам. Говорили, что весь день он проводил в синагоге. В общине Режицы было немало знающих людей, и дед обычно предлагал им выслушать всякий вопрос, с которым к нему приходили люди. Он выяснял мнение знатоков по этому вопросу, а потом высказывал свое. Он и сыновьям своим завещал поступать так же, так и написал в завещании.

Должен сказать, что отец мой следовал этому указанию. Помню, в годы войны, в суровый голод, отец разрешил евреям казанской общины некоторые «облегчения» (это термин, обозначающий смягчение правил выполнения той или иной заповеди; обратное действие называется «хумра», устрожение). Отец разрешил непосредственно в Песах печь мацу, есть горох и еще что-то, кажется. Это решение он обсудил и принял в присутствии двух раввинов.

В пятницу вечером, идя в синагогу мимо еврейских лавок, Режицер ребе всегда следил, чтобы они были закрыты до начала субботы.

Мне довелось встретиться с женщиной, гостившей в те времена в Режице. Она описала мне такую сцену. Стоит она на тихой вечерней улице. Близится наступление субботы. Вдруг начинается страшная суматоха: все спешат, суетятся, галдят, лавки закрываются – только слышно, как ставни хлопают. Она спрашивает в страхе: «Что такое? Что случилось?» А ей отвечают: «Реб Ицэле идет!»

Люди издалека приезжали к Режицер ребе за советом. И всем были известны случаи, когда невнимание к словам ребе кончалось очень печально. Его любили и боялись.

В народе всегда рассказывают истории о мудрецах. О моем деде тоже рассказывали чудеса. Два таких рассказа я здесь и приведу.

Накануне субботы евреи мылись в бане. Случилась ссора, и один дал другому (а это был меламед – учитель, обучающий мальчиков Торе) пощечину. Режицер ребе увидел это и воскликнул: «Рахмонес, иди! – Евреи, пожалейте! Дайте ему сдачи! Поскорее!» Но никто этого не сделал.

В тот же вечер обидчик меламеда подавился во время субботней трапезы и умер. Тогда евреи поняли, о чем просил ребе: если бы ударившему вернули пощечину, он избежал бы более сурового наказания.

Вторая история, про парикмахера, требует небольшого предисловия, а именно: еврейский закон запрещает бриться опасной бритвой – только специальной машинкой.

Все в городе строго придерживались этого правила. Но вот один еврей открыл в Режице парикмахерскую и стал брить лезвием. Режицер ребе вызвал его к себе и предупредил.

Тот обещал, но прошло некоторое время, и стало известно, что он продолжает брить евреев лезвием (лезвие брило чище тогдашних машинок и, увы, на это был спрос). Ребе опять его вызвал:

– Сын мой, ты же сказал, что не будешь?

Парикмахер возразил:

– Ребе, надо же как-то зарабатывать! Если я не буду так брить – что я буду есть?

Тогда ребе сказал:

– А когда есть, что есть, что из того?

И больше ничего не добавил. Вскоре парикмахер заболел раком. Ему давали лучшую пищу, но есть он не мог...

Еврей из Режицы рассказывал мне, что мальчиком любил следить за таинственным ребе. Однажды видит: реб Ицеле, как всегда, в талес и тфилин, идет по улице и вдруг сворачивает в узкий проулок между домами и что-то там делает. Мальчик дождался, пока ребе уйдет, и заглянул в щель. Там лежала собака со щенятами. Ребе приносил ей еду...

Как-то в Казани (мне живо помнится улица Овражная, на которой мы тогда жили) к нашей соседке Гуревич приехала в гости ее мать. Я с ней разговорился и сказал, что отец мой родом из Режицы.

– Из Режицы? Где реб Ицеле? – воскликнула она. – Он же спас мою мать!

И рассказала такую историю. Весенним утром ее мать, выстирав белье, пошла, как обычно делали в то время, к мосткам на реку полоскать. Когда она проходила мимо синагоги, оттуда выбежал шамес (служка) и окликнул ее: «Раби Ицеле просит тебя подождать». Она ждала минут пятнадцать-двадцать. Наконец раввин вышел и махнул рукой: «Можешь идти». Женщина удивилась: зачем ее задержали? Но когда пришла на реку, то глазам своим не поверила – мостков как не бывало! Их снесло половодьем, пока женщина ждала ребе. А если бы она, не дай Б-г, стояла на мостках?!

* * *

Реб Ицеле был женат вторым браком на Хаве, дочери рава Йоселе Креславера, мудреца и каббалиста. В первом браке у него было несколько дочерей и сын – рав Давид, и во втором – три дочери и сын, который родился в 1885 году, когда дедушке было уже шестьдесят лет. Младший сын реб Ицеле и есть мой отец. Дедушка – реб Ицеле – был первым учителем моего отца. Затем отец учился в ешиве «Слободка» и у своего деда со стороны матери, ребе Йоселе Креславера. Реб Ицеле умер в 1900 году, в возрасте семидесяти пяти лет.

Родители

Моя мать Леа-Гитл родилась в Литве, в городе Рогов (ныне Рагува) Паневежской области. Ее отец реб Мойше-Мишель-Шмуэль Шапиро был человек большой учености, автор многих книг. Мои родители поженились 2 тамуза 1914 года. Новобрачные получили массу поздравительных телеграмм от многих больших раввинов того времени, в том числе от раби Меира-Симхи.

Раби Меир-Симха из Двинска

Имя раби Меира-Симхи я слышал в доме отца с самого детства. Но историю, которую я сейчас приведу, мне рассказал очевидец, мой сосед Давид Киль, уже здесь, в Израиле. А потом я прочел о ней в книге «Безопасность и демократия», написанной бывшим главой «Мосада» (израильской контрразведки) Исером Арэлем. Так что у этого события еще остались как минимум два живых свидетеля.

В дни, о которых говорится, Исер Арэль был еще подростком. Он пишет:

«В тот год случилось так, что в верховьях Двины неожиданно и раньше обычного времени началось таяние снега и льда. Вода начала стремительно прибывать. Бушующая река и огромные глыбы льда в ней причиняли ужасные разрушения. Многие прибрежные деревни были сметены этим потоком, а мосты через Двину разрушены до основания. Ревущая вода приступила и к штурму большой дамбы, окружавшей Двинск. Над городом нависла тень гибели...

Утром в шабат положение сделалось отчаянным. С минуты на минуту вода должна была либо выйти из берегов, либо прорвать дамбу. Мой отец не знал, что предпринять: остаться с семьей в такой опасный момент или идти в синагогу на утреннюю молитву, чтобы присоединить свой голос к голосу всей общины. Наконец он решительно отправился в синагогу. Я присоединился к нему. В самый разгар молитвы, которая была как никогда взволнованной и то и дело прерывалась отчаянными воплями, в синагогу с криком ворвались евреи со страшной вестью: еще немного, и город будет уничтожен!

Рав Меир-Симха, облаченный в талит, поднялся со своего места и направился в сторону дамбы. Вся община в своих субботних одеждах последовала за ним.

Рав поднялся на дамбу и начал молиться о спасении города. И вдруг, в тот самый момент, когда рав стоял, углубленный в молитву, лед... треснул, льдины зашевелились, зашумели и... двинулись к низовьям реки! Вода на глазах начала спадать!..

Все жители города, в том числе все христиане и среди них заклятые антисемиты, ни на миг не сомневались, что чудом спасения они обязаны праведному раву... сам рав, конечно же, не рассматривал себя в качестве святого чудотворца. Он... просто молил Б-га о милосердии!»

Рассказ Давида Килья совпадает с этим описанием в точности. Киль только добавляет, что городские власти призвали на помощь всех, кого

можно. В городе непрерывно служили молебны. Но вода продолжала прибывать, и ее не могли остановить. Тогда латвийские власти официально обратились к знаменитому раввину Ор Самеах (раби Меир Симха). Он пошел к реке с книгой Теилим (Псалмы), помолился, и наводнение остановилось. Это был невероятный Кидуш а-Шем (освящение Имени Всевышнего)!

Когда пришли большевики, раби арестовали и хотели казнить только за то, что он большой человек в Торе. Газеты поспешили сообщить, что раби расстрелян. Но сообщение оказалось ложным: за раби заступился известный латышский писатель Вилис Лацис и спас его.

В 1926 году раби Меир-Симха умер. Газета «Известия» поместила сообщение: «Умер известный раввин...». Это единственный известный мне случай, когда советская печать упомянула о смерти религиозного авторитета.

Раби Меир-Симха скончался до того, как на евреев Германии обрушилась беда. В XIX веке с началом эпохи эмансипации евреи европейских стран были уверены, что наступило время свободы и равноправия. В Германии началось движение реформизма. Евреи, которые ни во что не верили и, тем не менее, хотели сохранить свое национальное имя, заговорили о реформе иудаизма. «Мы хотим быть евреями, – объясняли они, – но при этом считаем нужным осовременить наши законы, кое-что в них изменить. Вполне можно оставаться евреем, даже если ешь трепное и ездешь по субботам». Сегодня, располагая известным историческим опытом, мы знаем, что преемственность реформизма не выдерживает более двух-трех поколений – как правило, реформисты изменяют своей вере. Раби Меир-Симха, комментируя в «Мешех хохма» главу Торы «Бехукотай», где речь идет об изгнании и рассеянии, сказал удивительные пророческие слова.

«Уже более тысячи лет еврей пребывают в изгнании. Это долгий срок, а человек всегда хочет чего-то нового. Появятся ошибочные мысли, начнут критиковать то, что наши отцы дали нам в наследство... Еще немного, и скажут: «Ложь то, что передали нам отцы». Евреи начнут забывать свое происхождение, оставят учение своей веры, начнут учить чужие языки и сочтут Берлин Иерусалимом. Еврей забудет, что он – пришелец в чужой стране, и назовет ее родиной. И будет учиться у народов плохому. Но не радуясь, еврей, радостью других народов. Грянет внезапно страшная буря, напомним громовым голосом: «Ты – еврей! Кто тебя сделал человеком? Уходи отсюда!» Вырвет его с корнем и зашвырнет далеко...»

Это написано в конце девятнадцатого столетия. Их автор умер за семь лет до прихода Гитлера к власти! Жил в Латвии, а пишет о Берлине! Не понимаю, как он мог во времена процветания писать о страшной буре! Он был святой человек, нечего говорить.

Раби Йосеф Разин из Рогачева

В те годы в Двинске жили два великих раввина: раби Меир-Симха и раби Йосеф Разин, Рогачевский гаон, как его называли, сравнивая с Гаоном из Вильно. Может, это слишком, но он действительно мог часами цитировать по памяти ответ на любой вопрос по Талмуду.

Два таких мудреца! В одном городе! В одно время! Я не мог не упомянуть здесь раби Йосефа Разина.

Как-то Бялик (знаменитый еврейский поэт) посетил его. Потом у Бялика спросили о впечатлении. Отзыв был восторженным:

– Ученые комиссии заседают, изучают жизнь евреев две-три тысячи лет назад, строят теории, как обрабатывали землю, как одевались и прочее, а у Раби на любой вопрос есть ответ, и все ответы он подтверждает цитатой из Талмуда. Да из маленького кусочка его головы можно сделать десять Эйнштейнов!

Когда спросили Рогачевского Гаона о Бялике, он ответил: «Если бы этот человек учился, он бы немного знал...».

Раби Йосеф Разин умер в тридцатые годы.

Депортация в Казань

Шла война. На евреев западных губерний Российской империи обрушилось новое бедствие. Под предлогом нелояльности евреев царское правительство очистило от еврейского населения пограничную зону. Тысячи еврейских семей из Литвы и Латвии принудительно отправили в Россию.

Мама рассказывала, что это был ужасно. Всех подряд загнали в вагоны: больных и здоровых, старых и малых, нормальных и сумасшедших – и отправили в неизвестность. Родители мамы ехали вместе с ней.

Отец мой был поражен выдержкой тестя в этих обстоятельствах. Внук рава Шапиро от дочери Ханы-Итл, которая умерла совсем молодой, Мордехай-Пинхас, учился где-то в ешиве. Оказалось, его тоже высылают, только другим поездом. Он нашел состав, в котором находился дедушка, и прибежал к нему вне себя. Вокруг шум, гам, суматоха, в вагоне народу – битком, все взволнованы, растеряны, никто не знает, куда ему путь лежит, парень в слезах, а дед спрашивает его, как ни в чем не бывало:

– Ну, что ты учил на этой неделе?

И полчаса, пока поезд не тронулся, он сидел с внуком и безмятежно беседовал, словно в субботу после трапезы. Кажется, им удалось уехать вместе – люди там были не считанные.

Из поезда высаживали по мере его продвижения. Моих отца и мать высадили в Казани, а родителей моей матери, рава Шапиро с женой, – в Симферополе. В те времена евреям разрешалось селиться только в пределах так называемой черты оседлости, все остальные места были для них, за некоторыми исключениями, закрыты, в том числе Казань. А тут, когда выслали, разрешили жить в Казани. Казань была забита еврейскими беженцами.

Дедушка и бабушка сумели потом, до прихода Советов, вернуться в Литву. Моих же родителей из Казани уже не выпустили.

Вначале отец скрывал, что он раввин, но вскоре в синагоге кто-то узнал его и закричал: «Ребе, что же вы стоите у двери?»

Когда в 1926 году ликвидировали всё, связанное с еврейской религиозной жизнью, синагоги закрыли, деятельность отца стала тайной. На что мы существовали? Лучше не спрашивайте.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КАЗАНЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. «ДЕТСТВО. В ЛЮДЯХ...»

Как я учился

Я не знаю другого отца, которому сын был бы столь обязан знаниями, как я – моему отцу, благословенна его память. Это отец учил меня «алеф-бейт» (еврейскому алфавиту), дал мне знание Танаха (Пятикнижия, Пророков, Писаний), учил со мной «Шулхан арух» (свод еврейских законов), Мишну, Гемару (составные части Талмуда).

Как отцу это удалось – ума не приложу, но я ни одного часа не учился в школе. При советских порядках и законе об обязательном начальном образовании – это просто чудо. Чтобы я мог учиться на равных с ребятами, отец какое-то время нанимал для меня частных учителей по математике, физике и русскому языку. В основном и этими предметами он занимался со мной сам (как и когда отец приобрел эти знания, мне неизвестно, но такое и не спрашивают о человеке, умеющем учиться; он сделал это ради меня).

Отец всегда брал меня с собой в синагогу. В шесть лет я уже знал наизубок все молитвы и молился наизусть. Однажды – мне было лет восемь – мы с отцом сидели в сторонке и слушали, как шохет (резник, который режет скот для общины; он должен хорошо знать законы шхиты – правильного убоя скота и вообще быть человеком праведным и сведущим в Торе) разбирает мишнает (раздел Талмуда) с группой евреев. Отец тихо сказал мне: «Хочу, чтобы ты знал: здесь он объясняет неправильно». Я удивился: почему же отец не поправляет шохета?

Занятия закончились, мужчины прочли вечернюю молитву и разошлись. Шохет подошел к отцу, поговорил с ним, и отец, как бы, между прочим, заметил: «Знаете, в мишнает есть одно место, которое не все правильно понимают» – и объяснил. «Ой, – говорит тот, – а ведь и я объяснил неверно. Надо завтра повторить все заново и исправить ошибку». Тут я понял, почему отец сперва промолчал. Он не хотел при всех ставить резника в неловкое положение. Этот случай был для меня хорошим уроком.

Отец был мягкий, и даже застенчивый человек. Он говорил: «Если кому что-то нужно, пусть приходит ко мне, и я ему помогу». А мама была очень активной. Узнает, что у кого-то нужда, сама побежит.

Еврейский закон предписывает евреям в праздник Суккот спать и есть в сукке (специальном шалаше с крышей из веток). Особая обязан-

ность – поест в сукке в первую ночь. В другие дни, если дождь, можно уйти в дом, но в первый день праздника надо дожидаться, когда дождь кончится, и поест в сукке.

В Казани лишь один-два еврея имели возможность строить сукку, у нас такой возможности не было. Однако ели мы всегда в сукке. Помню, однажды в первый вечер Суккот мы с отцом помолились и пошли искать сукку (о том, у кого она есть, даже в миньяне не говорили, настолько это было тайно). Подошли к дому, где обычно она была, – нет сукки. Дошли до другого места – тоже нет. Шел страшный дождь, но мы продолжали поиски. Часа четыре – до полуночи – искали, у кого в этом году стоит сукка. Но нашли! И поели в сукке.

С момента, как я себя помню, мы жили в жактовской (государственной) трехкомнатной квартире. Звучит неплохо, верно? Но выглядело это так: родители со мной – втроем – в двенадцатиметровой комнате, соседская семья – в таких же апартаментах, а центральная комната отдана молодежной группе Еврейской секции Компартии.

Евсекция, или Кто такой Амалек?

Еврейская секция – это общее название еврейских организаций РКП(б): после революции коммунисты создали у себя в партии национальные секции, которые должны были внедрять коммунистическую идеологию «среди своих», то есть на родном языке уговаривать людей «строить социализм». Члены Евсекции беспощадно боролись с «пережитками прошлого» – с верой своих отцов: закрывали синагоги и миквэ (бассейны для ритуальных омовений, по законам семейной жизни евреев), запрещали кошерный убой скота, сажали в тюрьмы тех, кто обучал Торе.

Сказано в Торе: «Помни, что сделал тебе Амалек на пути при нашем исходе из Египта. Который напал на тебя в пути и перебил у тебя всех ослабевших [что шли] позади, а ты был утомлен и изнурен, и не убоился он Б-га» (Дварим, 25:17-18).

«Б-га не боится» – вот главная характеристика Амалека.

Тора продолжает: «И будет, когда Г-сподь, твой Б-г, даст тебе покой от всех твоих врагов со всех сторон на земле, которую Г-сподь, твой Б-г, дает тебе в удел для владения ею, сотри память об Амалеке из-под небес. Не забудь» (25:19).

Это две отдельные, самостоятельные заповеди – помнить, что сделал Амалек, и не забывать об этом. Тора усиливает приказ тем, что дает к нему «пару» заповедей («делай» и «не делай», «асэ» и «ло таасэ» на иврите). Причем Гемара указывает на такое различие между ними: не забывать – в сердце, помнить – устами.

До второй мировой войны я удивлялся: зачем Тора увековечивает память о злодеянии Амалека? Ни о каких других врагах (которых в истории евреев немало) Тора такого приказа не отдает. Почему? Во время этой войны я понял. Потому что Амалек страшнее и опаснее всех других врагов.

Для чего Тора подчеркивает (дважды говорит в трех стихах отрывка), что Амалек напал «в пути»? А если бандит напал на человека дома, ему что – прощается?

Дело в том, что почти все войны имеют причиной или хотя бы главной формальной причиной борьбу за территории. У народа Израиля своей территории не было – он находился в пути.

Бывает целью войны грабеж, борьба за богатства. У евреев никаких особых ценностей не было. Не серьги же и кольца.

Бывает, между народами вспыхивает старая ненависть, как у армян с азербайджанцами. Но здесь и этого не было.

Почему же Амалек напал на евреев? Была у него причина, но совершенно особая.

Исход из Египта сопровождался чудесами. Египетские казни были «курсом лечения» как для египтян, так и для евреев, которые так долго гнили в Египте, что тоже стали служить идолам и были все необрезаны. Надо было открыть глаза и тем, и другим, показать им, что есть Б-г, есть Властелин над миром. Поэтому Всевышний нанес по Египту десять ударов – дал ему десять уроков. Например, главным идиолом в Египте была река Нил – поэтому два из первых трех ударов («уроки» разбиты на группы: три, три, три и один) были нанесены по Нилу: вода превратилась в кровь, сушу заполонили лягушки, вышедшие из реки.

К концу десяти египетских казней евреи стали верующими. Да и многие другие народы призадумались о Б-ге. Амалек со своей ведущей идеей – неверием в силы выше природных – «не боялся Б-га». И решил «разоблачить миф»: пришел в пустыню, напал на евреев, ведомых Всевышним, чтобы показать, что не так уж это страшно. Амалек был разбит, но страх перед евреями как перед народом Б-га был поколеблен.

Гематрия (численное значение букв в слове) «Амалек» равна гематрии «сафек» (сомнение). Главное дело Амалека – сеять сомнение в сердцах евреев: «Кто сказал, что Б-г есть? Кто сказал, что Тора от Б-га?» А дальше уже идет: «Вовсе не обязательно молиться. Необязательно соблюдать субботу. Можно и так быть евреем...» – и всё прочее, что мы, к несчастью, не раз слышали.

Амалек охлаждает сердца. Сказано о нем: «Который напал на тебя в пути» – «ашер карха ба-дерех». Это можно понимать и как «который охладил тебя в пути» («кор» – «холод», «карха» – и «напал на тебя», и «охладил тебя»). «В пути» – в том долгом пути, которым мы и сегодня идем, ибо от изгнания до прихода Машиаха – большая дорога.

Тора говорит: «...поклонился Г-сподь престолом, что война у Г-спода против Амалека из рода в род» (Шмот, 17:16). Некоторые слова в этом стихе написаны очень странно: в слове «престол» не хватает буквы «алеф» (не «кисэ», а «кес»), Имя Всевышнего дано только наполовину (не четыре буквы, а две). Почему?

Тора указывает нам: пока существует Амалек, престол Всевышнего не целен. И Имя Б-га так и будет для нас неполным, пока память об Амалеке не сотрется из поднебесья.

Кстати, о Германии. Германцы проявились, как Амалек, еще в Средние века, в эпоху крестовых походов. Они не только участвовали в этих походах, но и безжалостно уничтожали целые еврейские общины

на своей территории (всем известны названия таких городов, как Вормс и Майнц, где евреи были полностью истреблены; молитва «Ав а-рахамим» – «Отец милосердия», которую мы читаем по субботам, сочинена неизвестным евреем из Германии). До второй мировой войны кое-кто из евреев уверял, что не следует «помнить об Амалеке» и «отравлять свои души ненавистью». Теперь Германия из всех сил старается, чтобы прошлое было забыто. Но один из еврейских партизан, погибший на войне, раввин, имени которого я здесь не назову, потому что боюсь ошибиться, сказал как-то очень тяжелые слова. Да сотрется, сказал он, имя еврея, который посмеет забыть, что немцы нам сделали.

Почему я говорю об Амалеке в связи с Евсекцией? Потому что Евсекция, которая закрывала синагоги, расстреливала раввинов, добивалась, чтобы евреи работали в субботу, – безусловный Амалек. Если человек сам поступает дурно – это одно, но если он пытается помешать другим поступать правильно – это Амалек.

Рав Эльханан Вассерман цитирует своего учителя Хафец Хаима (духовного вождя евреев Восточной Европы, жившего в 1838-1933 годах). Хафец Хаим говорил, что у него нет ни малейшего сомнения: Евсекция – это Амалек, пусть даже она состоит из самых чистокровных евреев. На них, говорил Хафец Хаим, распространяется статус Амалека, всё то, что Тора предписывает относительно него, а это значит – всякий контакт и примирение исключены!

Рав Эльханан Вассерман погиб от рук фашистов в Девятом форте под Каунасом, вместе со своими ешиботниками.

Отвлекусь, но непременно скажу: статьи рава Вассермана глубоко меня потрясают. Он писал, что евреи – его современники – совершают два греха, поклоняются двум идолам, двум ложным идеям.

Одна – это национализм: идея еврея без Торы, «национальности как у всех», когда важно только, кем ты себя чувствуешь и считаешь. Поешь «а-Тикву» (гимн Государства Израиль), даешь шекель на общественные нужды, и ты еврей, хоть крестись. А заповеди не при чем.

Второй идол – социализм. В Красной стране преследовали евреев со страшной жестокостью.

На небесах, говорит рав Эльханан Вассерман, обоих идолов слили в один – национал-социализм. И он будет крепко бить евреев. Все эти мысли он находит в Танахе, у Иехезкеля.

Читаешь его как пророка.

Но вернемся к разговору о Евсекции. Это евсековцы добились ареста Любавичского ребе в Ленинграде и настаивали на его расстреле! Может, власти его бы и не тронули, но евсековцам авторитет ребе не давал покоя. Они-то хорошо знали, каковы его вес и значение в жизни евреев. Это они отняли у ребе в тюрьме тфилин!

Какой позор для нас! Кто пытался добиться, чтобы ребе заменили расстрел десятью годами заключения? Жена Максима Горького! А евреи настаивали на расстреле.

В пасхальную субботу евсековцы специально устроили в Казани вечер, на котором участников угощали булочками и сигаретами.

Нехемья Маккаби рассказывал мне, что тогда творилось в Минске. Евреев в городе было много, и Евсекция орудовала вовсю. В первый же вечер Песах еврей-коммунисты приступили к своим «антипасхальным» мероприятиям. Они буквально охотились за молодежью, как за зверями – заходили во все еврейские дома и требовали: «Идем с нами!» Отказываться и вступать с ними в спор было опасно. Когда евсековцы вошли в дом Нехемьи, Нехемья с другом спрятались в шкафу...

Евсековцы устраивали «еврейские» судилища, где вся процедура велась на идиш. В Минске «судили» шохета, облыжно обвинив его в изнасиловании несовершеннолетней. А это был известный хасид, святой человек...

Нельзя прощать Амалека!

Под одной крышей с Амалеком

Итак, центральная комната нашей коммуналки была клубом евсековцев. Они неизменно толпились там по субботам и праздникам – не случайно, видимо, их разместили рядом с семьей раввина. Помню, пришел я домой в эрев шабат (в пятницу вечером) и хотел пройти к себе в комнату. Один из этих евреев останавливает меня, сует мне, одиннадцатилетнему мальчишке, спички и говорит:

– А ну-ка зажги, не то побью!

Я не зажег, вырвался как-то и убежал. И это у себя дома!

К этому времени относится чудом сохранившееся последнее письмо ко мне моего деда раби Мойше-Мишель-Шмуэля Шапиро, написанное в двадцать восьмом году (это к нему в Литву я так неудачно пытался уехать). Он пишет:

«Мой дорогой внук Ицхак-Йосеф! Мы с бабушкой очень озабочены тем, что вы живете в «холодном климате». Все наши молитвы Б-гу о том, чтобы ты остался верующим евреем, знающим Тору...»

Письмо залито слезами. Вскоре дедушка умер.

В тридцатом году все национальные секции в партии, включая Евсекцию, были ликвидированы. Не прошло и десяти лет, как Сталин стал расправляться и с теми, кто верно ему служил. После сталинских «чисток» из молодых казанских евсековцев, известных мне, в живых осталось только двое. И эти двое стали такими любезными, такими тихими...

Мы – «лишенцы»

В конце двадцатых годов нас из квартиры выселили. Папа был раввин и потому стал «лишенцем» – его лишили «права голоса». И не только, как видите, права голоса, но и жилья. Вместе с семьей.

Детей «лишенцев» не принимали ни в вузы, ни на работу.

Моего отца как «лишенца» отправили на принудительные работы. Каждый день он проделывал пешком многочасовой путь – туда и обратно. Работал отец в поле – другой работы ему, бывшему раввину, не полагалось. Но по субботам отец оставался дома – как ему ни грозили, как на него ни кричали. Потом отца все-таки освободили от этих работ по состоянию здоровья, а со временем, благодаря хлопотам его сестры Лей, которая жила в Москве, и совсем отменили статус «лишенца». Почему мне и удалось попасть в вуз.

Когда нас выкинули из квартиры, мы сняли комнаты у частника. У него был маленький дом и дворик. Это был очень порядочный верующий русский человек, христианин.

Жили мы тяжело, но были рады крыше над головой. Помню, однажды, когда денег не было даже на хлеб, мама хотела пойти занять три рубля. Отец подумал и говорит:

– В «Биркат а-мазон» (благодарственной молитве после трапезы с хлебом) мы постоянно просим: «Сделай так, чтобы мы не нуждались ни в подарке от смертного, ни в одолжениях его...» Поищи что-нибудь дома, может, найдешь?

Мама поискала, нашла полстакана муки, набрала щепок, испекла несколько лепешек, и мы прожили три дня, ни у кого не одалживая.

Квартира у нас по тем временам была большая – две с половиной комнаты. Помню, каждый день мама возносила руки к небу и говорила: «Б-же, благодарю Тебя за то, что мы под крышей». Но радость была недолгой: в двадцать девятом году мы благоустроились, а в тридцатом – спустя неделю после моей бар-мицвы – нас снова выкинули на улицу.

Я становлюсь взрослым

Что такое бар-мицва? Так называют мальчика, которому исполнилось тринадцать лет. Так называется и его тринадцатый день рождения. Этот день рождения для еврейского мальчика – особый праздник. С этого возраста исполнение заповедей для него обязательно, и он несет ответственность за себя. С этого момента он присоединяется к миньяну как взрослый. (Слово «миньян» буквально означает «счет», «число», а в иудаизме – группу из десяти взрослых мужчин. Некоторые религиозные действия, в частности чтение недельных глав Торы по свитку, разрешены только в присутствии такой группы. Сказано в «Поучениях отцов»: «Когда десять человек сидят и занимаются Торой, между ними пребывает Б-жественное Присутствие» – Пиркей авот, 3:7.)

На празднование моей бар-мицвы собралось сорок евреев – очень много по тем временам. Я готовил драшу – речь на религиозную тему, которую бар-мицва по обычаю произносит перед гостями. Я и сейчас еще ее помню.

Делалось всё очень тихо, люди боялись властей (после моей больше в Казани бар-мицвы уже не справляли). Власти, однако, не дремали, и моя бар-мицва не прошла безнаказанно.

Родился я третьего ава (ав обычно приходится на август григорианского календаря), а девятого ава у евреев – день поста, самый трагический день в году, когда в пустыне был вынесен приговор: первое поколение вышедших из Египта не войдет в Эрец-Исраэль. В этот день (но в разные, конечно, годы) были разрушены оба Храма: Первый – вавилонянами, Второй – римлянами. И в последующие времена этот день был днем бедствий для евреев. Моя бар-мицва была пятнадцатого ава, в ближайшую субботу после поста, а через неделю власти изъяли у владельца дома, где мы жили, «излишки площади», как тогда выражались. Излишками, разумеется, оказалась наша квартира.

И вот мы опять на улице. Наступает осень – а мы без крова. Мать устроилась ночевать у какой-то русской вдовы, меня взяли знакомые евреи, отца тоже кто-то подобрал. Я не всегда даже знал, где родители ночуют.

Весь наш домашний скarb, в том числе и книги, так и остался во дворе прежней квартиры, под открытым небом. А на улице идет дождь. У отца было много ценных книг и редчайших рукописей. Я попросил пожилую русскую женщину из соседнего дома (я не был с ней знаком, просто увидел на улице):

– Разрешите у вас поставить книги на месяц-два?

Она согласилась.

Прошли Рош а-Шана, Йом-Кипур, Суккот. Мы нашли квартиру, и я пошел к той женщине за книгами.

– Ой, – говорит она, – извините, было холодно, и я ими вытопила.

Все книги сожгла...

Положение в еврейской общине было ужасное: верующие не знали, кто среди них доносчик. А доносчиками порой оказывались люди, от которых этого никак нельзя было ожидать. Как-то на молитву собрался миньян, вынесли свиток Торы, а выйти читать никто не решается (свиток Торы читает вслух один из членов миньяна, его называют баал-коре). Двое из присутствующих умели читать по свитку (это особое умение, потому что свиток пишется без огласовок), но боялись доноса. Видеть свиток, к которому никто не смеет прикоснуться, было очень тяжело. Мне к тому времени уже исполнилось тринадцать лет, и я вышел вперед. Так впервые в жизни я читал свиток для общины.

Работа

С четырнадцати лет я начал работать. По закону подросткам полагался сокращенный – шести, а не восьмичасовой рабочий день. Я нашел место, где меня согласны были принять с тем, чтобы я в субботу не работал. За это я обязался работать не с восьми до двух, как следовало бы, но с восьми утра до восьми вечера – по двенадцать часов в день. В полседьмого утра я старался уже быть в синагоге, молился, учил Гемару, потом отправлялся на работу. Я чинил примусы, керосинки, патефоны, велосипеды. Дело я осваивал старательно и стал рабочим что надо: я слесарь шестого разряда, прошу не шутить!

Я проработал в мастерской три года, с тридцать первого по тридцать четвертый. После убийства Кирова, не работать по субботам стало невозможно. Все кругом проявляли отчаянную бдительность: интересовались, кто мои родители, пытались уговорить, что надо работать в субботу, что вокруг кипит новая жизнь, а я держусь за старое, и тому подобное. Уговаривали четыре недели, но все четыре субботы я на работу не выходил. И с понедельника меня уволили. Мне было семнадцать лет.

В это время в крупных городах страны началась кампания по проверке паспортов. Документы брали у всех подряд, взяли и у отца с матерью. Взяли и «потеряли». Спокойнее нам, сами понимаете, от этого не стало. В результате «проверки» многих выселили из Казани.

Это «послекировское» время было ужасно. В городе постоянно шептались о самоубийствах на железной дороге. В страхе перед будущим, в отчаянии люди бросались под поезда...

Другого столь тяжелого периода, как тот, что пережили евреи советской России, в еврейской истории, пожалуй, не было. Во времена Маккавеев греки ввели «гзерот» (постановления, объявляющие вне закона всю еврейскую веру), но евреи спустя три года подняли восстание и победили. А в России преследования продолжались более семидесяти лет!

Из других стран, где евреев преследовали, они могли хотя бы бежать. Из советской России было не скрыться.

Обрезание под запретом

Среди постановлений советской власти был и запрет на обрезание (брит-милу). О том, как евреи обходили этот запрет, я уже рассказывал в других своих книгах. Некоторые из этих историй повторю здесь.

Сегодня немногим известно имя рава Мордехая-Аарона Аснина. А это – настоящий герой, который за свою жизнь сделал обрезание двадцати тысячам еврейских детей.

В Минске было много мозлей (специалистов, делающих брит-милу), но когда власти запретили обрезание, все испугались. Рав Аснин единственный бесстрашно продолжал свое дело, порой у него на день приходилось по двенадцать-тринадцать бритов. Он никогда не брал за это ни копейки – только немного лекал (медовой коврижки) и свечу: при свече он учился, а лекал приносил внукам. А ведь у него, благодаря Всевышнему, была большая семья – восемь детей и множество внуков. Прокурор Ходос, осатанелый минский евсековец, отправил этого мозля в тюрьму.

Выйдя из тюрьмы, рав вновь взялся за свое.

Зная по опыту, что когда приходят спрашивать об обрезании, откладывать нельзя, чтобы не помешали власти, он сразу говорил:

– Где ребенок? Давайте его скорее сюда.

Когда рав тяжело заболел (наступали последние дни его жизни), пришла женщина и спросила о брит-миле. Рав ответил своей обычной фразой:

– Давайте ребенка скорее сюда.

Родные возразили:

– Ты же болен, куда тебе вставать?

Рав Аснин махнул рукой:

– Неважно. Пока я жив, я должен делать обрезание. В тот день, когда умру, – перестану.

И совершил свое последнее обрезание. Назавтра рав Мордехай умер.

Как видите, несмотря на запрет, в те времена немало евреев еще старались выполнить заповедь обрезания. Для этого им приходилось всячески исхитряться.

В тридцатые годы в Белоруссии у одного еврея, сотрудника НКВД, родился сын. Жена хочет сделать сыну обрезание. Как быть? Муж нашел выход: «Я уеду в командировку. Если потом что и скажут – я ничего не знал». И уехал на две недели. Возвращается, входит в дом с двумя сослуживцами – и что же видит? Его сына только что обрезали, и в доме еще находится мозль! А он, можно сказать, сам свидетелей привел! У злосчастного энкаведиста потемнело в глазах. Он напустился на мозля: «Ах ты, контра! Враг народа! Ты что с моим сыном сделал?!» Мозль убежал. Но мозль-то знал секрет, неизвестный перепуганному отцу: те двое, что пришли с ним, поступили со своими сыновьями точно так же.

Еще случай. Еврей, начальник пограничной заставы, хотел сделать сыну брит-милу. Но как доставить мозля в зону, где каждый человек на учете и незнакомец сразу бросается в глаза? Наш начальник условился с мозлем, что тот якобы попытается незаконно перейти границу. Так и сделали. Мозля арестовали на границе и привезли к начальнику. Тот взял его к себе домой, мальчику сделали обрезание и мозль был отпущен.

Эту историю я слышал лично от раби Аарона Хазана. Бывший москвич, он в Израиле издал автобиографическую книгу «Негед а-зерем» («Против течения»), где есть и этот эпизод.

Могила Седер а-дорот

Рассказать эту историю мой долг (не запишем – согрешим!). Впервые я услышал ее от Ходоса. От того самого прокурора Ходоса, который отправил в заключение мозля Аснина и еще многих невинных людей.

В конце концов, разумеется, и его посадили. Из тюрьмы он вышел другим человеком. Попал в Казань, по-прежнему работал в прокуратуре, но был уже далеко не так рьян. Я давал его сыну уроки математики у него дома. Как-то я не удержался и спрашиваю:

– Почему у вас на дверях нет мезузы?

Ходос замялся:

– Мне нельзя, я коммунист все-таки.

Я говорю:

– Закон не требует, чтобы она выступала наружу. Можно вырезать отверстие примерно с кулак, чуть меньше, вложить мезузу и закрыть, чтобы и видно не было.

Ходос тут же встал, взял стамеску и выдолбил отверстие. Я дал ему мезузу, и он ее прикрепил. Прикрепил как полагается, с благословением. А однажды, помню, когда больше нигде было, мы даже собрали у него дома миньян и молились.

Так вот. У Ходоса умер тесть, и его похоронили на еврейском кладбище. Увидев несколько разоренных еврейских могил (хулиганы основательно бесчинствовали на кладбище), Ходос заметил:

– Что тут за безобразие! У нас в Минске такого не было. Правда, есть там могила какого-то большого еврея (фамилии он не помнил и назвал его «а гутер ид», «хороший еврей» на идиш), так ее хотели было разрушить. Но не сумели.

Я спрашиваю:

– Это не Седер а-дорот?

Он говорит:

– Да вроде того.

«Седер а-дорот» – «Хроника (буквально – порядок) поколений» – книга, которую написал гениальный рав Ихиэль Альперин (у евреев иногда авторам дают имя по названию их книг). «Седер а-дорот» – уникальный исторический труд, отражающий историю еврейского народа от начала времен до дней Виленского гаона, когда книга была написана (примерно двести пятьдесят лет назад). Автор перечисляет там всех великих людей еврейской истории и их труды, особо сосредоточиваясь на эпохе Талмуда. Этот поразительный библиографический справочник содержит названия десятков тысяч книг. Уму непостижимо! В «Седер а-дорот» систематизированы по авторам все высказывания в Талмуде, с указанием места, где какое высказывание находится.

Надо сказать, что книга «Седер а-дорот» послужила первоисточником для массы исторических трудов.

Я был еще мальчиком, когда приехавшие в Казань из Минска евреи с горечью рассказали отцу, что в Минске разоряют старое еврейское кладбище, выбрасывают кости из могил и строят на этом месте стадион НКВД – не хулиганы, в отличие от Казани, тут уж Ходос прав, а власти, со всеми своими возможностями и полномочиями.

Надо знать, что Тора предписывает очень серьезно относиться к захоронению. Первый урок мы получаем в главе «Хаей Сара» книги «Берешит», где рассказывается, как Авраам купил пещеру Махпела, чтобы похоронить там жену, еще один – в главе «Вайехи» книги «Берешит», где говорится, как Яков просил Йосефа похоронить его не в Египте, а в Эрец-Исраэль. И не просто просил, а взял с сына клятву.

Тора дает нам несколько заповедей, как поступать с мертвым телом, и строго запрещает тревожить захороненные в земле останки.

Помню, отец спросил:

– А могила Седер а-дорот?

– Нет, – говорят, – ее снести не сумели.

– Как это, – спрашивает отец, – не сумели?

– Все, кто пытался, погибли.

Мне, мальчишке, тогда подумалось: «Люди любят преувеличивать». Потом то же рассказал Ходос. Позднее, в пятьдесят третьем – пятьдесят четвертом году, в Казани появился Шалом Исакович, видный врач из Минска, знаток Торы, тщательно это скрывавший. Я спросил у него, сохранилась ли могила Седер а-дорот, и он подтвердил, что да, сохранилась. Я никак не мог себе этого объяснить. Чтобы все кладбище снесли, а могила Седер а-дорот осталась?! И, несмотря на подтверждения, мне всё не верилось.

Прошло много лет. В шестьдесят втором году мы с сыном Бенционом побывали в Самарканде, где жил мой старый знакомый реб Яков Барашанский. Был он родом из Минска, и я решил – пойду к нему. Возьму Бенциона в свидетели и выясню, наконец, что в этой истории – правда, а что – нет. Я знал, что этот чистосердечный человек ни разу в жизни не сказал неправды.

Я попросил реб Якова:

– Если вам что-нибудь известно о могиле Седер а-дорот, расскажите, пожалуйста. Но только то, в чем у вас нет никаких сомнений.

Реб Яков рассказал:

– На могиле Седер а-дорот стоял склеп. Когда советские власти проводили ликвидацию кладбища, двое рабочих забрались на крышу склепа. Оба упали. Один разбился насмерть, второй сломал ногу... Бригадир разозлился: «Работать не умеют. Я сам пойду». Размахнулся ломом и изо всех сил ударил. Лом отскочил и попал ему в голову. После этого весь Минск боялся подойти к могиле. Но как же быть? Ведь рядом – новенький стадион, старому еврейскому склепу тут не место. Додумались – решили склеп заново выкрасить и написали на нем: «Известный историк такой-то». Люди еще помнят, как власти по всему городу искали, кто согласился бы это сделать, потому что все боялись.

«Перед смертью не врут»

Мне отец говорил, что перед смертью не врут.

Знаю случай, когда женщина из нееврейской семьи вызвала рава (это было в Самарканде во время войны) и просила, если операция закончится ее смертью, похоронить по-еврейски, потому что она еврейка. И ее похоронили, как положено.

Да что говорить! Глава израильской компартии Моше Снэ оставил завещание, в котором пишет, что атеизм – просто глупость, и просит похоронить его в талите, а сыну велит читать по нему «Кадиш».

ГЛАВА ВТОРАЯ. «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»

Подготовительные курсы

Изо дня в день знакомые и соседи твердили моему отцу:

– Ребе, что вытворяет ваш сын? Его поведение и для вас опасно! Ну, неделю он не будет работать в субботу, ну – месяц! Но нельзя же

всю жизнь прожить, как на войне! И что из него выйдет? Сейчас, когда ему шестнадцать-семнадцать лет, он мог бы еще учиться и стать инженером, врачом. Но он нигде не учится.

Родители молчали. Мир вокруг становился все мрачнее. Сначала закрыли миквэ, потом шохетам запретили резать мясо, людям оставалось либо полностью отказаться от мяса, либо есть трефное. Некоторые выдержали, некоторые – нет. А дети, повзрослев, уже не колеблясь, покупали и приносили домой трефное. Потом, в тридцатом году, закрыли синагогу...

Помню, мы с отцом шли с молитвы со старым шохетом реб Исроэлем, и взрослые уже не впервые вели между собой такой разговор:

– В этот Йом-Кипур еще был миньян. А вот соберется ли миньян лет через двадцать?

Шохет сомневался:

– Нет, пожалуй.

Отец задумался:

– Если найдется кто, чтобы собрать людей, то миньян и соберется.

Взрослым, даже твердо верующим, в те дни казалось, что все кончено. Но я, мальчишка, был уверен, что всё будет в порядке. И решил запомнить этот разговор и посмотреть, что будет. И запомнил. Смотрю: пятнадцать лет прошло – миньян есть, двадцать лет прошло – миньян есть, и еще больше людей, чем прежде...

Соседи в какой-то степени были правы: куда бы я ни шел устраиваться – везде в субботу надо было работать. Пытался я стать фотографом, часовщиком – везде рабочая суббота. Даже в охранники хотел податься – тоже нельзя: надо в субботу топить печи и отвечать на телефонные звонки. Так я и маялся без работы. Наконец мать, благословенна ее память, предложила: «Попробуй где-нибудь учиться. Будешь в субботу слушать, а писать не будешь».

Я нашел подготовительные курсы для желающих поступить в вуз. Курсы эти были организованы при Химико-технологическом институте оборонной промышленности. Институт серьезный, и прием на курсы серьезный.

Дело было в марте, а занятия на курсах начинались в сентябре, да и принимали лишь тех, кто окончил девять классов средней школы. Я трижды был у секретаря, и она, в конце концов, не выдержала:

– Молодой человек, да поймите же – люди учатся с начала года, и то едва успевают! Программа рассчитана на десять месяцев. Осталось всего три. Какой смысл вас принимать?

То, что я опоздал к началу занятий – пришел в марте вместо сентября, было не единственной бедой. У меня ведь и справки об окончании девяти классов не было. Я не то что девяти – и одного класса не окончил. Кроме того, на курсах учились без отрыва от производства (тогдашний термин), то есть лишь рабочие с рекомендацией с места работы, а меня только что уволили... Шансы мои, похоже, равнялись нулю.

Оказалось, кстати, это был последний год, когда в институт разрешалось поступать без школьного аттестата, то есть с неполным средним образованием, – все решали вступительные экзамены. Потом

эту льготу отменили. Не используй я ее тогда, вуза бы мне не видать.

Как известно, все, что ни случается с человеком, – к лучшему. К родителям пришли гости, и меня попросили приготовить чай. Я поставил чайник на примус и вдруг плеснул керосином на руку и обжег. Три года я возился в мастерской с примусами, включал их и выключал – и никогда никаких происшествий. А тут – обжегся. С больной рукой много не наработаешь, и я понял так, что Сверху хотят, чтобы я предпринял новую попытку.

Я опять отправился на курсы. На сей раз посетителей принимал почему-то сам директор – национальный, как тогда выражались, кадр татарин Кадыров. Директор выслушал меня спокойно и повторил то же, что и секретарь:

– Прием закончен, занятия давно идут, и мы не можем принимать новых людей, когда даже те, кто занимается, не успевают пройти программу.

Я вижу – ничего сделать нельзя, и говорю:

– Ну, я пошел.

А рядом сидел секретарь комсомольской ячейки Майданчик, еврейский парень. Я знал его с виду, потому что он, собираясь жениться, приходил к моему отцу. Майданчик шепчет:

– Не уходи, подожди!

Я спрашиваю:

– Чего ждать?

Он тихо так:

– Б-г еще поможет.

– Как?

Он отвечает мне стихом из Торы:

– «Разве рука Б-га коротка?»

После таких слов я, конечно, не мог уйти. Сиджу, жду. Чего – и сам не знаю. Проходит пять минут. Я спрашиваю:

– А сейчас можно уйти?

Он говорит:

– Нет, жди еще.

Жду еще пять-шесть минут. Тут входит парень в военной шинели (Николай Бронников его звали – помнится все, как сейчас). Парень только что демобилизовался и тоже хотел поступить на курсы. Ему директор отказать не мог. Он тут же вызвал преподавателя математики, тот опросил нас обоих и говорит:

– Не возражаю.

Я стал аккуратно, каждый день, ходить на курсы. Но официально еще не был зачислен. Во-первых, у меня не было документа об окончании девяти классов. Во-вторых, меня уволили с работы. Если я скажу на своей бывшей работе, зачем мне справка и куда я поступаю, они только напортят. Как быть – понятия не имею.

Интересно, как Б-г все это уладил. Сперва с работой. Я пошел в отдел, где выдают справки. Там еще не знали, что меня выгнали, и я получил какую-то характеристику. К тому же я потом устроился в другое место, с условием в субботу не работать. В общем, статусу трудящегося я соответ-

ствовал. А потом как-то и со справкой о девяти классах уладилось – не то мне удалось ее раздобыть, не то без нее обошлось, забыли о ней.

Итак, я начал учиться. Ни свет, ни заря я вставал и шел на молитву. С восьми до пяти работал. Занятия на курсах начинались в полшестого. За полчаса надо было добраться в другой конец города. Не успев умыться, грязный, я бежал со всех ног и всё равно опаздывал. Занятия кончались в полдвенадцатого ночи. Домой приходил около двенадцати. Когда готовиться к занятиям? И не просто готовиться, а догонять, потому что я здорово отстал от остальных...

Пришла пора вступительных экзаменов – поступал я в Химикотехнологический. А время такое, во всем нехватка. Не хватало и учебников. Предстоял экзамен по истории партии – предмету очень и очень весомому, а обязательной для всех поступающих «Истории партии» Волина и Ингулова я ни разу в глаза не видал, хоть и окончил курсы. На всю группу был один такой учебник. Слушатели курсов как-то ухитрились конспектировать его по очереди, а у меня на это не было времени. Помню, я сказал Всевышнему: «Ты знаешь, что я хочу исполнить Твою волю. Я хочу работать так, чтобы соблюдать субботу. Я сделаю то, что я могу, Ты сделай то, что Ты можешь».

Короче, пришел я на экзамен, и опоздал на полчаса – почему, не помню. Меня отругали, но экзамен все-таки согласились принять: «Сидите, ждите». Тут я увидел у одного студента этот учебник и попросил его на несколько минут. Открываю и читаю: «седьмой съезд партии. Выступление Ленина о заключении мира с Германией. Выступление Бухарина о войне до победного конца». Я успел прочесть страницу, и меня вызвали. Тяну билет: «седьмой съезд партии. Выступления Ленина и Бухарина». И ничего больше не спросили.

Так прошел не один экзамен. Было много удивительных случаев.

Конкурс в институт был не малый, но я всё же попал. Было это в тридцать пятом году.

Среди студентов был еврей Максим Эпштейн, убежденный коммунист. Я хорошо знал его отца и никак не думал, что именно он, Максим, будет меня преследовать. Я ошибался.

Однажды в Йом-Кипур мы молились в каком-то тайном месте. Молился и Эпштейн-отец. Макс пришел вечером встречать отца и заметил меня. С этого все и началось.

Он стал ко мне приставать ужасно. Невозможно было выдержать. Каждый день он отлавливал меня в институте и мучил часами:

– Ты понимаешь, что ты позоришь честь советской власти перед всем миром? Молодой человек верит в Б-га, да еще ходит молиться? Да тебя надо подвести к двери института и дать такого пинка, чтобы ты дорогу сюда забыл! Слушай, может, это родители на тебя давят?..

И он предлагал мне место в общежитии, чтоб я ушел от родителей.

– Ты что думаешь? Ты умнее Ленина и Сталина? – кричал он, а люди вокруг слышали, оглядывались на нас...

Что я мог ему ответить? Жизнь мне стала не мила. Но Б-г помог: Макса исключили из партии «за примиренческое отношение к троцкизму»! И он уехал в Киев.

Прошло несколько лет. Я уже заканчивал университет, был известен как «подающий надежды» ученик академика Чеботарева. Макс приехал в Казань в гости, и мы случайно столкнулись на улице. Дело было в субботу. Стоим, разговариваем. Максим вынимает папиросу. Я говорю:

– Знаешь, Макс, не надо курить. Сегодня все-таки суббота.

– А-а, – махнул он рукой, – все равно я пропащий...

Но не закурил. Очень он изменился.

А позже, в пятьдесят третьем, я сидел в лагере с его братом.

Университет

Как случилось, что я окончил университет, хотя поступал в Химико-технологический институт? Дело в том, что, проучившись год, я убедился – инженеру-химику не избежать проблем с субботой...

Уже в институте лабораторные работы, как нарочно, приходились на субботу. А ведь в таких работах, что ни действие – то нарушение: и электроприборы надо включать, и химические опыты проводить, и записи вести...

Выход, однако, нашелся. Поскольку одну тему давали на двоих студентов, я всю практическую сторону опытов сваливал на напарника, а сам морочил голову руководителю, засыпая его теоретическими вопросами и не прикасаясь к приборам.

Я настолько вошел в роль дотошного исследователя, что преподаватель как-то спросил:

– Слушайте, а почему я никогда не вижу вашего напарника? Ему что – все ясно?

Преподаватель решил, что мои расспросы объясняются исключительным прилежанием. Представляете себе?

Разумеется, остальную неделю я добросовестно занимался, навостывая, что можно, но все больше сознавал, что эта специальность не для меня. И решил уйти.

Не желая терять год, я попробовал поступить сразу на второй курс физико-математического факультета Казанского университета. Мне предложили сдать шесть специальных предметов, которые я никогда прежде не учил, и, кроме того, экзамен по русскому языку.

В числе прочих был экзамен по физике, который принимал крупный ученый Евгений Константинович Завойский. Пройти весь материал я, конечно, не успел. Но удача сопутствовала мне. Экзаменатор задал вопрос как раз о том, что я знал. Кроме этого я не знал ничего. А меня больше ничего и не спросили.

То же повторилось на экзамене по аналитической геометрии – экзаменатор вышел, и я нашел в учебнике образец решения моей задачи. К следующему экзамену я успел подготовиться неплохо, только в

одном месте не смог разобраться. Кого я ни спрашивал – никто не знал ответа. Мне задали именно этот вопрос – и, уже отвечая, я догадался, в чем там дело.

Так, Благословен Всевышний, я был принят на второй курс, и, уже располагая согласием университета, стал хлопотать о переводе из института. Это тоже потребовало немалых усилий, – из Института оборонной промышленности просто так не отпускали. Тем не менее, получилось.

Субботы в университете

Если в году пятьдесят две субботы, то сколько раз в жизни я должен был изобрести повод не работать в этот день? Причем так исхитриться, чтобы не бросалось в глаза!

В университете я дальше ближайшей субботы не загадывал. Планировал только на одну субботу. Я так и просил: «Властелин мира, не поминай мои грехи и дай мне возможность соблюсти эту субботу». Почему я не просил больше? До следующей субботы, может случиться, – не дай Б-г! – меня не станет, или – дай Б-г! – Машиах придет.

У меня был целый набор уловок, позволявших избежать нарушения шабата. Я мазал, например, пальцы йодом и перевязывал руку: вызовут к доске – я нетрудоспособен. Понятно, каждый раз так не сделаешь, но раз в месяц – можно. Другой способ я построил на том, что дружил со слабыми студентами и помогал им в математике, а потому в аудитории сидел с ними рядом. И вот, когда на субботу выпадала письменная работа, я «случайно» забывал принести тетрадь и на вопрос преподавателя: «А вы почему не решаете?» – отвечал: «Мы вместе». Преподаватель был доволен, что я помогаю слабому.

А то вдруг – контрольная в субботу. Я моментально начинаю страдать от зубной боли и отпрашиваюсь в поликлинику. Врач справку может и не дать, но на этот час я выкрутился. И так каждый раз.

Я уже упоминал о Евгении Константиновиче Завойском, известном исследователе парамагнитного резонанса, он преподавал в университете физику. Мы были знакомы. И вот как-то в субботу он читал большую лекцию на факультете. Слушало его человек двести, не меньше. Я как раз сидел возле выключателя. Время зимнее, в три часа смеркается. Лектор просит: «Зильбер, включите, пожалуйста, свет». Я притворяюсь, что не слышу. Через пять минут он повторяет свою просьбу. И в третий раз! А я – не слышу, и все. На мое счастье, какая-то девушка подбежала и включила свет.

Я обычно хорошо ориентировался в учебном материале и никогда не отказывался выйти к доске. Но вот однажды профессор Николай Гурьевич Четаев вызвал меня к доске в субботу. Я говорю, что не готов. Он «подбадривает»: «Ничего, я вам помогу». Я тупо отказывался. Четыре раза в течение урока он пробовал извлечь меня к доске, но я так и не вышел. Приятного, сами понимаете, мало. К тому же смущало, что профессор может обидеться. Но он не обиделся.

Пришлось как-то бороться с собственной высокой успеваемостью. Из-за нее меня хотели сделать ленинским стипендиатом, а я боялся, если мой портрет появится на Доске почета, я стану заметнее, труднее будет соблюдать шабат. Поэтому я специально старался получить отметку пониже.

Один случай запомнился как действительно жуткий. Все студенты были комсомольцами. Отказаться от вступления в комсомол было небезопасно. Ко мне постоянно с этим приставали, а я отговаривался, мол, еще не готов, еще не всего Ленина знаю, не всего Маркса, и тому подобное. Так и дотянул до пятого курса.

Но вот уже близятся выпускные экзамены, а я все еще не комсомолец! Недопустимая вещь! Парторг факультета Голованов подошел ко мне с этим вопросом сам. Я и ему отвечаю: «Я еще не готов, готовлюсь».

Дело было в пятницу вечером. Вдруг всех зовут на собрание, поговорить об организации госэкзаменов. Обычный ритуал: выбирают председателя, потом секретаря... Голованов предлагает: секретарем – Зильбера. У меня сердце екнуло: «Догадался что ли? Хочет принудить писать в шабат?» Пробую отказаться – не выходит. Но если обнаружится, что я не пишу в субботу, выгонят из университета...

Начинается собрание. Люди выступают, вносят предложения по графику экзаменов: такую-то группу – в такой-то день, в такие-то часы. Я сижу, слушаю. Один студент, Генка Изотов, жуткий непоседа, до всего ему было дело, не вытерпел:

– Что же ты не пишешь?

– Подожди, еще запишу.

Через пять минут опять:

– Ну что же ты не пишешь? Мы же забудем! – и сам стал записывать.

У меня камень с души свалился. Раз он пишет, все в порядке.

Вечером на исходе субботы я пошел к нему домой и все переписал. Обошлось.

Три безоговорочные заповеди

Как-то сидели мы с отцом и говорили о заповедях, которые еврей не должен нарушать даже под угрозой смерти. Еврею категорически запрещены три вещи: отказ от веры в единого Б-га (например, переход в христианство), разврат и убийство. Эти запреты нужно соблюсти даже ценой жизни. Другие заповеди можно при определенных условиях нарушить. Так, если, скажем, под угрозой смерти заставляют работать в субботу, еврей должен уступить. Даже если заставляют работать только для нарушения субботы, но это происходит не публично, можно нарушить, если, отказываясь, рискуешь жизнью. Только если требуют нарушить какой-то закон Торы в присутствии как минимум десяти евреев – должно умереть, но не нарушить. Отречение же от Б-га, разврат и убийство запрещены безусловно.

Особенно подробно мы говорили о первом запрете – о запрещении отекаться от Б-га.

Отец сказал, что если еврея заставляют вступить в компартию или в комсомол (а одно из условий партийности – неверие во Все-вышнего), то надо идти на смерть, но не вступать. Когда-то, если сын крестился, родители сидели в трауре по нему как по умершему. По закону, сказал отец, нужно бы так сидеть и по тем, кто стал коммунистом.

Этот разговор происходил, помнится, где-то в сороковые годы. В тот день я виделся с Яковом Цацкисом (сейчас этого врача-уролога, ставшего мозлем, знает пол-Израиля, а тогда это был совсем молодой паренек) и, не знаю почему, под впечатлением, видно, пересказал ему разговор с отцом. Много лет спустя Цацкис рассказывал, что как раз в день нашей встречи они с братом должны были заполнить анкеты и подать заявление в комсомол. В те времена в комсомол вступали все подряд – как шутили советские люди, в добровольно-принудительном порядке. У них в вузе тоже всех записали. Остались только он и его брат. Им выдали анкеты и велели к вечеру сдать вместе с заявлением. После моего рассказа, он решил как-нибудь выкрутиться. Они с братом так и не вступили в комсомол.

По безумной советской логике, почти всех комсомольцев из их группы посадили. Все погибли. А Цацкиса с братом не тронули.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВОЙНА

Наука и религия

Я окончил университет первого января сорок первого года, и в тот же день пошел работать в школу в село Столбищи. С собой у меня было письмо от университетского профессора Николая Григорьевича Чеботарева, в котором он просил предоставить мне, помимо общего для всех выходного, еще один свободный день – для консультаций по поводу моей научной работы.

Тогда в Союзе была шестидневная рабочая неделя с выходным в воскресенье. Естественно, я выразил пожелание, чтобы мне освободили «конец недели», то есть, как вы понимаете, субботу, последний день перед общим выходным. Мне такой выходной предоставили. Правда, пользовался я им только полгода – во время войны меня дополнительного выходного лишили.

Профессор Чеботарев, специалист по высшей алгебре, был членом-корреспондентом Академии наук СССР, ученым с мировым именем. На ежегодных международных симпозиумах ему неизменно поручался главный – обзорный – доклад о сделанном в этой области за год. Профессор продолжал руководить моей научной работой и после того, как я окончил университет.

Думаю, профессор догадывался о настоящей причине моей просьбы насчет «дополнительного выходного», но виду не подавал. Он был очень порядочный человек.

Мы были очень близки с Николаем Григорьевичем. Профессор относился ко мне как к сыну, был со мной откровенен, говорил порой достаточно рискованные для того времени вещи, скажем, об официально пропагандируемом в Союзе мнимом приоритете русских во всех областях науки и техники. Или высмеивал знаменитого тогда Емельяна Ярославского, автора нелепой «Библии для верующих и неверующих», которого ему доводилось слышать. Возвращаясь с конференций, всегда рассказывал мне, что там было. Как-то, узнав, что моя мама больна, он достал ей синюю лампу (не знаю, пользуются ли этим средством сейчас, но тогда широко пользовались).

Профессор считал меня подходящим для себя аспирантом и в сорок третьем подал заявку, уверенный, что, сможет меня принять, но не получилось. Весь мой труд по сдаче экзаменов пропал даром. Я пришел домой и сказал: «Барух а-Шем! Не приняли, значит, так лучше». И действительно – вскоре мне понадобилось много свободного времени. Заболел отец, надо было за ним ухаживать – в любом случае я не смог бы учиться в аспирантуре.

Но профессор меня не забывал и, хотя, по житейским обстоятельствам, всё реже, мы продолжали встречаться до самой его смерти. Благодаря Чеботареву, я стал свидетелем удивительного случая.

Во время войны почти вся Академия наук эвакуировалась в Казань. В сорок третьем году отмечалось трехсотлетие со дня рождения Ньютона. Чеботарев был одним из докладчиков на торжественном заседании. По его ходатайству я получил специальный пропуск на заседание, хотя в зале сидели только сотрудники Академии.

Выступал Сергей Иванович Вавилов, президент Академии. Он произнес примерно следующее: «Волосы встают дыбом при мысли о гениальности Ньютона, который почти на три века предвосхитил теорию света» – и привел цитату из книги Ньютона «Математические начала натуральной философии». Я вздрогнул, услышав ее: «Вы не найдете во Вселенной места, где между любыми двумя точками не действовали бы силы: притяжения или отталкивания, электрические или химические... Я вижу в этом вездесущие Б-га».

Вы и представить не можете, что значило произнести такие слова в той стране и в то время! Докладчик легко мог бы избежать риска, опустив эти слова. Но он их произнес! А я слушал и думал: «Вся земля полна славы Его!» (Ишаяу, 6:3).

Со мной в университете с разницей в один курс, кажется, учились два еврея, Шифрин и Рудник. Году в сорок втором зазвали они меня в какую-то аудиторию и говорят:

– Исаак, мы тебя уважаем как талантливого ученого. Но нас удивляет, как это совмещается у тебя с религией? Просто непонятно.

И они сказали:

– О Б-ге не будем спорить – это дело философское. Не будем оспаривать даже исход из Египта. Этому уже больше трех тысяч лет. Нас тогда не было. Но в еврейской религии есть откровенные нелепости. Как же ты, человек науки, можешь это поддерживать?

Я спрашиваю:

– Ну что, например?

У одного из них, Рудника, был сосед, верующий литовский еврей Поташник. Рудник и говорит:

– Вот Поташник однажды сказал, что в еврейских книгах написано, будто евреи не вечно будут в изгнании. Б-г начнет собирать их, и придет время, они будут жить в своей стране. Это же ахинея! Пока, как мы видим, даже бешеных собак так не истребляют, как евреев. Неизвестно, будут ли евреи существовать через семьдесят-восемьдесят лет. А если и будут – кого выпустят из России? Тебя? Меня? И даже если вообразить, что за подписью Сталина будет объявлено, что все желающие евреи могут ехать в Палестину, – кто поедет? Я не поеду, он (показывает на Шифрина) не поедет – мы коммунисты до мозга костей. Как может разумный человек этому верить? И как ты можешь придерживаться религии, утверждающей такие нереальные вещи?

Надо заметить, что в начале разговора они предупредили:

– Мы ничего никому не сказали, но сами догадались, что ты верующий. Однажды ты не пришел на занятия. Мы проверили – это был Йом-Кипур...

Они вспомнили еще несколько случаев.

Отрицать я не мог, да и не хотел. Но и доверять чересчур – тоже не мог. Рудник, между прочим, возглавлял университетский СВБ. Тогда это сокращение было понятно каждому. Означало оно не что иное, как Союз воинствующих безбожников. Что я мог ему ответить? Да еще в сорок втором году! Я сказал:

– Да, написано, что евреи в этом изгнании не навечно. И что Б-г начнет собирать их постепенно, что мы еще вернемся в свою страну и что во главе народа будет стоять руководитель из семьи Давида. Многие вещи, записанные в Торе и Пророках, исполнились. Например: «Рассеет тебя Б-г между всеми народами от края света до края света...» Это же исполнилось! Кто бы мог подумать так во времена, когда это было предсказано? И так же, как исполнилось многое, что записано, так и это исполнится. Мы еще доживем до этого.

Так закончился наш разговор.

Много лет спустя, уже в Израиле, я узнал, что Шифрин погиб на фронте, а Рудник преподает в Ленинградском военном училище. Я дозвонился к нему из Иерусалима и говорил с ним по телефону полчаса. Жена смотрела на меня, как на сумасшедшего. Я обычно больше минуты-двух по телефону не говорю. А тут – полчаса. Рудник мне всё рассказывал и рассказывал, а я ни словом не напомнил ему о том нашем разговоре. В конце он меня попросил: «Мой сын в Израиле, помоги ему насчет языка».

И происходит следующее.

Сижу в очереди на прием к доктору Цацкису, договориться об обрезании для кого-то из новоприбывших. Поскольку в Союзе редким мальчикам делали обрезание на восьмой день, как требует Тора, некоторые репатрианты делали брит-милу в Израиле уже в таком возрасте, когда нужны были специальные, больничные, условия. Передо мной – молодой человек. Слышу фамилию: «Рудник».

Спрашиваю:

– Не из Ленинграда ли?

– Да, – отвечает.

Оказалось, сын Рудника в тот день делал обрезание своему сыну!

После полагается устраивать праздничную трапезу, но в больнице не совсем удобно. Я обычно приношу с собой печенье и прохладительные напитки, чтобы сказать специальное благословение. Но тут уж я побежал, принес рыбу, хлеб, вино и устроил большую трапезу...

Когда я вспоминаю, с каким уничтожающим презрением сами же евреи, особенно юное поколение, относились к верующим, я не могу не поражаться этому. Помню, мы с мамой зашли к ее подруге. Посидели, поговорили, мама собралась уходить. Хозяйка дома позвала дочь:

– У нас в гостях жена раввина. Иди попрощайся.

– Классовому врагу я руки не подам, – ответила девушка.

Девушка эта училась тогда на третьем курсе медицинского факультета. Она была уже врачом, когда ее мать умерла. Я помню, как она искала человека, который прочел бы «Каддиш» по матери (сделать это должен мужчина).

Однажды в Песах мы с отцом навестили его друга, и, увидев моего бородатого отца, пятнадцатилетний сын хозяина дома демонстративно извлек из кухонного ящика кусок хлеба (в Песах хлеб категорически запрещен) и сел за стол.

А год назад он сидел здесь, в Израиле за столом у меня.

Жаль мне отца – он не увидел конца коммунистов. Мама тоже, но она хоть внучке успела порадоваться.

Несмотря на то, что в аспирантуру поступить не удалось, я продолжал разрабатывать свою научную тему, время от времени консультируясь с профессором Чеботаревым. Иногда я вставал в пять утра и до молитвы (в Казани я всегда молился в миньяне) занимался математическими изысканиями. Я написал серьезную работу по теории чисел и мечтал, что когда-нибудь пошлю ее самому Эйнштейну.

Потом подумал: хорошо, допустим, я ее опубликую, получу кандидатскую или докторскую степень. Тогда из России уже ни за что не выехать! И так-то не просто вырваться, а ученому со степенью и того труднее. И я приказал себе (еще при жизни Чеботарева) не трогать больше эту тему. Думал, приеду в Израиль, займусь ею и опубликую.

И вот я в Израиле. Но – некогда! Хотя то, что я доказал, до сих пор еще никто не смог сделать. Но скажу честно: имей моя работа прикладное значение, будь она применима в медицине, скажем, или в оборонных целях, я бы постарался ее закончить. Или, если бы это могло привести евреев к Б-гу – я бы это обязательно сделал. А так, чисто теоретическая работа! Ну и что? Ну, будет еще один ученый еврей...

Война и Тора

Шла война. Страшная война. Я все чаще задумывался, что же станет с Торой. Найдутся ли среди нас лет через восемь-десять люди, разбирающиеся в Талмуде? Владеющие ивритом, арамейским языком? В России таких становится всё меньше: кто расстрелян, кто в лагерях пропадает. Польское еврейство истреблено под корень. Да, миньян на молитву собрать еще можно, но людей, знающих весь Талмуд, стыдно сказать, даже в огромной Москве было только двое.

Может, пришло время переводить Талмуд на русский язык? Пока еще есть знатоки, способные перевести (для этого только знания языков недостаточно).

Мог ли я знать, что живет на свете человек, который занимается спасением Торы в эти ужасные дни?! Я узнал об этом много лет спустя, уже в Израиле. А тогда я и не подозревал о деятельности рава Хаима Шмулевича.

Рав Шмулевич со своей ешивой «Мир» находился в Японии, куда им удалось выехать в начале войны. Ешива работала без перерыва, ни днем, ни ночью не было часа, чтобы кто-то не сидел за книгой. «Евреи горят, Тора горит, – говаривал рав. – Если мы не создадим замену, всё пропало». Те, кто был тогда с равом Шмулевичем в ешиве «Мир», рассказывали, что сам он не спал сутками. Такими усилиями они создали учителей, которые потом обучали молодежь и в США, и здесь, в Израиле. Мы приехали сюда, и мой сын Бенцион еще удостоился учиться у рава Шмулевича.

Скромность этого человека была необыкновенна. Он и сейчас крупнейший духовный авторитет. А в то время был главным министром, так сказать, по делам Торы! Но сам будто этого не замечал.

Много духовных ценностей спас он для будущего! Рассказывали, что в Японии, рава вызвали в тамошние органы безопасности и задавали весьма «острые» вопросы.

– Вы и ваши люди живете здесь. На какие средства вы существуете? Кто вам дает деньги и сколько?

А теперь подумайте: как на такой вопрос можно ответить? Учтите, что во время войны запрещалось переводить деньги из стран-противников, а в ешиву деньги попадали из Америки, которая находилась с Японией в состоянии войны.

Рава вызывали на эти «собеседования» не один раз. Рассказывали, что перед тем, как идти туда, он молился: «Рибоно шель олам! Я готов принять на себя все четыре вида казни (имеются в виду четыре вида смертной казни, предписываемые Торой за различные преступления: удушение, отсечение головы, заливание в горло расплавленного свинца, забрасывание камнями) – только бы не стать доносчиком и только бы мои сыновья и зятья были знатоками Торы». И Б-г услышал молитву рава.

Как я замерзал

Работая в Столбищах, я всю неделю жил на селе, а субботы иногда проводил дома, в Казани. Как-то зимой сорок второго я возвращался из Казани в Столбищи. Вышел я в пять утра, а так как хлеб получал «по месту жительства» в Столбищах, то был очень голоден. Мороз страшный, минус сорок два. И, что нечасто при таком морозе, валит снег. Все двадцать километров до Столбищ я бежал как сумасшедший и добежал за три часа. В восемь я был уже в школе. Но меня ждало разочарование. Пекарня в Столбищах в тот день хлеба не выпекла, потому что из-за мороза не привезли дров.

Учеников нет. Как будто бы можно разойтись по домам. Но советские власти не любят, чтобы учителя «простаивали». Нам дали задание: пройти по деревням и записать детей, которые должны пойти в будущем году в школу. Мне досталось село Большие Кабаны, в пяти километрах от Столбищ.

По-прежнему голодный, иду в Большие Кабаны. Обычно туда вела тропинка, но сейчас ее замело. Я потерял тропу и сбился с пути. Иду по глубокому, выше колен рыхлому снегу. Приходится прыгать. Я прыгаю, прыгаю, прыгаю. Двигаться все труднее. Тут еще поднялся невыносимый ветер. Чувствую – силы на исходе. Меня вдруг одолело страстное желание (за всю жизнь по сегодняшний день не испытывал такого непреодолимого желания!) – прилечь отдохнуть хотя бы на минутку. Но я вспомнил, что так замерзают, и стал молиться. Я просил Б-га пожалеть моих родителей. И я увидел, что есть Тот, Кто слышит молитву. Сунул я руку в карман и чувствую: что-то лежит, в бумагу завернуто. Вытаскиваю – кусочек халвы! Мы три года не то что не ели – не видели ни сливочного масла, ни сахара. А тут вдруг халва! Откуда? Ничего не понимаю. (Оказалось, маме накануне удалось купить кусочек халвы у соседа, и она положила мне в карман эту единственную в доме еду). Я съел кусочек халвы, и мне сразу стало лучше. Я решил бороться до конца. И прыгал и прыгал из последних сил и чудом опять попал на тропинку. Дошел до деревни, переписал всех детей и вернулся назад.

Вечером опять хлеба не было. И на завтра тоже не было хлеба. Лишь под вечер второго дня привезли дрова и затопили печи в пекарне. Я взял хлеб за много дней вперед – два килограмма (в войну хлеб выдавали по карточкам, на которых указывались даты, вперед можно было взять, а задним числом – нет: не успел вовремя – карточка пропала; и нормы были разные: работающим – чуть больше, так называемым иждивенцам – меньше). Съел все сразу – без соли, без воды, без ничего – и остался голодным.

Голод

Трудно было с хлебом в те годы, в сорок втором – сорок третьем. Тяжело вспоминать. Люди умирали от голода каждый день. Занимали очередь за хлебом с вечера и писали номер на руках; помню, как-то у меня был тысяча пятьсот какой-то.

Я стоял, сколько мог, потом уходил на работу, а на мое место вставала мама. Она в семье больше всех стояла в очередях, держала книжечку Теилим в руке и ждала хлеба. Утром, когда открывался магазин, в толпе не раз насмерть давили людей. Так получали хлеб.

Как-то мама вернулась без хлеба. Когда подошла ее очередь, одна из эвакуированных, еврейка, закричала, что мама не стояла в очереди. Люди говорили, что стояла, но та женщина все-таки маму силой вытолкала. И мы остались в этот день без хлеба. А кроме хлеба, у нас вообще ничего не было, изредка – картошка. Она денег стоила.

Минуло недели две. Пришла какая-то женщина просить милостыню, и мама ей вынесла кусок хлеба. Женщина взяла хлеб, заплакала и ушла. Мама сказала мне: «Это та самая, что вытолкала меня из очереди». Они узнали друг друга.

Уличный патруль

На призывной пункт меня вызывали не один раз. И сами же не брали в армию. Молодость у меня, что ни говори, была не слишком легкая: с четырнадцати до семнадцати лет, как раз в годы интенсивного роста, я работал, да не по шесть, а по двенадцать часов в день. И чуть не после каждой субботы грозили увольнением. Я был сильно истощен, и нервно, и физически. Сейчас-то я относительно здоров, а тогда весь подергивался и был не пригоден к службе и по нервным, и по глазным болезням.

Война в самом разгаре, положение тяжелое. Требовались люди. Их ловили прямо на улице и отправляли на фронт. Как-то в сорок третьем, в субботу, останавливает меня милиционер:

– Документы!

– Нет документов.

Он записывает имя, адрес и объявляет:

– Ты мобилизован. Полчаса на сборы.

А дело, напоминаю, было в субботу.

Я прихожу домой и говорю:

– Папа, меня забирают в армию. Дали полчаса на сборы.

Отец спрашивает:

– Ты недельную главу уже всю прочитал?

Я говорю:

– Нет.

– Что же ты сидишь? Там же у тебя не будет Хумаша (Пятикнижия). Садись пока и дочитай до конца.

Я сел читать.

Но с властями шутить нельзя. Я дочитал и пошел к ним. И опять по какой-то причине отложили мою отправку. Тут меня взяли преподавать в техникум и дали броню. Но до сих пор помню, как спокойно отец сказал: «Ты ведь раздел не прочитал, а там у тебя не будет Хумаша. Так прочитай сейчас».

Еще о встречах на улице

В том же сорок втором году в Суккот останавливает меня на улице молодой человек и спрашивает:

– Вы еврей?

– Да.

– Скажите, есть сукка в Казани?

Я веду его. По дороге рассказывает: он студент Московского университета, мобилизован и пока служит здесь, в Казани. Отлучился, не спросив разрешения, ищет сукку. Я его привел в сукку, он поел.

А то встретила одна москвичка:

– Не знаете, когда в этом году Йом-Кипур? Когда надо начинать поститься?

И со слезами добавила:

– Это всё, что я знаю о еврействе.

Уже после моей женитьбы появилась эвакуированная женщина и у нас в доме. Звали ее Маша. Тихая религиозная старушка. Все ее близкие погибли, она ходила по домам, просила подаяние. Я предложил Гите взять ее к нам, и Маша стала жить с нами. Она помогала растить и воспитывать детей. Вообще много для нас сделала. И я, и дети многим ей обязаны. И по сей день я отмечаю машин йорцайт (годовщину смерти).

Случай этот не исключительный. Война лишала людей дома и близких и порой приводила под чужой кров, где они находили новую семью.

Раби Ицхак Сандок

В начале войны у одного казанского жителя – не еврея, по фамилии Малахов, наша община арендовала помещение. Мы устроили там что-то вроде синагоги и молились. Каждый вечер мы с отцом приходили туда и с девяти до одиннадцати учили в уголке Тору. А на скамьях лежали больные люди, беженцы из разных городов, которым негде было ночевать, кроме как в синагоге. И все голодные. Мы бы дали им хлеба, но у самих не было.

В тот вечер в синагоге находились одиннадцать беженцев, все лежачие больные. Где-то после десяти входит высокий худой человек, берет сидур (молитвенник) и читает вечернюю молитву. Помолвившись, незнакомец оглядывается вокруг и выходит. Минут через двадцать возвращается с буханкой хлеба в руках. Килограмма два хлеба, не меньше. Целое состояние по тем временам!

Подходит к одному лежащему, протягивает ему буханку и пятьдесят рублей (столько стоил тогда килограмм картошки). Уходит, опять возвращается через двадцать минут – и второму дает то же самое. И так – всем. Кто это был? Может, пророк Элияу? Он приходил и в другие вечера. Мы не знали, что и думать, а спрашивать было не принято. Любопытными были только доносчики.

Незадолго до Песах этот человек пришел к нам домой и немного рассказал о себе. Исаак Зусманович Сандок (мы звали его раби Ицхак) оказался родом из белорусского города Могилева. Он занимал там какой-то пост, и когда началась война, ему дали машину вывозить людей. Он вывез, кого смог, а свою семью не успел: жену и троих детей убили немцы. И вот теперь он один, и ему негде провести Песах.

Нам стало неловко: у нас просто не было еды.

Он говорит:

– Не беспокойтесь, еду я принесу.

И принес мацы и немного мяса и провел у нас первый седер. Ждем его назавтра утром – нет. Ждем на второй седер – опять не пришел. Мы стали беспокоиться – не случилось ли чего?

Потом узнали. Работая мельником, раби Ицхак собирал мучную пыль, которая браковалась и в дело не шла. Пыли было много, и он выпекал из нее хлеб, строго по еврейским правилам и отделяя халу (долю от теста). Этот хлеб раби Ицхак раздавал людям.

Многие богатели на мельничном деле, но раби Ицхак остался бедняком – всё раздавал. Разузнав, кто нуждается, он так же, как к нам, зашел еще в четыре-пять мест: приносил еду. У нас он был на первом седере, у кого-то – утром, у кого-то – во второй день праздника.

Это был необыкновенный человек. Каждый год двадцать четвертого ава я отмечаю его йорцайт.

Я перед ним страшно виноват и не могу ничего поправить. Мне следовало послушаться матери. Раби Ицхаку к концу войны было под пятьдесят, и мы подумали: может, он еще женится и у него будут дети. Незамужних еврейских женщин в Казани было очень мало. С одной религиозной женщиной лет тридцати шести я предложил раби Ицхаку встретиться.

Они встретились раза два-три. Он молчит. Мама сказала:

– Ицхак, раз он молчит, не надо уговаривать. При сватовстве не уговаривают!

Но я боялся, что через год-два ему уже поздно будет жениться. А он ценил мое мнение. Вскоре они поженились... Этот брак не был счастливым. Новая жена Сандока несколько лет болела и умерла. Детей у них не было. Раби Ицхак так и остался бездетным. Может, не уговори я, его жизнь сложилась бы иначе.

Сбывшийся сон

Не помню точно, когда, но незадолго до моей женитьбы, приснился мне памятный сон. Во сне я с удивительной ясностью ощущал себя в Иерусалиме: я шел по святому городу, и в ушах у меня звучали слова молитвы, которую евреи уже две тысячи лет читают в праздники, – «Ва-авиэну ле-Цион» («...и приведи нас в Сион, город Твой, с песнями и в Иерусалим, место Храма Твоего, с вечной радостью»). Напев молитвы был мне незнаком, он повторился несколько раз, и я до сих пор могу его напеть... Уже здесь, в Иерусалиме.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. СУДЬБЫ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Холод

Я работал в Финансово-экономическом институте. Нам, преподавателям выделили участок в лесу, чтобы мы сами обеспечили себя дровами на зиму. Я научился пилить, определять, куда дерево будет падать, напилит два кубометра, и уплатил человеку, ответственному за доставку дров. Он был еврей.

Всем, ну абсолютно всем, дрова доставили, а мне – нет. Пошел я к этому ответственному домой. Прихожу, а его жена, русская женщина, сообщает, что он сбежал с деньгами, а куда – она якобы не знает.

Так или иначе, я ходил сто раз, но ничего не помогло. Мы остались без отопления.

История эта обернулась для нас страшно.

Была зима сорок второго. В нашей комнате было так холодно, что вода в стакане замерзала. А воду, надо сказать, мы брали в уличной колонке, и отец часами простаивал в очереди.

Мы с отцом занимались так: руки в рукавицах, пальто на голову. (Эта привычка долго у меня держалась — многие годы спустя, сидя зимой за книгой, я укрывался с головой пальто.)

В комнатушку, где мы вот так сидели приходили к отцу люди с разными галахическими вопросами (галаха – свод законов, регулирующих поведение еврея и устанавливающих правила выполнения заповедей), а к матери приходили женщины. Особенно усердно мои родители занимались восстановлением мира между мужьями и женами. У некоторых пар дело шло туго, и все-таки родители их мирили.

Как мы жили? Не спрашивайте! Как на беду, зима выдалась особенно холодная – случалось, температура падала ниже сорока, мы же не топили ни разу. Отец простудился и заболел туберкулезом позвоночника. Холод – это страшнее, чем голод!

Отцу надо было сделать какой-то укол. Было два специалиста. Один жил недалеко, а другой – очень не близко. Я знал, что второй врач надежнее, но к нему добирались только на такси, а денег не было. Я взял золотые часы отца и скатерть, и пошел по людям.

Но никто не купил и не взял в залог. И тут я совершил непоправимую ошибку: нужно было забыть про гордость и просить милостыню. Но я этого не сделал.

Человек, которому рекомендовали такой же укол, как отцу, поехал к дальнему профессору и прожил еще десять лет, а я пошел с отцом к ближнему, и отец через три недели умер. Раздобудь я деньги на такси, может, отец прожил бы еще десять лет...

Эта вина мучает меня до сих пор. Он умер молодым, ему не было шестидесяти.

В Талмуде описано несколько случаев, когда к умирающему приходили люди, которых уже нет на этом свете. Талмуд говорит, что раби Иоханан бен-Закай просил перед смертью: «Несите скорее стул! Пришел царь Хизкияу!»

За несколько минут до смерти мой отец увидел своего отца... Он был в полном сознании. За всю свою жизнь ни разу не сказал он того, в чем не был убежден. Он лежал в постели, разговаривал со мной, и вдруг прервал разговор: «Ой, реб Ицэле пришел!» – и умер.

О могиле отца

Отец умер в сорок четвертом году.

Вместе с еще одним человеком я пошел на кладбище искать место для могилы. Не следует хоронить праведника рядом с тем, кто нарушал законы. Мы искали место рядом с могилой такого человека, кто хоть что-то соблюдал: субботу или кашрут, – и не нашли.

Трижды обошли кладбище. Только одно место могло бы подойти отцу – узкое пространство между двумя склепами над могилами рава Кассиля (он умер в 1890 г.; кстати, писатель Лев Кассиль – его внук) и некоего Персона, о котором говорили, что он был очень знающий, почти как рав, и очень добрый человек.

Я спросил об этом месте в погребальном обществе, и мне рассказали такую историю.

Это место приобрел для себя раби Авраам Цимхес, построивший в Казани трехэтажную синагогу еще до первой мировой войны. Советская власть всё у него отняла. Бедняком он уехал в Ленинград и умер там. Затем, уплатив пятнадцать рублей, это место записал на себя габай (управляющий делами синагоги). Между тем скончался брат Цимхеса, которого я хорошо помню. Его любимым присловьем было: «Что знаю, стараюсь соблюдать. Если чего не соблюдаю, потому что не знаю». Решили, он достоин быть похороненным на месте, что габай записал на себя. Стали рыть могилу – и ничего не получается. Не знаю, что уж там было – зима, бетон, камни... – во всяком случае, могильщики два часа долбили, вынули чуть-чуть земли и отказались.

Чтоб похоронить отца между равом Кассилем и Персоном, нужно было согласие габая. Я ишу его — он в больнице. Прихожу, рассказываю, что отец мой умер и негде его похоронить... «Уступаю участок от всей души, – говорит габай, – я себе другое место найду».

И написал бумагу, что продает мне участок, и взял в уплату пятнадцать рублей.

Пришли на кладбище, я говорю: «Копайте». И вырыли сразу.

Цадик и отец коммуниста

Когда я думаю о похоронах отца, на память приходят удивительные истории.

В тридцатые годы в Белоруссии один цадик-раввин тайно обучал детей Торе. Как-то пришел к нему портной, у которого сын служил в НКВД, и говорит:

– Уезжайте скорее, вам грозит арест (это он у сына узнал).

Раввин спрашивает:

– Чем я могу вас отблагодарить?

Тот отвечает:

– Пусть через сто двадцать лет (сто двадцать лет у евреев – символ долголетия) меня похоронят рядом с вами.

– Согласен, – говорит раввин.

И спешно уехал в другой город.

Через несколько лет началась вторая мировая война. В городе оказалась масса эвакуированных.

В годы войны цадик умер, его похоронили. Вскоре умер еще один еврей. Похоронили и его. Дело было зимой – мороз, метель, никто и не разобрался, в каком месте ему отвели могилу.

А когда сошел снег, хоронившие пришли в смятение: они похоронили неизвестного человека рядом с цадиком! Хотели даже поститься по этому поводу. А спустя время оказалось, что неизвестный – тот самый портной, который спас рава.

Молитва польского солдата

В тридцать девятом – сороковом году в Россию хлынули беженцы-евреи из Польши.

Когда началась война, в Россию бежали (кто успел) оставшиеся в советской зоне оккупации евреи. Кто-то из них попал в лагерь и тюрьмы, кто-то – в разные города в качестве эвакуированных.

Меня познакомили с таким беженцем, талантливым парнем с медицинского факультета Казанского университета. Он рассказывал, что вырос в семье верующих, что у деда было десять сыновей и на Рош а-Шана и Йом-Кипур в доме собирался свой миньян. Но к тому времени, как мы познакомились, он абсолютно ничем еврейским не интересовался.

В сорок третьем году парень этот пришел прощаться – уходил на фронт. Я пожелал ему вернуться живым-здоровым и с победой.

И вот, возвращаясь я в субботу домой — как сейчас помню, была глава «Мишпатим» (каждой неделе года соответствует определенная глава из Торы), а мама говорит:

– Польский студент забегал утром, спрашивал, когда Рош-ходеш адар (начало месяца адар). Я сказала, что сегодня. Он спросил, есть ли где-нибудь миньян и где именно. Я дала ему адрес, и он умчался как сумасшедший.

Я в недоумении. Парень за несколько лет ни разу не проявил интереса даже к праздникам, а тут вдруг заинтересовался Рош-ходеш адар... И как он, уйдя на фронт, вновь появился в городе?

Прихожу вечером на минху (послеполуденную молитву) – он уже там. И не просто молится, а ведет молитву как «шалиах цибур» (буквально – «посланец общины») и «баал коре» (читающий вслух свиток Торы). Когда я входил, он как раз приступал к чтению Торы (я еще помню, какую ошибку он сделал).

Я его ни о чем не спросил, такой у меня обычай. Он сам рассказал, что произошло.

Новобранцев привезли было на передовую, но потом по каким-то причинам отослали обратно. Ночью в эшелоне приходит к нему во сне отец и говорит:

– Сын мой, почему ты не читаешь «Кадиш» за мою душу? Сегодня же йорцайт!

(Он знал, когда и как отца убили, он видел сам. Я не спрашивал, как он спасся.)

Парень во сне отвечает:

– Папа, где миньян («Кадиш» читают в миньяне), где «Кадиш» и где я сам?

Отец говорит:

– Миньян – это моя забота. Ты скажи: прочтешь или нет?

– Прочту.

Отец говорит:

– Будет у тебя миньян.

Ночь. Поезд идет. Куда – неизвестно. Что их ждет – тоже. Солдаты поют свои песни, ему вспоминаются еврейские мелодии...

На рассвете поезд остановился, оказалось, они вернулись в Казань. Парень вспомнил меня и пришел спросить про миньян. А про Рош-ходеш адар спросил потому, что это был день смерти его отца. Оказалось, что сегодня как раз Рош-ходеш, и он сразу побежал молиться.

Многие польские евреи, попав в Россию, переставали соблюдать заповеди. Как можно здесь соблюдать что-то? Немец сжигает евреев во всей Европе. Сбежали в Россию, а тут – снова гонение на иудаизм. Казалось, настал конец. Но когда они попадали в наш дом, видели евреев, которые соблюдают все заповеди, это их возвращало к соблюдению закона. Многие потом говорили мне: «Да знаешь ли ты, какой большой талмид-хахам (мудрец) твой отец?» Не меньшей поддержкой была для них мама, которая читала Теилим, стоя за хлебом в многочасовых очередях на морозе, а когда я приходил сменить ее, отсылала домой: «Если есть время, иди занимайся Торой».

Инженер Сафьян

Борис Соломонович Сафьян работал на крупном заводе точных оптических приборов в двадцати километрах от Казани. Он был большим человеком и на заводе, и в городской партийной организации (помню предвыборные плакаты с его портретом на городских афишных тумбах; не помню, правда, куда выбирали). Но Борис Соломонович был член партии только формально, на самом же деле верил в Б-га и соблюдал заповеди.

Во время войны он устроил на работу и обеспечил жильем сорок эвакуированных евреев. Сорок! Вы представляете себе, что такое устроить на работу, – спасти от голодной смерти сорок человек?

В субботу Сафьян всегда вертелся по цехам, не работая и не подписывая бумаг. Один из спасенных им евреев, Шарипкин, рассказал мне такой случай.

Завод нуждался в каком-то редком сплаве, и по этому поводу пригласили представителя из Москвы. В пятницу вечером началось заседание «на высоком уровне». От завода речь держал Сафьян. Он сумел доказать, что требуемый сплав позволит резко увеличить выпуск продукции. Представитель из Москвы кивнул:

– Ладно. Пишите заявку – подпишу.

Шарипкин замер. Как Сафьян выкрутится? Он же не пишет в субботу!

Борис Соломонович почтительно возразил:

– Я думаю, вы лучше меня сформулируете.

Москвич нахмурился:

– Что за чушь! Ваша заявка – вы и пишете.

Сафьян не смутился:

– Нет, вам виднее, как аргументировать. Лучше вы.

Препирательство продолжалось достаточно долго. Кончилось тем, что москвич сдался. Сам написал и подписал.

У советской власти и так-то пререкания были не в ходу, а в военное время – и подавно. Такое надо уметь выдержать.

Чего только Сафьян не делал! Приезжал в Казань, привозил вещи из дому, просил меня дать кому-нибудь на продажу и раздать деньги голодным (я и познакомился с ним, когда он пришел к нам с такой просьбой). Сам он, понятно, делать такое не мог – как объяснишь, зачем это хорошо оплачиваемому инженеру?

Последнее, что мама делала перед смертью – в холодной воде кошеровала мясо для Сафьяна.

Она умерла в сорок девятом году.

Ни разу я не видел во сне отца и мать вместе. Но когда я сидел в тюрьме, они пришли вместе. Назавтра был суд.

ГЛАВА ПЯТАЯ. ЖЕНИТЬБА

Мой шадхан рав Мордехай Дубин

Моим шадханом (сватом) был раби Мордехай Дубин.

До войны Дубин был депутатом Латвийского Сейма. На этом посту он делал много добра. Рассказывали, что очередь на прием к нему тянулась на пол-улицы, и он никому не отказывал в помощи. Потом, когда Прибалтика была присоединена к СССР и рав Мордехай увидел, что вытворяют коммунисты, он говорил, что об одном жалеет – что вызволял евреев-коммунистов из тюрем, когда об этом его просили их родители... Благодаря усилиям Дубина в тридцатые годы трем тысячам евреев удалось уехать из Польши в Америку. Это он, приехав в Советскую Россию как представитель Латвии, вытащил Любавичского ребе из ленинградской тюрьмы и увез в Ригу, буквально обменяв его на торговый договор, один из первых договоров Советской России с иностранным государством.

В первый раз Мордехая Дубина посадили, когда русские вошли в Латвию. Он просидел в тюрьме год и вышел в лаптях, еле живой. Перед войной рав оказался в Москве, а когда началась эвакуация, попал в Куйбышев. Поиски кошерного дома привели рава Дубина в дом родителей Гиты, моей будущей жены.

Рав помог Гите и ее сестрам разобраться, что происходит, объяснил, что за «личности» Ленин и Сталин, которых вокруг боготворили.

Депутат Латвийского сейма, личный друг Рузвельта, Дубин знал многое. Впервые он побывал в России в восемнадцатом году: народ гол и бос, с красными бантами и в красных косынках – все равны. Приехав году в двадцать четвертом, он увидел уже другую картину: один – в отрепьях, другой – в меховой шубе. Динамика революции.

В те годы каждую ночь шли аресты. Семья Гиты жила в многоквартирном доме, и когда ночью в длинном коридоре раздавались шаги, все с замиранием сердца ждали, в какую дверь постучат. Однажды постучали в их дверь. Когда открыли, Дубин побелел. Но энкаведисты «пошутили»: «Не бойся, не за тобой. Еще не твоя очередь». Они пришли за другим человеком и ошиблись дверью.

Война кончилась, и рав Мордехай вернулся в Москву. Политикой он не занимался, целые дни проводил в синагоге. Тем не менее, «врага народа» опять схватили. В Тульской тюрьме рав Дубин и умер. Тюремный врач совершила великую мицву: вызвала евреев с воли и разрешила взять его тело.

Рава Мордехая похоронили в Туле. Большой награды он удостоился – люди знают, где его могила.

Неожиданные неприятности

За несколько недель до свадьбы я приехал в Куйбышев. В отличие от Казани, где синагога была запрещена и молились тайно, в Куйбышеве она была официально открыта. Я и в Казани каждый день посещал тайный молебельный дом, что уж говорить про Куйбышев, где синагога действовала и где меня, как я полагал, никто не знает!

Раби Мордехай Дубин постоянно находился там, сидя над Талмудом. Я занимался вместе с ним.

Свадьба была назначена на вторник. В четверг предыдущей недели переходил я улицу. Вдруг ко мне подходит милиционер:

– Гражданин, вы нарушили правила уличного движения.

Я удивился, но даю не то полтинник, не то рубль – штраф. Он качает головой:

– Нет, пройдемте.

Я иду. Пришли, а на двери табличка: СМЕРШ.

Ввели меня в комнату, посадили за стол. Допрашивали трое. Били по лицу изо всей силы. Очки сломали, чуть не выбили зубы. Очень сильно били.

– Что у тебя за дела, – как они выразились, – с фон Дубиным?

Я объясняю, что приехал из Казани, что там нет синагоги, а здесь есть. И хотя я учитель, но решил зайти в синагогу и там познакомился с Дубинным.

Тут они показывают мне номер телефона:

– А это что?

Как он у них оказался – ума не приложу! Это Дубин попросил меня заказать телефонный разговор с сестрой в Москве. Я и заказал.

Короче, меня избили, отняли все, что было: записи, документы – и бросили в камеру.

Понятное дело, кинулись читать мои записи. Но там разобраться непросто: пишу я то на одной стороне листа, то на другой, то на полях, да к тому же на иврите. Назавтра опять приводят к следователям:

– Ты регулярно организуешь встречи с человеком, обозначенным в записях как «НТТИ».

Я понял, что они, вероятно, вызвали доносчика из синагоги, и он им прочел ивритский текст.

– «НТТИ», – объяснил я, – на иврите «натати», означает «я дал». У евреев принято каждый день давать деньги для нуждающихся. Можете проверить – везде после «НТТИ» стоит цифра: полтинник, или там тридцать копеек, или рубль.

Хорошо. С этим уладили. Тогда показывают другую запись на полях, вокруг текста. Тут я немного растерялся – чувствую: этого мне им никак не объяснить.

Надо сказать, что в Казани в синагоге было очень мало книг, но в Куйбышеве – уму непостижимо, сколько! Даже здесь, в иерусалимских синагогах, нет такого. Как они туда попали? Через беженцев из Литвы, из Латвии. Они умерли, их книги сдали в синагогу, и там оказалось много редких книг и рукописей.

Я нашел книгу, которой в Казани не видел. Написал ее раби Акива Эйгер (великий мудрец, живший в Германии примерно двести лет назад).

Несколько тем из книги меня особенно заинтересовали, и я их конспектировал. Касались они расстояния, на которое разрешено удалиться от населенного пункта в субботу. Раби Эйгер обсуждает, как следует производить измерения, когда натыкаешься на гору. Об этих-то записях меня сейчас и спрашивали.

Я стал добросовестно объяснять. Поскольку раби Акива Эйгер задает вопросы к комментариям Раши и Тосафот, то следует объяснить Мишну (она содержит исходное положение), потом Гемару (трактовки мудрецов эпохи Талмуда), потом надо рассказать, что говорит на данную тему Раши, потом что сообщают Тосафот, потом сам вопрос раби Эйгера. Я говорил часа полтора, а то и два.

Ручаюсь вам, они даже Мишну не поняли. Так и остались при убеждении, что я их обманываю. А потом позвонили куда-то. Слышу – речь обо мне: обсуждают, сколько мне дать – пятнадцать лет или только десять...

Это у них прием такой – запугать человека, чтобы добиться признания.

Наступила пятница. Я думал, что будет с моей матерью, которая уже сидит на пароходе, и пароход должен прибыть в Куйбышев в воскресенье или понедельник.

Мать едет на праздник, на свадьбу сына – и найдет его в тюрьме! А у нее порок сердца, и только что исполнился год со дня смерти отца. И я начинаю молиться Всевышнему, чтобы Он пожалел мою мать.

До сих пор не знаю, как и почему, но в пятницу под вечер меня неожиданно выпустили. Я еще успел забежать в синагогу на вечернюю молитву.

Свадьба состоялась вовремя.

Кстати. Я решил не рассказывать маме эту историю, но когда после свадьбы вернулся в Казань, наши соседки, которые всегда заходили к маме, неожиданно спросили:

– Ицхак, что с тобой было в четверг без четверти пять?

– А что?

Они говорят:

– Мы сидели у вас, разговаривали. Вдруг мама вскакивает и начинает бегать по комнате: «Ой, нехорошо с Ицхаком, нехорошо! Б-г знает, что будет!»

Тут я не выдержал и все рассказал.

Хупа

Свадьба моя состоялась в сорок пятом году, четырнадцатого эула. Реб Мордехай спросил, не боюсь ли я ставить хупу на улице: люди могут увидеть, а я только из-под ареста!

Надо вам сказать, что у евреев бракосочетание совершается под свадебным балдахинем (хупой), причем, у ашкеназим (европейских евреев) балдахин принято ставить под открытым небом. Объясняют, что хупа под открытым небом символизирует пожелание: пусть потомство будет многочисленным, как звезды в небе.

Я говорю:

– Только на улице.

Так и сделали.

До сих пор помню речь реб Мордехая Дубина на этой свадьбе. Он привел слова из Талмуда:

– Шел путник по пустыне, и путь его был труден. Но вот набрел он на плодое дерево. Стоит оно у чистого родника, и плоды его освежают. Поел путник плодов, напился воды и обращается к дереву: «Дерево-дерево, какое тебе дать благословение? Чтобы ты росло у воды – ты и так растешь у воды. Чтоб плоды были хороши – они и так хороши. Я тебе дам благословение, чтобы всё, что от тебя произрастет, обитало в таких же условиях».

Этого рав мне и пожелал: хороших детей, верных вере отцов. Что скажете? По-моему, сбылось.

Я должен был выйти на работу спустя три дня после свадьбы – ровно столько занимала дорога парходом от Куйбышева до Казани, а это был самый дешевый вид транспорта. Если я не сяду на парход в одиннадцать вечера в день свадьбы, то опоздаю и попаду под суд.

Сразу после свадьбы я уехал. Без жены, разумеется.

Добиться, чтобы Гиту отпустили с работы для переезда ко мне в Казань, оказалось очень непросто. Помогли связи рава Дубина: он был знаком со Шломо Вовси – Соломоном Михоэлсом, ведущим актером и режиссером Еврейского театра, возглавлявшим в то время еще и Еврейский антифашистский комитет. Спустя неполный год после свадьбы ее отпустили. А в сорок восьмом году Михоэлс по приказу Сталина был убит, и убийство выдали за «гибель в автомобильной катастрофе».

ГЛАВА ШЕСТАЯ. СЕМЬЯ МОЕЙ ЖЕНЫ

Дом Зайдманов

С моим тестем раби Биньямином-Ицхаком Зайдманом я не имел чести познакомиться лично. Он сидел, когда мы с его старшей дочерью поженились, а когда он вышел на поселение – сидел я. Когда я вышел, он находился в ссылке и умер как раз, когда ссылка подошла к концу. Так мы и не успели встретиться.

Я много слышал о раби Биньямине от людей, чьим отзывам можно доверять. Он родился в Брест-Литовске, остался сиротой и попал в Самару (Куйбышев). Началась революция, и границу закрыли. Так он навсегда был оторван от своих близких. Вскоре он женился на Фруме-Малке. У них было четверо детей – три дочери и сын.

Раби Биньямин-Ицхак был заготовщик – вырезал из кожи заготовки для обуви. Чтобы не работать в субботу, он всю неделю работал день и ночь, не высыпался, и от этого глаза у него всегда были воспалены и болели. Моя жена, его старшая дочь, рассказывала, что закапывать отцу капли в глаза обычно было ее обязанностью.

Почему он столько работал? Потому что должен был зарабатывать не только на свою семью – он кормил еще многих. Во время войны, когда люди умирали с голоду, у него за субботним столом сидели десять-одиннадцать человек из тех, которым нечего есть.

Приехав на свадьбу, я остановился у них в доме и видел людей, которые там бывали. Один из них, рав Меирович (он был свидетелем на моей свадьбе), знал наизусть весь Талмуд с Раши и Тосафот (комментарии к Талмуду), все труды Рамбама и «Шулхан арух». Он хранил в памяти десятитомную энциклопедию «Сде хемед» (эту энциклопедию законов галахи составил во второй половине прошлого века великий сефардский раввин, мудрец и праведник раби Хаим-Хизкияу Модино, и она по сей день верно служит всем раввинам). В разговоре выяснилось, что в Литве рав Меирович учился у рава Мордехая Рабиновича, брата моей бабушки со стороны матери.

Откуда мне известно, что он всё знал на память? Я как-то слышал, что имя Ибн-Эзры, одного из крупнейших комментаторов Торы, упоминается в Тосафот только дважды. Я его спрашиваю:

– Где именно?

Он мгновенно отвечает:

– Кидушин, лист 33 «бет» (в Талмуде нумеруются листы, а не страницы, при этом стороны листа отмечают буквами «алеф» и «бет»).

И читает весь отрывок наизусть, приводя все высказывания поименно, а потом так же спокойно переходит ко второму отрывку.

Так он отвечал на любой вопрос из Талмуда, о чем ни спроси. Или из «Сде хемед». Например: «Где в «Сде хемед» встречаются имена моих дедушек?» Он сразу говорил, где упоминается дедушка из Рагувы, где дедушка из Режицы. Этот человек ходил зимой в рваных ботинках и был счастлив, что в субботу у него есть тарелка супа в доме моего тестя.

В этот дом приходили многие евреи, и среди них особенно много из Польши. Когда Советы решили сформировать новое, послушное, правительство Польши, то сфабриковали против беженцев обвинение в заговоре. Арестовали человек пятнадцать, причем заговорщики были все как один евреи. Сначала взяли моего будущего тестя и его зятя Аарона, потом – уже после моей женитьбы – рава Дубина и других...

Один из арестованных с этой группой жив, он сейчас в Тель-Авиве. Помню, он привел стих из Теилим: «Верил я, что еще сумею рассказать, как я страдал» (116:10). Так оно и вышло.

В течение года до ареста раби Биньямина мою будущую жену вызывали на допросы в НКВД. Каждый день она вставала в пять утра и шла на завод, где работала по четырнадцать-пятнадцать часов. И каждую ночь после работы ее «приглашали на собеседование». С Гиты взяли подписку, что она никому об этом не расскажет. Она посоветовалась с Дубиным. Дубин ее научил:

– Ничего там не говори! Скажешь одно, помянут другое. Одно только слово, – объяснял он, – «это сосед» или «это брат» – и тебе уже не дадут остановиться: ты сидишь, и с тобой все сидят. На все вопросы отвечай «не знаю». Это единственный выход.

Гиту сажали на табурет без спинки, напротив садились несколько человек и начинали задавать вопросы. Следователи выходили, менялись, а она все сидела, помногу часов.

На все вопросы она отвечала, что приходит с работы усталая и ложится спать – ничего не знает.

Гита рассказывала: напряжение было такое, что однажды, ночью она вышла с допроса и в городе, где родилась, не узнавала улицы. Смотрела и не знала, куда идти. Вышел следователь и спрашивает:

– Что ты ищешь?

– Не знаю, где дом.

Так он ей показал, в какую сторону идти.

Гита говорила, что целью властей было изобразить, будто в доме Зайдманов собралось «польское правительство в изгнании» – таково

было обвинение. Всё это происходило под конец войны, в сорок четвертом-сорок пятом году. Во время войны избегали открытой травли евреев, вели другую игру – хотели получить американскую помощь. А в конце войны уже было можно – помощь выторговали.

Отец и дочь

Только тот, кто знает тогдашнюю советскую жизнь, может до конца понять, каким надо быть человеком, чтобы воспитать настоящей еврейкой девочку, которая родилась в двадцать первом году в городе Самаре.

Когда Гитл-Лея была маленькая, отец нанял для нее учителя, и тот научил ее молитвам на иврите и немножко – Галахе.

Сам раби Биньямин учился только в Бресте, но всё, что он успел узнать до своих семнадцати лет, сумел передать дочерям и сыну.

Тогда в Советской России еще были еврейские школы. Курировала их Евсекция, преподавание велось на идиш. Отец предпочел отдать Гиту в русскую школу. Он объяснил дочке:

– Если я отдам тебя «им», то они будут хозяевами над тобой, будешь их, а не моя. А если в русскую школу – я буду хозяин над тобой. И если ты принесешь в класс мацу, никто не будет знать, что это маца. А там – все будут знать.

В школах Евсекции специально заставляли детей делать всякие гадости в еврейские праздники. Слышал я историю, как однажды в Йом-Кипур в таком «еврейском» классе учительница подзадоривала учеников, прививая им «свободомыслие»:

– Эти религиозные сегодня молятся и постятся. А мы ну-ка покажем Б-гу фигу!

Один из учеников возьми и спроси:

– Не понимаю. Вы ведь говорите, что Его нет. Кому же фигу показывать?

Гита была любимая дочь отца. Но когда во время войны у нее порвалось платье и она попросила, чтоб купили новое, отец раскричался: «Людям есть нечего, а ты хочешь новое платье?» При любой возможности он покупал еду и отдавал голодным.

Раби Биньямин мечтал, как поедет вместе с Гитой в родные края, в Польшу, покажет ей свой город, посетит могилу родителей. К счастью, они еще не успели поехать, как началась вторая мировая война и Германия напала на Польшу. Окажись они в Бресте – попали бы к немцам.

По окончании срока заключения тестя выслали в Казахстан. Последние свои годы он жил в Кызыл-Орде. Когда у нас родился сын, мы телеграммой пригласили его на брит-милу. Он, старый человек, пошел просить разрешения уехать на один час плюс два дня дороги – только на один час: приедет, посмотрит на внука и уедет. Не разрешили, подлецы. Так я его ни разу и не увидел.

Моя теща, благословенна ее память

Рав Дубин сосватал всех дочерей моего тестя: сначала среднюю сестру, Келю, – Аарону Рабиновичу, затем Дину – его брату Шолому, а Гиту сосватал мне.

Послушайте, как в доме появился Шолом. Эта история точно отражает характер моей тещи. Мать Гиты, Фрума-Малка, помогала беженцам, чем могла. Как-то у них проводил субботу молодой человек, который служил в польской армии. Фрума-Малка была очень боевая и говорит:

– Ты что, сумасшедший? Хочешь служить в армии? Давай снимай форму, да побыстрее.

Он снял, Фрума-Малка ее сожгла. И устроила ему новый паспорт. Но его поймали и посадили. Он по наивности решил, что властям всё и так ясно, скрывать тут нечего (он же не из советской армии дезертировал), и назвал Фруму-Малку как того, кто ему помог. Ее вызвали на очную ставку.

Она не растерялась.

– Ах ты, жулик польский! – обрушилась на парня. – Да я тебя в первый раз вижу! Сам попался, так и других втянуть хочешь! Не знаю тебя, и знать не хочу!

Да как пошла его честить! И тэ-тэ-тэ, и та-та-та... Еле энкаведисты от нее избавились!

Парень (а это и был Шолом Рабинович) отсидел три года, вышел и опять пришел к ним в дом, к Фруме-Малке. Это тем более понятно, что война привела в дом Зайдманов и его брата Аарона, отсидевшего свои два года за нелегальный переход польско-советской границы, и уже женатого на средней дочери реб Биньямина.

Рав Дубин, который тогда жил еще у Зайдманов, говорит Шолому:

– Тебе же надо жениться. Зачем искать в Польше? Вот сидит девушка. Даю тебе пять минут, подумай.

Шолом думал пять минут. И Дина, младшая дочь Зайдманов, стала его женой. Теперь у него уже внуки, и замечательные.

А вот вам еще история о теще. Где-то в Казахстане вскоре после войны умерла супружеская пара – высланные из Ленинграда муж с женой, честные религиозные люди. Их арестовали и выслали в Казахстан только за то, что они тайно обучали кого-то религии. Хоронить их было некому, и какие-то знакомые Фрумы-Малки телеграммой сообщили ей об этом. Почему они сами не взялись за это? Видно, не по плечу было.

А Фруме-Малке все было по плечу. Она бросила все дела, взяла с собой одного еврея из погребального общества и отправилась в неблизкий путь.

Позже я встретился с братом той погибшей женщины. Он рассказывал, что когда он туда приехал, его сестра с мужем уже были похоронены – как надо, по-еврейски. Это Фрума-Малка сделала. Она была активнее всех в семье. Она была огонь!

Во время войны каждую пятницу Фрума-Малка варила котел картошки и относила в синагогу – беженцам.

Деньги «с неба»

Происшествие, о котором ниже, тоже связано с Фрумой-Малкой. Может, оно и случилось-то со мной из-за, а точнее – ради нее.

Дело было в августе, вскоре после истории с похоронами в Казахстане. Фрума-Малка гостила у нас перед тем как уехать в Кызыл-Орду к мужу. Пора было уже покупать билет, а денег – ни копейки. Деньги за отпуск я получал в июне, и мы их, естественно, прожили. Я давал уроки, подрабатывал, но в августе все сдали экзамены и частные уроки кончились. Как быть? Я говорю:

– Б-г поможет.

Теща нервничает:

– Как Он поможет? С неба утром сбросит деньги?

Я говорю:

– Да, сбросит с неба, – и ушел.

Иду и думаю – где искать работу? Заглянул в гороно к начальнику отдела кадров – он с кем-то беседует. Заметил меня и говорит:

– Зильбер, заходите! Вы свободны сегодня?

– Да.

– Вот тут товарищу надо сдать какой-то экзамен, идите с ним.

Фамилию этого «товарища» – Ермольчик – мне не забыть. Иду я с ним, и чувствую что-то неладное: очень уж странно он переглядывается с людьми на улице. Стоит на углу молоденькая девушка, беззаботно глазееет на прохожих. Увидела моего спутника и подмигнула незаметно. Чудно! Ну, никак она ему в знакомые не годится! Старик-татарин с седой бородой, с виду такой серьезный, кивает тайком. Что у них может быть общего? Неужели агенты? В жизни бы не подумал, что агенты такие бывают. А тут у меня и вовсе в глазах темнеет от ужаса: он явно держит путь на Черное озеро (в Казани Черное озеро – как Лубянка в Москве, главное управление у чекистов). Ловушка?!

Пришли на Черное озеро, перед ним все двери открываются. Входим без всяких пропусков к самому главному начальнику, тоже Ермольчику (родственник, видно), и бандит какой-то, длинный, с револьвером на боку, тоже входит. Мне показывают на него и говорят:

– Этот наш сотрудник успешно трудится, и мы хотим повысить его в звании. Но ему не хватает образования. Надо, чтобы он сдал экзамены хотя бы за восемь классов. Проверьте, что он знает, и подготовьте его – за деньгами мы не постоим.

Я, конечно, ни слову не поверил. А вы бы поверили? Я решил, что меня хотят подловить на чем-то.

«Ученику» отвел меня в Красный уголок. Сели заниматься.

Страшно было сидеть: все время входили и выходили эти убийцы. Вы знаете, ведь это по лицу видно. Звериные были лица. Они смотрели на нас, а я опустил голову и уже не хотел поднимать.

Начал его учить. Проверил, что он знает по алгебре, объяснил какие-то основы, затем немного физики, потом русский язык. Взял статью из газеты, диктую, исправляю ошибки. Работаю, в общем. Так и сижу с опущенной головой, – не мог смотреть! Вдруг слышу:

– Достаточно!

Вижу, возле стола стоят трое, смотрят, как я с ним занимаюсь, и им это нравится. Меня опять ведут к начальнику Ермольчику, выписывают ведомость на оплату – сто пятьдесят рублей: шесть часов по двадцать пять рублей. Тогда это были большие деньги. Говорят:

– Послезавтра придете за деньгами.

Но сразу по моему лицу увидели, что я не приду.

– Ну ладно, – говорит Ермольчик.

Вызывает какого-то бандита:

– У тебя деньги есть, я знаю, ты сегодня получил. Дай сто пятьдесят рублей.

Прихожу домой, а там уже волнуются: я ведь как ушел с утра на молитву, так и пропал. Протягиваю деньги. Они спрашивают:

– Откуда?

Я говорю:

– Упали с неба.

– Как это «с неба»?

– А так. НКВД дал!

Об именах

Моя младшая дочь родилась в год, когда теща умерла, и я назвал ее Фрума-Малка. Она тоже боевая.

А когда ждали первого ребенка, все почему-то были уверены, что это мальчик. Отца моего уже не было в живых, и мы хотели дать мальчику имя деда. Вдруг ночью в субботу, десятого тамуза, мама встает, подходит ко мне (я еще не ложился) и говорит, что к ней во сне пришла ее мать. Такого раньше не бывало, и мама поняла, что, наверно, родится девочка. Наутро родилась дочь, и мы назвали ее именем прабабушки – Сара.

Имя – это не просто так. Возьмите для примера имена двух царей: Шломо и Хизкияу. В имени «Шломо» мы угадываем сразу два корня – мир (шалом) и цельный (шalem). И действительно – в царствование мудрого Шломо евреи процветали и не знали войны. Имя Хизкияу можно перевести как «моя сила – Б-г», в смысле – вера в Б-га. И действительно – вступив на царствование, когда в стране царил разброд и духовный упадок, царь Хизкияу вернул еврейский народ к вере.

Или, скажем, название города Кирия-Арба (Город четырех). Оно дано в честь одного великана и трех его сыновей, которые там жили. Но великана этого уже давно нет и никто о нем не помнит. А имя установилось навеки, и не случайно – в пещере Махпела на территории Кирия-Арбы похоронены четыре супружеские пары праведников: Адам и Хава, Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, Яков и Лея. Дали имя по одной причине, но получилось – по другой...

Аарон Рабинович, муж Кели

В начале войны, братья Аарон и Шолом Рабиновичи бежали из Польши от немцев в Россию. А Россия встретила их тюрьмами да лагерями.

Шолом оказался в России с польскими военными частями, Аарон же перебрался через границу нелегально. А кто его посадил? Еврейский парнишка. Свежеиспеченный комсомолец из Польши заметил перебежчика и сообщил властям.

Сидел Аарон в очень тяжелых условиях далеко на Севере. Вышел на свободу уже после ареста Шолома, но ненадолго.

Вместе с тестем, и всеми людьми в доме Зайдманов, которых обвинили в «польском заговоре», посадили и Аарона – на десять лет. Он был арестован спустя три месяца после свадьбы.

Келя ждала все десять лет. Она была молодая, красивая. Чтобы избежать ухаживаний и опасных разговоров об отсутствующем муже, она не стала устраиваться на работу, а подрабатывала вместе с матерью как могла. Она была беременна, когда мужа арестовали, и теперь они с дочерью жили очень бедно.

В Израиле, куда они приехали в пятидесятых годах, когда Аарон вышел на свободу, у них родились еще дети, слава Б-гу. Здесь они тоже жили бедно. Но каждую субботу раби Аарон собирал соседских ребятишек и занимался с ними «Пиркей авот» («Поучениями отцов»), а Келя оделяла всех конфетами, как принято в субботу после занятий.

Келя была человек незаурядный, я такого второго человека не встречал. Она не знала, что такое обида. Никогда ни на кого не сердилась. И была тверда, как железо.

Келя умерла молодой, в сорок девять лет.

Раби Аарон провел в заключение в общей сложности двенадцать лет. Когда я женился на Гите и мы с раби Аароном породнились, мне сообщили, что он просит прислать ему в лагерь шестой раздел Мишны – Таарот и книгу «Тания». Как я это сделал, говорить не буду, но обе книги он получил, и выучил наизусть.

У сына раби Аарона хранится талит катан, который раби Аарон смастерил себе в лагере. Он сшит из сотни лоскутков и обрывков. Я помню этот талит катан – страшно было глянуть на него.

Все молодые годы раби Аарон провел за проволокой...

Вся наша семья прошла через тюрьму.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БРИТЫ В КАЗАНИ

Рав Шломо Боков

В те времена рав Шломо Боков, мозль из Саратова, был уже человек немолодой. Три его сына погибли на фронте, забота о внуках легла на старика и его жену. Жили трудно. Но когда раву сообщали, что надо сделать ребенку брит-милу (обрезание), он бросал все свои дела и ехал, куда надо. И вот в сорок девятом году рав Шломо приехал в Казань,

сделал несколько бритов и уже собирался на вокзал, когда узнал, что у меня родился сын. Рав тут же продал билет и остался. Когда наступил день, рав сказал, что ждал такого брита двадцать пять лет.

Дело в том, что в двадцать четвертом году ввели закон, по которому рожениц выписывали из роддома не раньше, чем на девятый день (полагаю, не обошлось без вездесущей Евсекции), и четверть века не было у рава ни одного брита на восьмой день, как предписано Торой.

Как мне удалось добиться, чтобы жену выпустили из роддома на восьмой день? Жена министра здравоохранения Софья Иосифовна Кошкина занимала видный пост в Министерстве. Я обратился к ней. Я не знал, что она за человек, донесет или нет, но решил: попробую.

Вошел и говорю:

– У меня к вам просьба. Я еврей, у меня родился сын, и я хочу, чтобы жену выписали из больницы на восьмой день.

Она говорит:

– Зачем?

Я объяснил, что Б-г приказал на восьмой день делать обрезание, а рожениц отпускают на девятый.

Софья Иосифовна записала номер роддома. На восьмой день я пошел к соседу, попросил приготовить всё необходимое, пригласил друзей, еще не зная, выпишут жену или нет. На всякий случай решил быть готовым. В два часа ее выпустили, и брит состоялся.

Я пошел поблагодарить Софью Иосифовну: «Вы сделали мицву – дело, угодное Б-гу». Она заплакала: «Я знаю, что такое мицва. Но чего стоит мицва женщины, которая замужем за неевреем?»

Много всякого повидал рав Шломо. Он рассказывал, как приехал на брит-милу в Чувашию, в город Алатырь, и застал семью сидящей «шива» – отмечающей семидневный траур – по внезапно умершему отцу новорожденного мальчика. Мать и не думает о брит-миле: «Какая брит-мила – отца нет!». Что в такой момент скажешь? Он собрался было уходить. Но тут вмешалась девочка, сестра малыша: «Мама, почему ты отказываешься? Отец так этого хотел! Надо сделать!»

И мать согласилась.

Умер рав Боков в Куйбышеве, в пятьдесят первом году, – я в то время сидел в лагере. Он поехал делать брит-милу, в дороге ему стало плохо, едва добрался до синагоги, прилег на скамью – и умер.

Последнее обрезание, что я устроил в Казани

Я давал частные уроки математики сыну казанского шапочника по фамилии Ревзин. Был он коммунист и, приводя сына на урок, неизменно демонстрировал мне свою марксистскую эрудицию. Но как-то пришел и говорит, что хочет сделать внуку брит, да зять не соглашается. Угрожает бросить семью, если обрезание всё-таки сделают.

Я отправился на переговоры. Несколько раз приходил, убеждал, как мог – не хочет, и всё.

А тут как раз приехал мозль из Свердловска. Побыл в Казани, сделал два-три брита и собрался уезжать. Оставалось всего несколько часов, когда еще можно было сделать брит. Как быть?

Было раннее утро, когда мы с мозлем после молитвы явились к Ревзину. Сидим в кухне, беседуем. Старик Ревзин говорит:

– Что я могу? Я уже говорил с зятем, сколько мог, и все без толку. Если бы его хоть дома не было!

Сидим, мы – в кухне, зять – в комнате.

Вдруг Ревзин спрашивает у мозля:

– А ножичек у вас с собой?

– С собой.

Ревзин говорит:

– Знаете что? Подождите!

Дал знак – пришла дочка с ребенком.

– Давайте, делайте!

– Но зять сейчас здесь! Как бы не помешал?

– Делайте, делайте!

Прямо в кухне – тесно, сквозит – и сделали. Выходит зять. Ну, думаю, сейчас нам достанется! А парень подходит к мозлю, жмет ему руку и говорит:

– Мазаль тов, поздравляю, дедушка! Еще сын родится, приходите.

Ну, что вы скажете про человека? Можно его предсказать? Я и не спрашивал, откуда перемена. Какая разница! Получилось – и хорошо. Свыше помогли.

Съели мы по прянику и разошлись: мозль на вокзал, а я на работу.

Сказано в Торе, что когда нашему праотцу Аврааму исполнилось девяносто девять лет, явился ему Б-г и сказал: «Я заключаю союз между Мною и между тобой и твоим потомством после тебя... Вот Мой завет: чтобы обрезан был у вас всякий мужского пола... И будет (брит-мила) знаком союза между Мною и вами. Восьмидневным обрезан должен быть... А кто не обрежет крайней плоти своей – отсечена будет та душа от своего народа; Мой завет он нарушил» (Берешит, 17:7-14).

Отсекается душа – это не шутка!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. О РАЗНЫХ ЛЮДЯХ

Прожженный коммунист и «Кадеш»

С какими только людьми ни сводила меня жизнь в Казани!

Прожженный коммунист Эфраим рассказал мне такую историю. Еще до войны он был в командировке в Москве, и прилег как-то днем вздремнуть.

Приходит к нему во сне его покойная мать и говорит:

– Сынок, сегодня мой йорцайт, почему ты не читаешь «Кадеш» за мою душу?

Он, конечно, решил, что сон – ерунда, но, зная дату смерти матери – девятое ияра, нашел евреев и полюбопытствовал, какой сегодня день

по еврейскому календарю. Ему сказали – девятое ияра. В Москве его никто не знал, он пошел в синагогу и прочел «Кадиш».

Это я второй раз услышал про такой сон (помните студента из Польши?), только тут человек прилег днем. Слышал я похожую историю и в третий раз – от нееврейской женщины.

Клейнерман

В Хумаше сказано: «И было, когда он [Моше] приблизился к стану и увидел [золотого] тельца и танцы, то воспыал гнев Моше, и бросил он из своих рук скрижали, и разбил их под горою» (Шмот, 32:19). Одно слово кажется тут лишним. «Увидел тельца и танцы...» «Увидел тельца» – разве этого недостаточно, чтобы разгневаться? Причем здесь «танцы»?

Отвечу таким рассказом.

В сорок восьмом году я давал частные уроки математики тем, кто хотел окончить школу с золотой медалью и без экзаменов попасть в вуз. Среди моих учеников была дочь некоего Клейнермана, директора сразу двух галантерейных фабрик системы НКВД. Клейнерман был такой важной персоной, что имел в своем распоряжении личный самолет. Да и жена занимала немалую должность – председатель профкома.

Занимался я с его дочерью у них дома. Так вот, такой роскоши, как у этого человека, я в жизни не видел. Не дом – Третьяковская галерея, столько там было картин!

Как-то закончил я урок, вдруг Клейнерман приглашает меня к себе в кабинет:

– Вы слышали, евреи объявили свое государство?

Я молчу, боюсь говорить – он же из НКВД. А он продолжает:

– И на флаге у них будет написано: «Всякий, кто голоден, приходи и ешь!» (слова из Пасхальной Агады).

Я молчу.

Вошла его жена. Он кивает:

– Вот, моя жена. Ее раньше звали Ципа. Сейчас она ничего не соблюдает, но когда-то зажигала субботние свечи. Я учился в ешиве и был совсем молодой, когда пришла советская власть. Появились еврейские коммунисты, Евсекция. Взялись они за меня и бились несколько лет. И добились своего. С тех пор я работаю в системе НКВД. Правда, был у меня шанс – в двадцать шестом году послали меня в командировку в Румынию. Я мог бы там остаться. Но шанс был, да разума ни капли не было. Я вернулся – и потерял «олам а-зе» и «олам а-ба» (этот мир и мир грядущий).

Я смотрел на него и думал: что это он говорит про «олам а-зе»? Да лучше его положения не придумаешь! Когда он говорит, что потерял будущий мир, – это понятно. Но этот мир? Не жизнь, кажется, а сплошное удовольствие. Что же его мучает?.. Понимает, видно, что все это фальшивка. И слова его запали мне в сердце.

Если человек грешит, но при этом недоволен собой – в нем еще есть зерна добра. Сказано: Моше-рабейну увидел «тельца и танцы».

Из сказанного Клейнерманом следовало, что он служит идолу, но без «танцев». Он был искренен, говоря со мной, – это потом проверилось делом.

В те времена нельзя было свободно купить муку. Люди ночами напролет стояли в очередях и получали товар по принципу «пакет в одни руки». Нужна была мука для мацы, и я обратился к Клейнерману. «Приходи ко мне на фабрику», – сказал он. Я пришел, он принес мне пакет. Потом говорит: «Подожди», и принес из распределителя для работников фабрики второй пакет. Потом я случайно узнал еще: Клейнерман прислал дрова слепому старику-еврею.

Конец его «карьеры» был ужасен. Через доверенного человека он послал взятку – пятьдесят тысяч – прокурору Татарской республики. Но ему устроили ловушку. «Доверенный человек» пометил купюры, и к прокурору тут же явились с обыском.

Было громкое дело, посадили многих...

Клейнерман отсидел около двенадцати лет. Я навестил его, когда он вышел. Он не знал, что для меня сделать. Взял меховую шапку, надел мне на голову: «Она вам подойдет». Я, конечно, не взял.

А ведь не познакомься я когда-то с этой семьей, как бы мой Бенчик учился в школе? Ведь именно дочка Клейнермана нашла учительницу, которая приняла моего сына в класс, где он не писал в субботу!

Реб Берл Гуревич

Однажды – это было в пятидесятые годы, в Хануку – я шел молиться. Вижу – идет человек на костылях и спрашивает, где живут евреи. Я привел его в миньян.

Миньян собирался в крошечной комнатушке, метров шесть от силы. А он вошел и говорит: «Ой, это же настоящий рай!» Фамилия этого человека была Гуревич. Он рассказал, что возвращается в Москву после отсидки. Он был хабадник, но сел не за это.

У Гуревича было три сына, и он решил отправить их в Израиль с первыми польскими евреями. Он добыл фальшивые документы, но парней задержали в пути и арестовали. Гуревич взял всю вину на себя, и так умно действовал, что, кроме него, никто не пострадал.

Отсидел он десять лет.

Я, конечно, привел его к себе. Он немного рассказывал о жизни в лагере. Там ему приходилось очень трудно из-за субботы. Начальник орал на него: «Ты у меня будешь работать в субботу!», а он упирался, и за это его наказывали беспощадно. Так что, как он сказал, он сейчас на костылях не из-за ног, а из-за сердца.

– На исходе субботы поеду дальше, – говорил Гуревич. – Столько лет я не был дома! Не знаю, что стало с детьми. Если они останутся евреями – не жалко лет, что я присидел.

Я налил ему стакан молока – нет, он отлил полстакана:

– У вас же дети!

Вечером после субботы прощаемся – я хочу дать десять рублей.

– Зачем? – говорит. – Кирпич хлеба есть у меня, билет на поезд есть, доеду. Единственное, о чем попрошу, удалось мне пронести в лагерь тфилин, а ремешок за это время истерся. Если можешь, дай мне ремешок.

Я дал ему ремешок. Проводил на вокзал. В трамвае кто-то хотел, уступить ему место – он отказался. Какой-то военный заметил:

– Вот, товарищи, учитесь порядочности у этого человека. Он не спекулирует своей слабостью.

Не знаю, что он имел в виду, но попал в точку.

А Гуревич – это ж надо! – прислал мне из Москвы пятнадцать рублей за ремешок.

Мы с реб Берлом переписывались, и теперь я могу рассказать, что было, когда он приехал домой.

Сыновья выросли, конечно. Один был уже женат, работал, писал в стенгазету. Отец попробовал было сказать: «Брось эти глупости», – но сын возразил: «Папа, не тебе нас учить, нас учит Сталин».

В Песах он пригласил сына с женой на Седер. Те посидели минут пятнадцать, поднялись: «Очень скучно» – и ушли.

В конце концов, однако, – только его слезами! – все три сына раскаялись и стали крепки в вере. Вся семья приехала в Израиль. Реб Берл прожил еще семнадцать счастливых лет и умер в возрасте за девяносто. Помню, он говорил:

– Дети у меня хорошие, но сноха – никому с ней не сравниться!

О снохе его я знаю такую историю.

В Союзе она окончила бухгалтерские курсы и сдала почти все выпускные экзамены. Кроме одного, в субботу. На этот экзамен она не пошла – предпочла остаться без диплома. На всю жизнь.

Реб Янкл Журавицер и его сын Мендл

Реб Янкл Маскалик (Журавицер), выдающийся хасид ХАБАДа, был человек-легенда.

Когда власти начали закрывать синагоги, реб Янкл чуть не по всей стране организовал тайное обучение еврейских детей. Хабадники были в этом деле великие мастера.

Говоря чекистским языком, Реб Янкл был одним из организаторов подпольной группы «Ахим» («Братья»). Их было одиннадцать человек, они и, правда, были друг к другу как братья, поддерживали семьи заключенных, просто евреев, собирали цдаку (пожертвования) для тайной ешивы в Марьиной Роще.

В этой ешиве было всего несколько учеников, которые жили там, практически не выходя наружу.

Реб Янкл ездил по городам, организовывал учебу, помогал устраивать и ремонтировать миквэ, находил для людей работу надомниками, чтобы они могли не работать в субботу. Он был нищ, но на это всегда ухитрялся раздобыть деньги.

Реб Янкла арестовали, и с тех пор никто не знает, где его кости.

(Так я написал, но на днях внук реб Янкла, Реувен Альперин, сказал: реб Янкл был расстрелян в декабре тридцать восьмого года).

Мендлу, сыну реб Янкла, после ареста отца приходилось скрываться от властей. В пятьдесят четвертом году он прятался у меня.

Бенциону в то время было лет пять. Как-то смотрит Мендл с Бенчиком Хумаш, и показывает ему слово «Лот» – имя племянника Авраама. Бенчик читает: вот «Лот», вот еще «Лот». Мендл и говорит:

– Знаешь? Если найдешь слово «Лот» где-нибудь дальше (после главы «Берешит» Лот нигде больше не упоминается), получишь рубль.

Бенчик тут же открывает ему Хумаш далеко после «Берешит» и показывает ему «лот». Не имя «Лот», а растение «лот» (книга «Берешит», глава «Микец», 43:11) – нашел моментально! И ничего тому не оставалось, как отдать Бенчику рубль.

Мендл Маскалик прятался у нас больше месяца, потом вернулся в Москву. Он помогал евреям выезжающим из СССР. В начале семидесятых он был найден убитым на улице в Подмоскowie.

Так же «случайно» погиб сын костромского шохета (у которого, выйдя из тюрьмы, жил Любавичский ребе).

Ребе уехал в Америку, шохет умер, а сын, который был, кажется, юристом, стал очень толковым ходатаем по всяким религиозным делам. Как-то по поручению нашей общины поехал в Москву, в вагон вошли двое, вывели его в тамбур и выкинули из поезда.

Я не помню ни его имени, ни фамилии. Не помню точно, когда это было, – кажется, во время войны. Но хорошо помню, какой это был ужас – тогдашняя жизнь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МОИ СЕКРЕТЫ

Как я соблюдал субботу, когда преподавал

За два десятилетия, что я учительствовал, я выработал массу приемов маскировки. Поделюсь с вами – пусть они вам никогда не понадобятся.

Первый и основной принцип – всю неделю я работал на субботу. Собственно, я этот принцип не придумал, так оно и полагается: все лучшее из того, что у нас есть, лучшую пищу и лучшую одежду, мы оставляем на субботу. Неделя и должна быть подготовкой к субботе.

В начале недели я старался рассказать побольше, дать ученикам весь запланированный на неделю материал, чтобы в последние дни мы могли только упражняться в решении задач и примеров.

Накануне субботы я заранее заполнял журнал: проставлял оценки ученикам, которых намечал опросить, и старался запомнить их фамилии. Это можно бы сделать и задним числом, скажем, в понедельник, но я подстраховывался на случай так называемого «посещения». Могли прийти с проверкой завуч школы, директор, инспектор горно или из Института усовершенствования учителей, перенять опыт...

Я убедился, и могу утверждать: подвергая человека испытанию, Б-г всегда дает ему силы это испытание выдержать. Было бы желание. Нельзя сказать: «Я был вынужден украсть, убить...» Так не бывает. Если бы ты знал, что тебе придется заплатить за это тридцать тысяч долларов, ну, сорок, – ты бы точно удержался. Вы скажете – неудачный пример: человека тюрьма не останавливает, как же его деньги остановят! А я говорю – остановят. Деньги сильнее, чем тюрьма. За деньги убивают. Тот, кто не боится Б-га, всё сделает за деньги. И от многого за деньги удержится. А если не удержался – значит, не хотел! Но силы устоять перед испытанием – есть!

Мы вышли из страны, где все воруют. Как использовать это качество для добра?

Красть время для Торы!

Должен признаться: я много обманывал советскую власть, много времени у нее украл. В субботу я всегда являлся в класс с опозданием, минут через десять после звонка, независимо от того, ждет меня там какой контролер или нет. Это был мой второй рабочий принцип. Как этот долг отдать сейчас – не знаю.

Но вот я в классе. Инспектор уже сидит на задней парте, ждет. Я вдруг «спохватываюсь» – ох, забыл журнал. Отправляю кого-нибудь из учеников за журналом. Журнал доставлен. Предлагаю принесшему: «Отметь, кого нет в классе», – а сам «наверстываю время»: велю ученикам открыть задачки, и называю номер примера или задачи. Один ученик решает у доски, остальные – в тетрадях.

Теперь представим себе, что ученик у доски забыл или не знает формулу. В любой другой день я бы написал формулу на доске сам. Но суббота! И я поднимаю одного, другого, третьего – пока кто-то не напишет. И так я веду весь урок – только примеры и задачи.

Третий принцип касался тактики действий с учениками-евреями. Это тоже ведь надо заранее обдумать.

В субботу у евреев к доске не вызывал, а к сидящим за партой подходил и говорил: «Тебе тема сегодняшнего урока понятна, можешь не писать».

Что интересно: инспектировали меня не раз, и неизменно уроки в субботу или в праздники получали самую лучшую оценку. Лучшую! Инспекторам очень нравилось, что «учитель только руководил классом, а весь класс увлеченно работал».

Потом, после урока, спрашивают:

– Ну, как насчет оценок?

Я велю принести журнал и показываю.

А оценки поставлены до захода солнца в пятницу!

Этим своим правилам я следовал постоянно.

Ситуации, конечно, бывали разные. Скажем, выпал на субботу государственный экзамен. Знаете, как он организуется? Учитель приходит в школу заранее, комиссия вскрывает специальный конверт с экзаменационным заданием и передает его учителю и двум ассистентам. Задание следует решить самому, написать на доске условия, и ждать, пока не решат школьники. Экзамен продолжается шесть часов.

Тут, конечно, трюки, разработанные для урока, не годятся. Как быть? Писать я, разумеется, предлагал ассистенту: «У тебя почерк лучше, а решение я продиктую». Ассистента это обычно устраивает. Я диктую, он записывает на доске – и всё в порядке.

Случались и курьезы. На субботу у меня было много «патентов». Но однажды, в субботу перед экзаменами, когда занятия уже закончились и ждать инспектора не приходилось, я пошел давать консультации, что называется, с голыми руками, «невооруженный».

Я тогда работал в Ленинградском техникуме, эвакуированном в Казань. Прихожу к восьми, начинаю отвечать на вопросы. Тут вбегает директор. В руках – лист с какими-то подписями.

– Исаак Яковлевич (так меня звали официально, потому что отец, меняя фамилию на «Зильбер», поменял и имя на «Яков»), эту бумагу необходимо до девяти сдать в Министерство просвещения. Все подписи есть, только вашей не хватает. Подпишитесь, и я убегаю.

Что прикажете отвечать?

– Борис Львович, – говорю, – ребята совсем изнервничались. У них экзамен на днях, а я как раз отвечаю на вопрос. Не хочу прерываться. Минут через десять зайду к вам в кабинет.

Он отправился к себе, я поспешно извинился перед учениками: мол, голова разболелась – и удрал.

Прихожу в школу в понедельник. Директор недоволен:

– Что с вами стряслось? Я ведь ждал!

– Ох, простите, пожалуйста! Так голова разболелась, что я и забыл совсем!

И это еще пустяки, ерундовый случай. И так было всю жизнь!

Как я читал минху

Еврей молится трижды в день: утром, после полудня и вечером. Утро и вечер принадлежали мне. А вот что делать с предвечерней молитвой, минхой, если урок кончается без четверти пять, а заход солнца – в пять с чем-то? Я выходил читать минху на автобусную остановку рядом со школой. Выбегал на перемене ровно без четверти пять. На деревянном щите у остановки расклеивали газеты и театральные афиши, к счастью,

без сомнительных фотоснимков. Я притворялся, что читаю, а сам молился. В молитве «Шмонэ эсре», надо сделать несколько поклонов, я нагибался, будто хочу рассмотреть какое-то имя на афише.

Стою так однажды, читаю «Шмонэ эсре» (эту молитву нельзя прерывать), и вдруг подходят двое наших учителей, Анна Федоровна и Федор Тарасович.

О Федоре Тарасовиче все знали, что он стукач. Он прежде работал в Министерстве юстиции, и там буквально «косил» народ. Сотрудники не чаяли от него избавиться. А как? Устроить в другое место. Его и устроили учителем истории в нашу школу. Полугода не прошло, как по его доносам сняли и нашего директора, и завуча.

Подходит ко мне Анна Федоровна с этим стукачом.

– Исаак Яковлевич, как кстати! (Ничего себе «кстати»!) Надо бы посоветоваться насчет выпускных экзаменов. Как вы думаете, где и в какие часы лучше принимать?

А я стою «Шмонэ эсре»! Показываю на сердце, на рот – плохо, мол, с сердцем, не могу говорить.

Этот доносчик помчался вызывать «Скорую помощь», Анна Федоровна за ним. «Скорая» пришла, когда я уже закончил молитву. Я всех успокоил:

– Мне легче. Могу говорить. Всё в порядке.

Еще несколько слов о выпускных экзаменах, а заодно – о школьных выпускных вечерах. Сегодня могу признаться, что мне всегда было жалко выпускников-десятиклассников, и на экзаменах я им подсказывал ответы. Классные руководители, отвечавшие за успеваемость, были очень мною довольны. Анна Федоровна, помню, приговаривала:

– С Исааком Яковлевичем обязательно выпьем шампанского на выпускном вечере.

Помню, как я сидел на этих выпускных вечерах. Разольют шампанское по бокалам, а я возьму бокал – и начинаю речь. Говорю, говорю, и ставлю бокал на стол, а потом будто по ошибке беру рюмку водки (еврейский закон запрещает пить вино, приготовленное не евреем)... Сходило нормально.

Больничный

Свои приемы были у меня и для праздников. На Йом-Кипур, например, я всегда брал больничный.

Но без неожиданностей жизни не бывает. Однажды обстановка сложилась донельзя неблагоприятная. Доктор Набойщикова нашептала заведующему поликлиникой, что врачи выдают бюллетени по знакомству. Тот отреагировал просто: бюллетени не выдавать! Больных с температурой не ниже тридцати девяти приводить к нему лично. Он сам выдаст. Сроком на один день.

Близится Йом-Кипур. Я уже закончил последнюю трапезу, а больничного у меня еще нет. В школе рабочей молодежи, где я работаю, ребята боевые, – если я не приду «без уважительной причины», будут неприятности. Соседка Оля Лифшиц, верующая женщина, говорит:

– Набойщикова живет у нас во дворе. Попробую ее уговорить.

Заходим к Набойщиковой. Оля заводит долгий разговор, рассказывает, какие, мол, у этого человека (у меня, то есть) родители были верующие, и отец, и мать, и болтает, болтает... Я вижу – время на исходе, уже Кол нидрей начинают, и спрашиваю в лоб:

– Дадите больничный на завтра? Или нет?

А она: «Фамилия?» – и выписывает больничный! На Йом-Кипур!

Суккот

Каждый учитель в Союзе обязан был вести общественную работу. Меня выбрали председателем месткома. При распределении обязанностей я взял на себя дела, требующие минимума времени: собирать членские взносы, распределять премии и путевки в санатории.

Прошел год. Отчетно-выборное собрание назначили на первый день Суккот, который выпал на субботу. Взять больничный? Но больничные я берег на Рош а-Шана и Йом-Кипур. Верите ли, все годы работы я ни разу не брал бюллетеня действительно по болезни. Как-то две недели проболел воспалением легких, но ходил на работу даже при температуре за тридцать девять. Все уже привыкли к этому, так что «разболеться» еще и в Суккот я не мог.

Меня беспокоило и то, что придется объяснять, сколько денег я собрал взносами и на что они потрачены, – в субботу деньгами не занимаются. Я решил, что финансовые расчеты можно отнести к категории «дварим шель ма ве-ках» – вещи, которые человека не касаются и совершенно его не интересуют. Тогда о них можно говорить. Чтобы не носить с собой записи, я выучил все цифры наизусть и был готов дать отчет, чтобы отделаться.

Однако была еще проблема. Мне предстояло в последний раз собрать взносы. Зарплата предполагалась в четверг, и я решил, что в этот же день соберу взносы, наклею марки, а в субботу приду только «отболтаться».

Как на беду, кассир, узнав, что в субботу собрание, позвонил и предупредил: «Я приду не в четверг, а в субботу. Выдам зарплату, Зильбер наклеит марки, а потом начнем собрание».

Что делать? Клеить в субботу запрещено. Как выкрутиться? Единственный раз за всю жизнь я выхода не нашел. Решил, что не явлюсь. А завуч наш, Володя Штейнман, знал, что я в субботу не работаю. Он подошел встревоженный:

– Исаак Яковлевич, я всегда вам помогаю. Но если вы не придете на этот раз, будет ужасно – начнутся разговоры, и против меня тоже. Б-г простит вам нарушение: нет выхода, вы вынуждены прийти.

Завуч был, конечно, прав – разговоры могли начаться, и самые неприятные. Но я подумал и решил, что разговоры и даже возможные санкции – все-таки не пикуах нефеш (угроза для жизни): не расстреляют же меня! Ну, выгонят с работы, в крайнем случае – отнимут диплом... И я не пошел.

Суккот провел нормально, сидел в сукке. Вечером зашел к завучу. Вижу, он сидит спокойный, в хорошем настроении. И говорит:

– Что-то невероятное. Пришел кассир, стал раздавать деньги, ждут вас. В десять должно начаться собрание. Без десяти десять примчался, как угорелый, инструктор из райкома партии:

– Отмените собрание! Никаких собраний!

И произнес речь:

– Товарищи, основная задача эпохи – борьба с религиозными предрассудками. Учителя должны быть авангардом в этой борьбе. Отдел агитации и пропаганды организует цикл лекций по диалектическому материализму. Собрание отменяется, все на лекцию!

Вот так я раз в жизни не пошел на работу, не имея оправдательных документов!

В Суккот евреи обязаны не только есть, пить и, по возможности, спать в сукке, но и ежедневно произносить благословение над лулавом. Лулавом называются связанные вместе пальмовая ветвь, мирт и ива (лулав, адас и арава – на иврите). Произнося благословение, их берут в правую руку, а в левой держат этрог, плод цитрусового растения.

Сами понимаете, эти четыре вида растений доставались нам нелегко. Каждый год проблему приходилось решать заново. Иногда мой двоюродный брат Дов-Йосеф присылал посылку из Палестины, иногда, какой-нибудь иностранный турист оставлял для нас, «арба миним» («четыре вида»), один набор на весь город... Но, так или иначе, за все годы моей жизни в Казани только один раз мы провели Суккот без этрога и лулава.

Как я учил Тору

Советские школы, за нехваткой помещения, работали в две смены. Откиньте полтора часа на дорогу (это в одну сторону!) и скажите, когда было учиться? Я с трудом выкраивал полторы-две минуты. Полчаса были несметным богатством.

Я учил Тору на переменах. Многое из того, что я помню, я выучил во время школьных перемен.

Времени у меня всегда было в обрез, всю жизнь. Я считал его по минутам. Посетить могилы отца и матери – целая задача. Такси дорого, трамваем с работы до кладбища – сорок минут, от автобусной остановки до могил – еще примерно столько же. А перерыв у меня – три часа. Получается, только дошел – надо тут же возвращаться. Помолиться на кладбище не остается ни минуты. Я несколько раз пробовал – не успеть. Так я пока шел к могиле, говорил несколько слов молитвы, возвращался – тоже несколько слов...

Мы понятия не имеем, что значит час или даже десять минут, посвященные изучению Торы. Сказано: 56 «Вот то, у чего нет установ-

ленной меры: недожин краев поля, приношение первых плодов, дары приходящих в Храм, благотворительность и изучение Торы». Эту заповедь человек выполняет, как может, без предписанной нормы.

Виленский Гаон говорит, что каждое слово, произнесенное при изучении Торы, – это отдельная мицва, выполненная заповедь. Если учить Тору хотя бы десять минут, сколько это мицвот получится?!

Миквэ в Казани

В Казани миквэ не было, ее закрыли еще в двадцатые годы. Женясь, я вместе с еще одним человеком начал тайно строить миквэ.

Нашел место за городом, в бывшем курятнике во дворе частного дома, договорился с хозяйкой. Мы вычистили курятник, вырыли две ямы, большую и поменьше. Теперь нужно было залить их бетоном.

Не всякого попросишь о таком деле. Мне повезло: я нашел еврея-строителя по фамилии Верховский, который эвакуировался в Казань с Украины. Ему пришлось основательно потрудиться несколько недель. Работал по вечерам после работы. Но когда я хотел заплатить, Верховский отказался:

– Миллионы евреев убиты, и среди них столько женщин, соблюдавших «таарат мишпаха» (законы чистоты семейной жизни). Пусть моя работа будет за их души.

Сказал – и заплакал.

Окончание в следующем номере.

Гершон Шофман

В ОСАДЕ И В НЕВОЛЕ

Никогда еще в кафе не было так накурено, как теперь, в эти новые тяжкие дни. Люди из всех сил затягивались сигаретами, будто надеялись спрятаться в папиросном дыму. Но агенты полиции с усами-щеточками заглядывали в окна, и взгляд их был достаточно остер, чтобы проникнуть сквозь любой дым и туман.

Полиция разыскивала скрывающихся от воинской повинности, а также застрывших в стране чужаков – врагов отечества. Этих последних хватало, едва они появлялись на пороге. По темным и извилистым улицам, мостовые и тротуары которых обратились сейчас в камни преткновения, волокли в полицейские участки. Там задержанные томились по нескольку дней, пока их не отсылали в один из специально созданных лагерей – «убежищ для перемещенных лиц». Некоторым удавалось избежать столь горькой участи – если находился добрый друг или знакомый из числа подданных этой страны, который не отказывался приложить усилия к их спасению. Тогда счастливчика вызывали из камеры предварительного заключения в контору комиссара полиции, и тот составлял протокол. Не поднимая на него, на врага отечества, глаз: имярек сын имярека из такой-то страны и так далее, и так далее. Справка об освобождении давалась комиссару с трудом, он макал ручку в чернила и стучал пером по краю чернильницы, встряхивал и снова стучал: нет чернил! А протокол о задержании в первую ночь ареста настрочил бойко и незамедлительно: тогда чернил в чернильнице было предостаточно.

Именно таким образом удалось освободиться небольшой группе русских художников и писателей. Чудом удалось освободиться. Только один из них, молодой поэт Давид Голь, почему-то отклонил все попытки помочь ему и высказался, по своему обыкновению, на иврите:

– Мне все равно. Пожалуйста, отправляйте куда хотите. Есть там дают?

Самое худшее случилось с художником Манро. Жандарм схватил его за городом, в чистом поле, в то время как он запечатлевал на полотне некий приглянувшийся ему пейзаж. Шпион зарисовывает окрестности, чтобы передать в руки врага! В полицейском участке один из полицейских сказал ему, что он стрелял. Продержав под арестом несколько дней, беднягу отпустили на свободу. Но, как видно, происшествие произвело на него слишком удручающее впечатление – взвинченные нервы не выдержали. Спустя непродолжительное время Манро по собственной воле вернулся в полицию и потребовал:

– Арестуйте меня, я шпион!

Полицейские немного подивились и отправили его в психиатрическую лечебницу. А оттуда – в Штайнхоф (психиатрический диспансер под Веной).

Случившееся потрясло всю компанию, но вместе с тем наполнило сердца тайной радостью: шестнадцатилетняя Эстер, сестра художника, осталась теперь одна-одинешенька. Она приехала сюда всего несколько месяцев назад из родного польского городка повидать брата, который оставил отчий дом еще в те времена, когда она была совсем крошкой. И когда тот привел ее первый раз в кафе – в черной дорожной шляпке, в полосатом пальто из грубой ткани, – вся компания тут же влюбилась в нее с первого взгляда. «Есть еще, есть!...» – восхищались они потихоньку. Ну да, они-то, умудренные опытом, полагали, что уже повидали все виды красоты, и их не может более поразить ни одно личико в мире. Даже идишистский писатель Меир Зилпер, которого война отторгла от жены и маленькой дочери, оставшихся в Вильне, даже этот Зилпер, весь почерневший и разбитый, слегка приободрился, и лицо его ненадолго разгладилось и просветлело. И сам Манро, поскольку, в сущности, не видел сестры с самого ее младенчества, взирал на нее, будто чужой, и переживал нечто большее, чем чистые братские чувства. Беспокойство проступало во всей его фигуре, когда он шагал с ней рядом. В тот вечер находился тут и иерусалимский писатель Шломо Пик, который время от времени прибывал сюда из Эрец-Исраэль «вдохнуть Европы». Даже он был удивлен чрезвычайно и, приложив, по своему обыкновению, ладони к ушам, дабы защитить их от переохлаждения, сказал:

– Господи! Если у нас есть такие девушки, мы еще не погибли...

И вот теперь эта Эстер, лишившись брата, без которого до того не сделала ни единого шага, оказалась как бы на их попечении, нуждаясь в опеке и материальной поддержке. Что за упительная ноша! Они спешили опередить друг с друга в любых услугах: подыскать квартиру, помочь деньгами, сбегать туда-сюда. Они беспокоились о ней больше, чем о самих себе. Вымаливали ссуды, о! – никогда еще деньги не ценились ими столь высоко, как теперь!

Каким образом и где раздобыть все это, будучи закупоренным в наглухо перекрытых границах и отрезанным от внешнего мира, которым ты только и жил до сих пор? Правда, и тут есть много богатых евреев, интересующихся литературой и гордых знакомством с писателями, но попробуй подойди в кафе к одному из них и попроси вполголоса одолжить двадцать крон! Он тотчас отшатывается от тебя, мрачнеет, и его задушевная беседа с другом-земляком, компаньоном по торговле и маклерству, с которым он общается в тот час, вдруг становится необыкновенно важной...

Каждое утро ты просыпаешься и спрашиваешь себя: к кому сегодня? Имеется служащий «Альянса», доктор Ящурка, главная обязанность которого в этом учреждении, по-видимому, состоит в том, чтобы ничего не давать. Он встречает тебя в своем доме в злобно поблескивающих очках и протягивает тебе вялую руку. Только это принужденное рукопожатие, никаких объятий – он не уверен, что ты достоин и этого. Узнав о цели твоего визита, он принимается укорять тебя:

– Подумайте – явился! Прежде, в мирное время, тебе не пришло в голову навестить меня, а? А сейчас, когда нужда прижала, вспомнил? Теперь вам не осталось ничего другого, как возлагать надежды на... (перечислил одного-другого влиятельного господина) и на меня... И на меня...

И не дал!

Эстер ждала снаружи, на углу улицы. Был последний день месяца, завтра нужно вносить квартплату – и нет денег!

Следующей ночью – бессонной ночью – рождается идея пойти к старичку профессору Шмуэлю Заксу, прославившемуся своими научными статьями по иудаизму. Надо идти к этому знатоку Торы!

Надавив на кнопку электрического звонка, торчащего сбоку от сверкающей медной таблички, услышал шаги за дверью. Чей-то глаз приложился с той стороны к глазку. Малосимпатичная девица ввела к профессору и позвала:

– Папа, тебя спрашивают!

Все знают, что она не имеет ни малейшего представления о содержании тех трудов, которым посвятил свою жизнь ее отец. Вот старикан собственной персоной появляется в кабинете. Высокий, немного ссутулившийся, в потертом бархатном жакете. Груды книг. Бесчисленные полки с книгами. Но не высокий лоб мыслителя, нет. И в глазах нет пытливого блеска – обыкновенный венгерский еврей.

Выслушав все до конца, стал отвечать и поразил неожиданно грубым и базарным голосом. Провел рукой по сединам, не вполне еще очистившимся от примеси темных волос, и заговорил о своем горьком опыте в данном вопросе: сколько одалживали у него деньги, да так никогда и не вернули! Да, он ему верит, он не подвергает сомнению его честность, не дай Бог! Но что, если у господина нечем будет вернуть?..

– Хотя бы двадцать крон!..

После тяжелой душевной борьбы, которую словно бы разделяли и поддерживали все книги вокруг, выдал, в конце концов, названную сумму. Рука его при этом дрожала, крепкая волосатая рука ученого. Но есть чем заплатить за квартиру, и это главное!

Остальное – не страшно. Питаться можно и в «фолькскухе» (благотворительная народная кухня). За считанные гроши ты получаешь там приличное питание. Нужно, правда, сперва вы-

стоять длинную очередь снаружи – пока удастся спуститься по ступенькам вниз, во мрак, в просторное подвальное помещение. Толпа обездоленных. Представлен весь низ общества. Каждый сам тащит с кухни дымящиеся паром тарелки и выискивает местечко за одним из многочисленных длинных столов. Звон посуды и стук приборов, вынужденное соседство с грязным уличным нищим... Все это еще можно было бы вытерпеть, если бы не Меир Зилпер из Вильны, на которого вдруг натывается твой взгляд. С великой осторожностью продвигается он во всей этой толчее, бережно придерживает миску двумя руками и поворачивается туда-сюда, отыскивая местечко, где можно было бы присесть. И тут ты падаешь духом, со всех ног бросаешься к лестнице и, очутившись наверху, на улице, с жадностью, полной грудью вдыхаешь свежий ветер.

– Теперь едем в Штайнхоф! – призывает Эстер.

На улице она завистливо поглядывает на ботинки прохожих матрон, задерживается возле витрин и подолгу изучает новые шляпки, которые, точно слоники, выстроились за стеклом, привлекая внимание дам. Прелесть ее поношенной шляпки невозможно растолковать ей никоим образом. И уже изготавившись идти, она бросает на витрину последний серьезный и грустный взгляд, который говорит: «Они еще будут моими!»

Она не подозревает, какая великая сила кроется именно в ее стареньких нарядах, которые со временем впитали так много от ее дивного образа. Она и в них привлекает к себе взоры всех пассажиров трамвая, направляющихся тем же скорбным путем навестить своих близких. Печаль, приправленная стыдом, читается на лицах. А на некоторых блуждает странная улыбка: в них можно распознать приближенных несчастных сумасшедших...

Голая земля и поля по обеим сторонам дороги, хибарки, огороды и крохотные сторожки в их глубине. И вот вдали возникает входная арка Штайнхофа. Еще немного, и растворятся черные тяжелые ворота. Посетители проходят и с опаской минуют здорового привратника с ухоженными усами, а потом растекаются отдельными группками во все стороны обширного двора.

– Идите за мной! – приказывает Эстер: все тропинки здесь уже известны ей. Она снимает шляпку со светлой головы, тотчас засиявшей золотом в лучах осеннего солнца, и шагает вдоль кустов и деревьев. Ноги ее утопают в опавших листьях и давят их с шуршанием. Она приводит компанию к корпусу номер восемь, и молодая розовощекая сестра вводит всех в зал. Особый больничный запах, смесь сестер, надзирателей и посетителей, и между ними бродят больные в своих одеждах. Часть из них – столь давние обитатели этого места, что весь мир успел позабыть об их существовании, они смотрят с завистью на своих свежих товарищей, сидящих между родными и пачками

печенья и прочих лакомств. Слышится голос сестры в соседней палате:

– Господин Манро, к вам пришли!

Поцеловался с сестрой. Та тотчас протянула ему передачу, но он сделал протестующий жест рукой:

– Потом, потом!

Удивил приятелей ясностью мышления и присущей ему резкостью суждений. Один из них не удержался и коснулся болезненного вопроса: поинтересовался, как это может быть, что столь разумный и интеллигентный человек, как Манро, осведомленный о существовании мании преследования и ее проявлениях, не сумел при помощи разума справиться со своим душевным недугом. Это, должно быть, как в кошмарном сне: знаешь, что это не более чем сон, но с любопытством продолжаешь следить за ходом опасного действия, уверенный в благополучном исходе, который наступит в момент пробуждения.

– Невозможно, невозможно, – пробормотал Манро, словно извиняясь, и в глазах его вспыхнула прежняя искра безумия. Та самая искра, над которой у всех доводов логики нет ни малейшей власти.

Эстер сидела возле него, слушала и не слушала, и никогда еще не была столь прекрасна, как здесь, в этом печальном месте. Все девушки, которых ты любил в прежние дни, в различные периоды своей жизни, совсем в других местах, словно воплотились в ней одной. В ней, в Эстер, сошлись, вернулись и пребывали сейчас все, все! Чей-то голос спросил с трепетом:

– Господин Манро, вы уже рисовали вашу сестру?

Художник повернул к ней голову и взглянул, как брат и как влюбленный одновременно:

– Я пытался, – признался он. – Несколько раз. Но мне не удалось. Исчезает... Ускользает меж пальцев...

– Этим портретом вы могли бы покорить весь мир!

Тень неудовольствия промелькнула на лице Манро. Таких комплиментов в адрес сестры он не терпел и с откровенной тоской посмотрел на нее вновь. Она играла золотым «сердечком», висевшим на цепочке у нее на шее, прикусила его зубками и чему-то улыбалась. Красота ее сверкнула вдруг, как продолжительная, затянувшаяся молния. Поэты вздрогнули все как один, потрясенные, их больные нервы напряглись едва ли не до помутнения сознания – страх охватил их вдруг. Страх. Верно, перед этими здоровенными надзирателями, которые мечутся туда-сюда с ключами в руках. Что если они вдруг не позволят им выйти отсюда?..

– Четвертый час, – сказал один. – Пора уходить.

Обратно шли пешком. Миновали сад. Эстер сорвала сосновую ветку и в шутку подарила кому-то. Эта колючая ветка казалась теперь дороже самых прекрасных цветов, которые другие девушки преподносили в свое время.

– Почему только ему? – вскричали остальные.

Но даже «счастливчик» не обманывался, он чувствовал, что эта гордая девушка безнадежно недостижима. И не только здесь, на глазах всей компании, но и наедине, когда удостоила его своей милостью и посетила однажды его скромное жилище. Вот она под его кровом – и ничего. Даже до кончика своей косы не позволила дотронуться. Жестокость? Нет. Милосердие, милость к другим, ко всему миру... Брам, старуха, хозяйка гостиницы, ничего не желала знать и понимать. Клокочущее рычание слышалось за стеной:

– У меня тут не публичный дом!

Как легко они вскипают и выходят из себя – эти квартирные хозяйки, будь они христианки, коренные жительницы этого города, или еврейки, уроженки Моравии. Едва завидя девушку, переступающую порог их «отеля», они сатанеют, глаза их наливаются кровью и губы синеют. Девушка! Она осквернит их дом, это сама проказа, сама порча! Хотя ведь и у них имеются молоденькие дочери, да и сами они тоже некогда были девицами. Непостижимо!

Тут они стоят на страже и караулят в семь глаз, а вот блюсти чистоту в своем заведении, следить, чтобы в комнатах не было клопов – этого нет! Когда ты являешься к ним впервые с намерением снять квартиру и спрашиваешь – ты ведь бежишь от этой напасти, которая извела тебя на прежней квартире, – когда ты первым делом спрашиваешь: «Есть клопы?» – она, хитрющая старуха, прикидывается душой и, не глядя тебе в глаза, пожимает плечами:

– Прежний жилец не жаловался...

Сердце твое подсказывает тебе недоброе, но нет сил спрашивать дальше: хочется верить ей... В первую ночь ты крутишься в новой своей постели и дивишься нежданному счастью. Пока что все хорошо. Но вот ты задремываешь, и в то же мгновение чувствуешь привычный укус. Есть! Весь переезд с квартиры на квартиру был пустой тратой времени!

Утром ты намереваешься излить весь свой гнев, накопившийся в душе за долгую бессонную ночь, на эту мерзкую лживую женщину. Но при свете дня все выглядит иначе, и ты становишься слабым, сдержанным, вежливым. В конце концов, с кем тут говорить, и что она может сделать?

И вот кафе, утренние газеты сообщают о целых городах, которые артиллерия с двух сторон – с нашей и с вражеской – разрушила полностью, не оставила камня на камне. Да, да! Разрушить все, разбить и сокрушить старые крепости, проклятые стены, в которых нет ни одного чистого камня, развеять и уничтожить все города и их мерзких и преступных жителей, низвергнуть все и сжечь до основания, до основания!..

Однако дело разрушения увядает на середине. Наступает мир, и являются победители. Они прибывают в качестве членов

различных делегаций – англичане, итальянцы, сербы. Являются, и триумф победы в их сердцах. К тому же и твердая валюта водится у них в карманах. Город сей на Дунае любезен их сердцу, взгляды их скользят по юным девам, по хорошеньким женщинам, несчастным и сиротливым, голодным, закутанным в лохмотья, бездомно бредущим по улицам, останавливающимся на мостах и на набережных. Охота была легкой и погоня недолгой – после того, как уничтожили на войне их отцов и старших братьев... Как безмолвные овечки пошли за ними, и если одна отказалась или была в нерешительности, то это лишь потому, что стыдилась своего убогого бельишка.

Они щедро одаряли дочерей поверженного врага. Возбужденные трофейной красотой, которую даже скверна нищеты не смогла загубить, вели их в магазины одежды и обуви, малышка ставила свою крупную ногу в рваном чулке на табуретку, специально для этого приспособленную, и продавщица склонялась к ней и старательно помогала обуть туфли и завязать шнурки.

Потом избранница вытаскивала туфельки из картонной коробки – дивный запах новой кожи! – целовала блестящие подметки и глядела со счастливым смехом и глубокой благодарностью на любезного чужеземного кавалера. И новенькая замечательная шляпка, такая воздушная! – завершала туалет.

Из магазина одежды направлялись в большой шикарный ресторан. Это вам не народная кухня! Она ест и пьет с таким аппетитом – молодое очаровательное животное с крепкими зубками – и не подымает глаз на официанта, своего соотечественника... И только когда трапеза приближается к концу, она немного грустнеет. Поскольку то, что ожидает ее впереди, не особенно радует ее сердце – несмотря на все.

– Пойдем? – говорит он.

Она смотрит просительно.

– Давайте посидим еще немного...

Так пали малые сии вместе с великими. Блондинки и брюнетки, дурнушки и хорошенькие. Буря повалила рожь вместе с васильками, что расцвели в ней. Увы! Пала и Эстер...

В летние ночи. В летние ночи на улице Керnten и Грабен. Блестел темный гладкий асфальт, с витрин запертых магазинов поглядывали во тьме мужские рубашки, новые книги и автомобиль, заключенный в тесном помещении, – великан, занявший все его пространство, а на церкви Святого Стефана светились громадные часы.

Прекратились поездки в Штайнхоф, покинут и забыт художник Манро. Только один раз навестила его компания – уже без Эстер. Они прибыли к нему ошеломленные и растерянные, будто кто-то ударил их молотком по темечку – огрел обухом по голове. Как будто надеялись получить помощь у Манро. Но, ко всеобщему изумлению, новость не произвела на того необходимого впечатления. Он махнул рукой и бросил кратко:

– О чем тут говорить? Потаскуха!

И они не стали больше ходить к нему.

А ведь именно теперь он более всего нуждается в помощи друзей. Он написал портрет голубоглазого врача, заведующего лечебницей, и подарил ему картину. Тот, чрезвычайно польщенный, велел выделить Манро особую комнату, разрешил раз в неделю ходить в город покупать краски – чтобы мог беспрепятственно заниматься своим искусством. И это еще не все: сказал, что готов отпустить его отсюда, если только найдется поручитель, какой-нибудь состоятельный человек, который позаботится о его существовании за стенами больницы. И вот, чтобы достать это поручительство, которое может возвратить ему желанную свободу, требуется участие друзей. А теперь, когда все исчезли, придется ему, видно, сидеть здесь до скончания века!

Мир принес с собой перемены, новые люди появились в городе. Ликвидированы убежища для перемещенных лиц, открылись границы. Вернулся и Давид Голь, чтобы рассказывать всякие ужасы. В неопишуемой тесноте, в грязи, а порой и вовсе без крыши над головой провел он там три года. «Есть там дают?» – нет, не давали. Люди рыли голыми руками землю, выкапывали кости и глодали их с голодухи. Там было куда хуже, чем на поле боя. Лоб его стал выше, виски побелели, а глаза обрели новое выражение – взгляд, обращенный внутрь, как у того, кто повидал нечто такое, что не ведомо прочим людям.

Прибыла из Вильны жена Меира Зилпера с маленькой дочерью. Отец, держа малышку за руку, в своей зеленой шинели, развевающейся на осеннем ветру, повел ее по улицам Вены – что за трогательная картина! Издали она казалась милой девочкой, но если присмотреться, можно было заметить легкое воспаление в карих глазах, глазах черты оседлости, что напомнило ему все мрачное и убогое, что оставлено там, на родине, и уничтожило остатки тоски по ней.

Как торопливые клочья рассеянной тучи, как последнее напоминание о пронесшейся и утихшей буре, прибыли из тех краев смуглые молодые люди с баулами на плечах и толпами, как новобранцы, устремились к дверям комитетов и союзов. Это были «халуцим» – готовые на труд и на подвиг подвижники, направлявшиеся в Эрец-Исраэль. Ими занимался Вальдшнеп, доктор из Галиции, – изучал их своими насмешливыми глазами.

В тот час навстречу им летел из Эрец-Исраэль иерусалимский писатель Шломо Пик – «вдохнуть Европы». Он сам принадлежит Эрец-Исраэль, и душа его принадлежит Эрец-Исраэль, этой стране, которой и он как-никак немало поспособствовал в ее строительстве – не мотыгой, правда, и не топором, но острым и беспощадным своим пером, которым без усталости преследует беззаконие и несправедливость, где бы они ни скрывались. Там, в Эрец-Исраэль, он сидит среди народа своего, в доме своем, в то время как здесь нет у него почвы под ногами. Здесь передви-

гается он с трудом, словно лишившись опоры, и в трамвае, полном людей, стоит и покачивается, готовый упасть. И торопится «вдохнуть Европы», хватается подряд за все газеты, с жадностью прочитывает центральные статьи, неумоимо посещает театры и концерты, с трепетом и восторгом слушает музыку, укладывает все это бережливо и заботливо в свой багаж и – летит обратно в Эрец-Исраэль.

Он еще не отряхнулся от дорожной пыли, а уже купил билет на Девятую симфонию и завернул в первое попавшееся по дороге кафе. Немного передохнуть и собраться с мыслями. Вечером поищет приятелей, всю компанию, а завтра поедет в Штайнхоф навестить Манро... И вдруг – суматоха и паника: полиция! Оказывается, это одно из тех кафе, в которых тайно процветают недозволенные законом азартные игры. И полиция не забывает время от времени нагрянуть сюда. Обыскивает присутствующих, выворачивает карманы, изымает деньги, собирает кучу вещественных доказательств и препровождает группу евреев в полицейский участок. И Шломо Пика вместе с ними.

Все «исподнее» некоторых из тех, кого взяли, выставлено средь бела дня на всеобщее обозрение, поскольку пуговицы на штанах остались не застегнуты. Шествуют они в таком виде по улицам города, с двух сторон от них – вооруженные полицейские, справа и слева. Прохожие потешаются и издеваются над ними, проклиная и честят их, грозят кулаками. Какая-то женщина, указав рукой именно на Шломо Пика, закричала:

– Вот они, кровопийцы!

Иерусалимский писатель был тотчас освобожден, хотя полицейский комиссар и удивился ему немного, но то, что он вытерпел в эти, пусть недолгие часы, наложило неизгладимый отпечаток на его лицо. Свежие морщины прорезали его. И Манро, к которому он все же прибыл назавтра, глянул на него с восхищением:

– Знаешь что? Я тебя нарисую!

Две недели трудился в своей мрачной келье с зарешеченным окном над портретом Шломо Пика. Запечатлел все: лоб, скулы, глаза, мрачные морщины, и даже, когда вошла сестра и поставила на стол чашечку кофе, не обратил на нее ни малейшего внимания и продолжал водить кистью по полотну, бросал взгляд и наносил мазок, еще взгляд и еще мазок. Временами писатель вздрагивал: безумный вопль, похожий на ржание лошади, доносился из палаты напротив. Вопль повторялся с некоторыми вариациями точно через каждые десять минут.

В эти дни они гуляли вдвоем по просторному двору. По узкой земляной дорожке добрались до церкви, на куполе которой образовалась плешь: часть ее бронзового покрытия в прошлом году сняли для нужд фронта – для изготовления орудий. Молча и одиноко постояли немного посреди огромного, мрачного и холодного пустого пространства. Вышли, и глаза их просветлели. Посидели на скамье. Вокруг стояли пропыленные кусты, листья

пропитаны темным ветром, и безумные женщины, которые то и дело, смеясь и плача, проходили мимо, возбуждали невыносимое отвращение. Художник рассказал Шломо Пик про необходимое для его освобождения поручительство и спросил, может ли тот обратиться к одному из своих многочисленных знакомых.

– Попробую, – ответил писатель.

Манро оживился, искра надежды на мгновение осветила его иссякшее лицо.

– Я здесь погибаю. Есть дают – суп, суп и суп... От недоедания и истощения вспыхнула эпидемия гриппа. В устрашающих размерах, косит всех подряд. Шестой корпус опустел в одну ночь. А атмосфера? Этот безумный крик, который потряс тебя, – я слышу его всегда, постоянно, без передышки, без остановки!

Вечером того же дня Пик направился в кафе, где собирались известные и состоятельные люди, и пытался заговорить с некоторыми из своих знакомых – богатых домовладельцев. Но те лишь пожимали плечами: да кто же согласится взвалить на себя такое дело? Беспомощно уставился писатель в глубь кафе, полного сигаретного дыма. Из тумана одновременно прорезались два лица: общественного деятеля Прикера с бельмом на глазу и рифмоплета Мордехая Зигфрида, который до сих пор отирался здесь в грязной обшарпанной куртке, и официантки-христианки с усмешкой показывали на него пальцем: вот еврейский поэт!

К кому тут взывать?..

И Манро тоже быстро понял, что ему не на что надеяться. Он закончил портрет Пика и прислонил его к основанию стены. У самого Шломо Пика нет тут никакой почвы под ногами, но портрет его стоит прочно. Портрету найдется место и в Европе.

Когда однажды они прощались возле ворот, Шломо Пик пообещал:

– Я еще загляну к тебе.

– Милости просим! – ответил художник.

Так, из вежливости сказал «милости просим». В глубине души он вовсе не жаждал встреч. Поскольку портрет уже готов, нет никакой надобности в оригинале. Шломо Пик представлялся ему теперь чем-то вроде колодки, которую сапожник удаляет прочь из ботинка, когда труд завершен.

1922, Вена

Перевела с иврита Светлана Шенбрунн

ДВА РАДИОНТЕРВЬЮ С ИОСИФОМ БРОДСКИМ

НАТАЛЬЯ РУБИНШТЕЙН, РУССКАЯ СЛУЖБА БИ-БИ-СИ (1986)

Если смотреть из сегодняшнего дня, то ясно, что в марте 1986 года нам всем было уже рукой подать до гласности, а Бродскому – до Нобелевской премии. Но, находясь внутри этого марта, мы, разумеется, этого не ощущали и не предвидели. Нобелевская для Бродского был дежурный сюжет в кругу знакомых с ним людей: вновь и вновь говорилось, что его имя на списке Нобелевского комитета, и если не в этом году, так в следующем... Но кто его знает, в каком?.. Его известность была уже очень большой и прочной, но ещё не имела того массового размаха, какой она приобрела всего через полтора года. Кажется, зимой того же 1986-го он выступал со стихами в зале Содружества. Я вызвалась сделать заметку для субботнего радиожурнала и попросила, чтобы мне заказали билет. Редактор посмотрел на меня с удивлением: «Придёшь и купишь». Мне казалось, яблоку негде будет упасть. Но прав оказался редактор. Зал, небольшой, хоть и не был пуст, но и целиком заполнен не был. (Года через три огромный – на три с половиной тысячи мест – Королевский фестиваль зал при его выступлениях был забит до отказа, и билет нельзя было достать ни за какие коврижки). Много раз, живя в Израиле, сталкиваясь на улице с рыжими, застенчивыми до наглости, двадцатилетними мальчишками, я вздрагивала от удара сходством: у них была внешность и энергия молодого Бродского. Но на эстраду вышел пожилой, полноватый, лысоватый господин, похожий на тогдашнего лейбористского лидера Нила Киннока. Я не видела его тринадцать лет, и на улице не узнала бы. Почти целый час читались английские переводы. Был и переводчик, кто – не помню. Потом он читал сам и начал с автопереводов. Я играла с собой в «угадайку»: вот это то, а это – это. Было острое чувство потери и несоответствия, которое я объясняла себе скудостью своего английского. Потом из какого-то угла зала носители сходных эмоций стали просить почитать по-русски. Сперва он не хотел замечать эти призыванья. Просьбы стали настойчивее и громче: «По-русски! По-русски!» Он сказал что-то назидательно-едкое: дескать, здесь определенный порядок вещей имеет место быть, и не о себе одних думать надо, но в виде компромисса посулил: прочту в конце пару стишков. Он устал, лоб вытирал платком. Но, читая по-русски, завелся от хода стиха, от раскачки голоса, от электрического тока, связавшего его с русским углом зала. В общем, он прочёл стихотворений десять. Английская часть публики не была в накладе – она явно была втянута в магнитное поле происходящего.

Я подошла после того, как он кончил читать. Назвалась. Узнать меня было не проще, чем его. Но он сказал, что узнал. «А-а, на Би-

Би-Си?!... Со Славинским?...» Он ответил в микрофон на какие-то мои вопросы, и напоследок я не удержалась – спросила: что значит для него перенос собственного стихотворения из одной среды в другую и удовлетворен ли он тем, как это делают переводчики, да и он сам. Он ответил, почти не показав раздражения (научился на Западе), – переводчики есть хорошие, есть плохие. Не накинешь платок. Для него это часть литературной профессии, точно те же стихи в другой оболочке, похоже на разгадывание кроссворда: надо, чтобы все клеточки были заполнены и слова пересекались в нужных местах.

Прощаясь, я сказала, что мы готовим передачу к двадцатилетию со дня смерти Ахматовой, станет ли он участвовать? Он оторвал клочок бумажки и написал номер телефона в Нью-Йорке: «Позвони». Тогда мне это ничуть не показалось странным, а сейчас, задним числом, я подумала: у него ещё не было привычки к визитным карточкам.

В марте 1986 года глушилки работали на полную мощность, лыжники в выходной брали с собой за город транзисторы, любимым радиогероем и недостижимым образцом всё ещё считался умерший в 1981 году Анатолий Максимович Гольдберг. Но смена поколений и вкусов уже шла. Новое поколение ещё не выбрало пепси, но любимым радиоперсонажем тридцатилетних был уже не политический комментатор, а диск-жокей Сева Новгородцев. Лёд вот-вот готов был тронуться. Но ещё в полной силе был старый порядок вещей: Би-Би-Си должно было выпустить в эфир передачу к двадцатилетию со дня смерти Ахматовой, используя те возможности, которыми мы располагали, а радио в России – нет. Расспросить Бродского, высланного четырнадцатью годами раньше из Ленинграда, об Ахматовой, многие стихи которой оставались тогда запрещёнными текстами – была именно такая возможность.

Н. Р. О молодом окружении Ахматовой рассказывает в своей «Второй книге» Надежда Яковлевна Мандельштам: «Вдруг она вообразила, что снова, как в молодости, окружена поэтами и опять заваривается то самое, что было в десятых годах. Иосиф Бродский – среди друзей «последнего призыва», скрасивших последние годы Ахматовой, он глубже, честнее и бескорыстнее всех относился к ней».

И. Б. Началось все это с того, что один из моих близких друзей, замечательный поэт, предложил мне отправиться в Комарово и познакомиться с Ахматовой. Это было, по-моему, в шестьдесят втором году, если я не ошибаюсь, где-то в конце лета*. Мне было, наверное, двадцать два года, и я не был читателем Ахматовой, то есть я не очень хорошо себе представлял, к кому я еду. То есть я знал там пять или шесть стихотворений, то есть самый минимум. И мы отправились в Комарово. Знакомство состоялось, чисто формально – я показал

* Первая поездка И. А. Бродского (с Е. Б. Рейном) к Ахматовой состоялась в августе 1961 г.

Анне Андреевне свои стихотворения, которые она хвалила, она мне показывала свои, то есть чисто профессиональный поэтический контакт имел место быть, пока в один прекрасный день, возвращаясь вечером из Комарова в поезде, в переполненном поезде... вдруг в моем сознании всплыла одна... одна фраза, одна строчка из ахматовских стихов – «Меня, как реку, суровая эпоха повернула».

Я вдруг понял, с кем я имею дело, кого это я вижу, к кому это я наезжаю в гости в Комарово. То есть произошел некоторый едва ли не душевный переворот. Началось общение совершенно другое – может быть, это звучит немножечко возвышенно, но началось действительно общение не лиц, глаз, а началось общение душ.

Н. Р. Я прочла Иосифу Бродскому те строки из очерка Исайи Берлина об Ахматовой, где говорится о том, как Ахматова оценивала раннюю поэзию Бродского: «...было много талантливых поэтов среди младшего поколения: лучшим из них был Иосиф Бродский, которого, как она выразилась, она сама вырастила». Как относится поэт к этим словам?

И. Б. Я сталкиваюсь с этой фразой впервые. Это ужасно приятно слушать. Дело в том, что, имея дело с этим человеком, то есть, с этим поэтом, с этим человеком прежде всего, даже если вы не имели никаких понятий о человеческой этике там, о культуре, о христианстве, о цивилизации – я уже не знаю о чем, да? – даже если вы не читали ни Ветхого, ни Нового завета, ни «Божественной Комедии», ни Гомера, ни кого другого, то есть одним своим поведением, выражением лица, поворотом головы, – во всем этом содержался совершенно невероятный урок. Никто и ничто не научил меня так понимать и прощать – всё: людей, обстоятельства, я уже не знаю, что... природу, может быть, просто безразличие высших сфер, как она.

Н. Р. То есть действительно вырастила и имела право сказать это о Вас?

И. Б. Я думаю, что да. Я думаю, что да.

Н. Р. Если Вам эти слова не знакомы, то я почитаю дальше, что Ахматова говорила Берлину. «Мои друзья и я думали, что говорим подлинным голосом двадцатого столетия. Но настоящее начало пришло лишь с этими новыми поэтами. Пока они находятся под замком, но придет время – они вырвутся на свободу и изучат весь мир».

И. Б. Ну, у меня от этих слов, действительно, мурашки идут. До известной степени это правда. Дело в том, что Ахматова была поэтом невероятно высокого профессионализма, то есть больше всего ее интересовало именно, говорит ли поэзия, русская поэзия, языком своего времени. Высшей из ее похвал была эта фраза «Такого еще не было». Я помню один случай, когда я приехал к Анне Андреевне и привез ей стихотворение «Большая элегия Джонну Донну». И она мне сказала: «Вы не знаете, что вы сделали». Она этого не уточняла, хотя, в общем, у меня было смутное ощущение о том, какое это стихотворение и что в нем написано, и что в нем сделано. Но тут вот, с этого момента, я думаю, и началась моя более или менее профессиональная жизнь, с этой фразы ее.

Ахматова была человеком чрезвычайно начитанным. Она читала по-английски, по-французски, по-немецки, по-итальянски. Я помню, что впервые «Ромео и Джульетту» по-английски я услышал в ее чтении, как, впрочем, и куски из «Божественной комедии» по-итальянски. До известной степени, она права и не права – затмить эту четверку – Мандельштама, Цветаеву, Пастернака – это и невозможно, и не нужно, я думаю, это немыслимо. И, тем не менее, я понимаю, что она говорила, потому что, действительно, можно почувствовать элемент некоторой архаики. Но действительно, вырвались ли мы на свободу, то есть удивляем ли мы мир? Ну, я думаю, что до известной степени – да. Менее, впрочем, чем англоязычный мир на сегодняшний день в сильной степени ошеломлен тем, что он читает в переводах на английский с русского Ахматовой, Пастернака, Мандельштама и Цветаевой.

Н. Р. Чувствуете ли Вы в своей поэзии влияние Ахматовой?

И. Б. Конечно же. Конечно же. То есть она учит, по крайней мере, русского поэта, одной вещи, а именно – сдержанности тона. До этого самому довольно трудно додуматься, или – трудно дожить. Поэты, в особенности, мужчина, пишущий стихи, у него есть эта тенденция навязать себя читателю, не говоря уже просто о потомстве, то есть, в общем, заговорить, что называется, во весь голос. Вот Ахматова учит сдержанности.

МАРК ЗАЙЧИК, РУССКИЙ ОТДЕЛ «КОЛЬ ИСРАЭЛЬ» (1995)

С Бродским я не был знаком и поэтому разыскивал его нью-йоркский телефон через знакомых. Литератор Людмила Штерн продиктовала мне из Бостона номер телефона Бродского, сказав, что ему нужно звонить в конце недели. Через несколько дней я позвонил Бродскому из дому. Бродский сказал, что несколько раз говорил обо мне с Довлатовым. Последний был моим хорошим товарищем, хотя с 1973 года (мой отъезд из СССР) мы не виделись и общались только по телефону и в письмах.

Бродский согласился дать мне интервью по телефону. Я помню, что он очень волновался, вспоминая умерших писателей, и несколько раз делал тяжелые паузы в разговоре, говорившие, на мой взгляд, о силе его переживаний. Мне даже показалось, что он плакал.

М. З. Я бы хотел услышать от Вас несколько слов по поводу Владимира Емельяновича Максимова, по поводу его кончины, по поводу того, что он значил для вас.

И. Б. Я знал Владимира Емельяновича более чем четверть века. Познакомились где-то в начале 70-х. Более тесное знакомство мы с ним свели уже вне пределов отечества в Париже, когда он стал редактором журнала «Континент». Это был замечательный человек, на мой взгляд. Человек, склонный к крайностям, но в его сознании существовала более или менее ясная цель. Он знал в достаточной

степени отчетливо, кто его главный враг. Я не знаю, что мне вам сказать о нем – о человеческих ли его чертах или о его профессиональной роли?

Как с писателем я с ним познакомился еще в России, когда прочел «Двор посреди неба», и тогда это произвело на меня довольно сильное впечатление. Впоследствии я сталкивался с его романами, его рассказами, его эссе, но я к прозе отношусь довольно сдержанно и без особенного интереса, и с годами мой, собственно, интерес к русской прозе стал более или менее увядать.

Я могу сказать о нем только следующее. Это человек был абсолютно непримиримый по отношению к политической системе, которая существовала в России, и ни на какие компромиссы с ней не способный. И то, что ему казалось компромиссом, вызывало в нем реакцию чрезвычайно жесткую, чтобы не сказать жестокою. Масса людей на него набрасывалась по этому поводу. Но он считал, как я полагаю, что в борьбе со злом главное – это злу врезать, а потом уже разбираться в нюансах. Это настраивало против него массу людей. Жизнь его была чрезвычайно сложна. Но он создал один из самых замечательных журналов, который существовал, по-моему, на протяжении двадцати лет. Его можно определить как журнал русского зарубежья, но для меня литература не делится. Я думаю, что это был один из лучших журналов, которые существовали в этом столетии на русском языке.

М. З. «Континент» существовал на протяжении двадцати лет, и, со всеми плюсами и минусами, на самом деле отражал то замечательное понятие, которое называлось русской литературой.

И. Б. Какое понятие?

М. З. Я сказал – русская литература.

И. Б. Безусловно. Не хочется говорить тоном некролога о журнале, но для меня все это уже прошедшее время, до известной степени. С перемещением журнала в Москву «Континент» для меня перестал существовать. Я перестал принимать в его деятельности какое-либо участие. Журнал существует. Но если определить одним словом пафос журнала, – журнал действительно характеризовала черта, присущая русской литературе в высшей степени, – чрезвычайно высокая нравственная требовательность.

М. З. Я был знаком с Максимовым, и, насколько могу судить, он был человеком, весьма далеким от понятия поэзии. Так я думаю, я могу ошибаться.

И. Б. Это не совсем так. Ему довольно многое нравилось. Но что в нем замечательно было, при всех, сколько я себя помню, раздававшихся в его адрес упреках в нетерпимости к другим точкам зрения и так далее, по отношению к поэзии, к изящной словесности он был терпим и считался с мнением тех, кто этим занимался более или менее систематически, куда больше, чем со своими собственными предрасположениями. Так, например, несколько раз я оказывался в состоянии уговорить его напечатать то, что ему было совершенно против шерсти. Как ни странно, он оказался в отношении ряда авторов, которых я ему предлагал, более здрав, чем я.

М. З. Вы могли бы это как-то объяснить?

И. Б. Я думаю, что он видел за тем материалом, который ему предлагался, прежде всего, людей. Даже не зная этих авторов лично. Видимо, у него существовало то, что называется профессиональное чутье. И он более или менее догадывался, кто дрянь, а кто нет. Я помню, я предложил ему, и он против своей воли напечатал, на мой взгляд, замечательные тогда стихи Эдуарда Лимонова. Но он был прав. Я был не прав.

М. З. Неужели вы бываете не правы по отношению к Лимонову?

И. Б. Вы знаете, что люди эволюционируют, и я думаю, что Эдику Лимонову гораздо лучше было бы писать стихи, чем прозу. Но он выбрал себе этот путь и превратился в то, во что он превратился.

М. З. Иосиф Александрович, все знают, но я полагаю, следует всем все напоминать. Максимов несколько раз мне говорил и в Париже, и в Иерусалиме, что есть два поэта, которых он любит в этом веке и в русской литературе, это – И. Бродский и Мандельштам.

И. Б. Я этого не слышал никогда.

М. З. Это он мне лично говорил, и, поверьте, я говорю правду. Может быть, еще и Пастернак, с сомнением сказал он, после трех точек. Потом он говорил, что мы же не судьи, что мы можем сделать... Это был человек, который, кого он любил, он любил, кого он ненавидел – ненавидел, и перед ним, со всеми его страстями, нужно снять шляпу.

И. Б. Безусловно. Когда человек помирает, принято по-русски говорить «Царство ему небесное», но зачастую, говоря это, ты сознаешь, что вряд ли этот человек это царствие увидит. Я думаю, Максимов увидит.

М. З. Как говорится в Иерусалиме: «Омейн села», то, что называется «аминь скала», – чтобы все было хорошо у него, если это может быть хорошо.

И. Б. Я думаю к таким людям, как он, Бог должен хорошо относиться, даже когда они перестают существовать физически.

М. З. Вы так считаете?

И. Б. Да.

М. З. Я еще раз скажу «Омейн села». Спасибо вам.

И. Б. Всего доброго.

Александр Лайко

НА ФРИДРИХШТРАССЕ ВЕЕТ СКВОЗНЯЧОК

* * *

Взять саквояж – и двинуть из Руси,
Допустим, в Рим, а, может быть, и в Ниццу,
По зимнику унылому труситься,
Морозным утром пересечь границу,

Дремать и грезить – купола Петра
И говор итальянского базара,
Спросонья что-то накропать в тетрадь,
Испить глинтвейн на берегах Изара.

Здесь жизнь весьма удобна и легка –
Масс пенится, и медхены воркуют...
– Ну как там? – спросишь, встретив земляка,
– Воруют, – он ответствует, – воруют.

А что до «Мёртвых душ» – остатний том
Не ладится – своя едва живая! –
Оставим встречу с Музой на потом,
А там... А там пусть вывезет кривая!

Как говорит один учёный муж,
Лоза Господня на Руси дичает –
За умерщвление, за растление душ
Никто в Руси и Русь не отвечает.

Ну не даёт ответа, хоть скажись,
И тройка мчится вдаль угрюмо,
И слышу я родимое «Катись!..»,
И дале мат – то ль пристава, то ль кума.

* * *

По улице,
Где припаркованы авто,
И сумрак зелени – с полотен Либермана,
От станции «Karlshorst» берлинского S-бана
По ходу поезда, примерно, метров сто,

Имею место быть. Жара.
Пью воду из-под крана.
На вешалке висит московское пальто.
А что касается моих соседей, то,
Поверьте, Иванов не лучше Вестермана.

Мне хочется себе ответить без обмана –
Каков же результат квартирного обмена,
Помимо знания, что Арбат далековат?

И коммунальный быт восстанет непременно...
Летучею слезой его омою стены,
– Прости, – проговорю, – но жизнь – моя.
Privat!

* * *

На Фридрихштрассе веет сквознячок –
Молоденький, балтийский, голенастый –
Того гляди, загонит день ненастный
В избу валдайскую, где балует сверчок,

Где в дверь стучится Коля-дурачок,
Сосед и гость, в связи с похмельем, частый,
Дрожащий и доверчиво-глазастый,
В руках бутылъ и стрелочка-лучок.

ТУМАН В ГАМБУРГЕ

Памяти Ю. К.

Ползёт по готике туман,
Как бы парок московский, банный,
Но даже в яви иностранной
Недолго тешит нас обман.
И град кривой, мне Богом данный, –
Холодный сон про Теплый стан.

Перекликаются суда –
И громогласно, и железно.
И что гадать тут? Бесполезно.
И даже думать, господа,
Какой же чёрт загнал сюда,
А, может, ангел мой болезный?

Куда белесые бадьи
Плывут ослепшие, чтоб слиться
С туманом, и не возвратиться
Ни в порт, ни на круги свои?
Не потому ль сегодня птицы
Как бы хмельны и в забыти.

Куда уходит человек,
Едва успев от сна очнуться,
И, оглядевшись, содрогнуться –
Ан камешек да имярек.
И на Москве метётся снег –
Хватило б сил не оглянуться!

А жизни сей халабала
Идёт, как фрау Шмидт за снедью,
Пронзительною готской медью
На кирхе бьют колокола –
Вот здесь твоею страшной смертью
Меня Россия догнала.

* * *

Нет на деревне тёплого сортира.
Г. Сапгир

Конечно, происходят перемены,
И снова тьма спешит, сменяя тьму:
Бандиты, демократы, бизнесмены,
Война в Чечне, глядишь – война в Крыму.

Кому угодно помнить Колыму?
Все вохровцы таперчи джентльмены,
Любители Пегаса, Мельпомены,
Набившие швейцарскую суму.

То ль к Ильичу вертаться? Аль к Петру?
Кому-то каннибалы по нутру,
Их почитают и в стране, и в мире...

А хочется – о, Русь! – тепла в сортире,
Да водки небалованной в трактире,
Ну и живым проснуться поутру.

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

И не узнал я девочку катка
В матроне тучной с цацкой Нефертити,
Кричавшей: «За картофель оплатите,
А после отходите от лотка!».

Ах, Бог мой, как она была легка,
Как вспыхивали канители нити –
Летающие московские снега,
Так далеко от нынешних событий.

ПРОЩАНИЕ С ДРУЗЬЯМИ

Как странно, я всё жду. Всё кажется, придёшь,
Тесёмки обветшалою папки расплетёшь,
И, словно в Тёплом стане, как когда-то,
Прочтёшь – заснеженный и бородатый –
Стихи... И, право, что тебе пивной галдёж?

Я продолжаю жить в раздолбанном Берлине.
Его, столицу рейха, украшают ныне –
Объединение, но в нём прогал, зазор:
Объединенье – да, а единенье – вздор,
Но нынче Рождество, огни и снег, и иней...

Признаться, не видал баркасов здесь во льду,
И всё ж задумывал, и много раз в году,
Что забредём сюда мы, может статься,
И: «Бюргерброй»... В разлив... В тени акаций...
Я эту кнайпу и зимой имел в виду.

Роятся мотыльки – рождественские свечи,
Ты что-то говоришь, подняв худые плечи,
И красит женщину свечей неяркий свет.
Три года как тебя на этом свете нет,
И год как нет её, и времечко не лечит.

УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

Сусанна Черноброва

ВИД НА ЖИВОПИСЬ

*Так в ритме песенно-блестящем все дальше
выставка идет. Над городом, над домом спящим
ты продолжаешь свой полет.*

Станислав Красовицкий

Выставки нашего детства совсем не исцеляли от цветового авитаминоза, который легко подцепить на севере. Разумеется, было и хорошее, но вредное зрение подростка упрямо отбирает дурное. Желание противоречить сильнее желания согласиться. Взрослые – люди из чужого лагеря. Сами слова «изобразительное искусство» отпугивали, зачем изображать то, что и так существует. В школе из урока в урок переходила бурая, похожая на беременный столб, ваза, которую ставила перед нами Лилия Оттовна, учительница рисования и черчения по совместительству. Штриховать ее было нудно.

Уроки математики увлекали. Ту же вазу как-то сняла с полки Евгения Петровна Ватник. Она преобразила ее, поставив между двумя зеркалами. В перспективе получился длинный ряд все уменьшающихся вазочек, показывавших бесконечность, что оказалось куда занимательней штриховки.

Брусочки акварели «медовая» манили, их тянуло лизнуть, попробовать на вкус. Я подозревала в крошечных коробочках чуда, но, как только прикасалась к ним кисточкой, злой колдун моментально превращал их в грязь, в серо-буро-малиновые лужи на покоробившейся мятой бумаге. Я не знала, что ничего не получится на тонких неопрятных листках в сальных пятнах, что хорошая акварельная бумага на ощупь – толстая шершавая шкура.

Домашнее задание: «Что я вижу из окна». Родители растиражировали золотую осень Левитана, замелькали голубые небеса, тропинки, ведущие вдаль, березки. Я жила в пасмурном остзейском городе, не в средней полосе. Тридцать солнечных дней в году приходились на лето. Окна комнаты выходили во двор-колодец, и в нем я всегда видела соседскую квартиру на противоположной стороне дома. Разбавленной анемичной тушью я вывела окно в окне – квадрат в квадрате, серый переплет, в который был вписан прямоугольник поменьше. Когда раздавали тетради, я увидела возмущенный кол поперек моей правдолюбивой схемы. Помню обиду – мне казалось, что я нарисовала правду. Изобразительное искусство началось со лжи, рефлекс закрепился. Я надолго поссорилась тогда с рисованием. И черчение за компанию возненавидела.

Выставки воспринимались чисто геометрически: периметр комнаты – каркас, наполненный рамами, на стенах висят квадраты и прямоугольники, в них уже не важно что, какие-то скучные пятна и линии. Настроение после них никакое. Был знак равенства между ними и бесчисленными стендами, досками почета, красными уголками. Такой была, например, нашумевшая выставка академиков, куда класс повели в культпоход. В парадных школьных формах с нейлоновыми бантами мы поднимались по мраморной лестнице с бархатным ковром. Гвоздем экспозиции была «Обеспеченная старость». Мы с унынием разглядывали розовых кукольных стариков, они казались восковыми, ни в какое такое уж особенное счастье не верилось. Нарисовано здорово, но к чему такие муки, зачем люди занимаются таким каторжным делом? Я даже посочувствовала бедным художникам.

Позднее, в пору оттепелей и похолоданий, образ выставки изменился. Он вышел за свои рамки, слился с прочитанными в самиздате строчками о ней (они в эпитафье). Стало понятно, почему на выставке слегка укачивает, как при редкой форме морской болезни.

Как-то зимним утром меня разбудило предчувствие. Я тогда делала плакат к тюзовскому спектаклю «Похищение Софи» по Хью Лофтингу, создателю Дулитла-Айболита, главный художник театра долго его «пробивал». Я вышла из подъезда и вдруг на трамвайной остановке увидела свою картинку. Весь город был оклеен моим плакатом, на всех рекламных тумбах летала игрушка-птицерыба, тюлень Софи с кустом голубых и розовых гладиолусов, растущих из головы, снег засыпал шероховатый фон афиши. Чудо тиража, слипшегося в параллелепипед в картонном типографском коробе, превратилось в выставку без границ, развешенную по улицам, паркам, витринам, эспланаде; на стендах вдоль канала тоже висели синие листы.

Были места в общей пасмурности воспоминаний, где анонимно обитала светотень. Остров отблескивал, сверкал, был рядом, почти во дворе, как в книжке Говарда Фаста «Тони и волшебная дверь». Прогулки на Заячий остров начинались с нарушения запрета, убежать с последнего урока – святое. Для того, чтобы попасть туда, надо всего лишь купить билетик за три копейки, как на трамвай, даже бумажка точно такая. И езды до него минут пять, рукой подать. Так дешево и просто, удивляла доступность чуда. Нравилось соединение несоединимых слов: речной и трамвай. Трамвай – символ сухопутного, это шпалы, рельсы, вгрызшиеся в землю. Но он, оказывается, может плавать и быть даже не пароходиком, а разросшимся катером, и бороздки от него на воде – рельсы. На берегу порт с подъемными кранами, пейзаж – промышленнее некуда, но всего одна трамвайная остановка до острова с тусклой дырявой травой, крапивой и подорожниками. Рынок и гнилые мостки причала – короткий переход между урбанистическим и деревенским. Дырки и точки на травинках означали близость промзоны, на яичниках одуванчиков и салатowych лопухах

лежала пыль. Остров, вода с бликами и небо составляли гигантскую систему зеркал, солнечные зайчики падали в изобилии. Мы брали лупу, ловили лучи, собирали в фокус, направляли на травинку. Дырки разрастались, вспыхнувший пожарчик моментально гасился лимонадом. Соседний остров Аннушка, на котором паслись козы, темнел лес, и на пристани стояли молочницы с бидонами, был «не то», слишком уж сельский. Загадочность пейзажу Заячьего придавала тень близлежащего заводского района. Его не портили даже слоновьи ноги шрифта «гарнитура рубленая» на транспаранте «Балтийское море – море мира».

И все это происходило на Двине, реке с жирной темной водой, пятнами масла и нефти, огрызками и окурками. Правда, в Двине иногда купались, но это были презираемые люди, штрейкбрехеры, предатели самой идеи, не нашей породы. Как можно купаться где-либо, кроме моря! Прочие водоемы считались суррогатами. И берег обязательно должен быть один, вытянутый в линию. Если второй берег виден, это уже лужа какая-то! Снобизм этот был упорен. Совсем не понимали тех, кто опускался до Киш-озера. И уж пределом падения был пруд. Купание в Лиелупе на фоне луга, заменявшего безбрежность, еще кое-как допускалось. Особенно ночью. Ну и буря на море могла послужить уважительной причиной тому, чтоб пойти на речку. Купание сильно повышало престиж в классе и во дворе, и важно было не пропустить ни дня; на температуру воды, сводки погоды, циклоны и антициклоны не обращалось никакого внимания. Пропущенный день образовывал черную дыру в календаре, пара таких дырок – и лето уже могли тебе не зачесть. Даже день шторма с белыми барашками запоминался как бессмысленный день, когда в воду входить нельзя. Особенно ценились походы на пляж в сентябре. За грань первого сентября переваливали со сладким чувством. Дотянуть до 15-го было уже высшим шиком. Высоко котирировалась способность не переодевать мокрый купальник, а также умение обходиться без кабинки, подпрыгивая на одной ноге и акробатически комбинируя изощренные движения.

Искрами и пятнами насыщены были стеклышки в рижских подъездах, уроки оптики, где изучали призму. Раз из физкабинета принесли поразивший нас предмет. Это был макет глаза, на оси под углом наподобие гироскопа вращался шар, вокруг яблока со стеклянной радужной оболочкой роились лучики, преломлялись, разламывались на части, преувеличенные ресницы двигались. Почему-то хотелось потрясти его, чтоб вывалился хрусталик. Я заглядывала в черный бездонный колодец зрачка с некоторым страхом, оттуда веяло холодком.

Мы как-то строили дачный домик из палочек и кубиков, не нашли слюду, попытались приспособить кленовый лист под витражное окно веранды, но не получилось. Я собирала коллекцию бутылочных осколков. Калейдоскоп был отрадой, я не понимала, почему не задают нарисовать его глазок, переливы мерцающих крапинок казались наказуемым баловством. Словно за это могли

и отшлепать. Вообще в те времена радость не особенно поощрялась. Мне часто говорили в детстве старшие: «Вот смеешься, скоро плакать будешь». Бедные наши учителя и родители жили в большой тени войн и катастроф. Они невольно подражали времени, были какие-то притихшие. Так детям не позволяют шумно играть, если за стенкой тяжелобольной. Деспотизм в Латвии был трехслойным, за короткий промежуток в 20 лет власть поменялась трижды. Мама рассказывала случай. Году в 52-м они с приятельницей занимались уборкой на Первомайском субботнике. Стирали пыль с портрета Сталина, он упал, стекло вывалилось из довоенной рамы. Плохо приклеенная фотография отлетела, под ней была газета, под той оказался Гитлер, а под ним – Ульманис. Молоденькие женщины осмотрелись в панике, не видел ли кто диверсии, и быстро повесили портрет на место.

В старших классах проводились экскурсии «Кем быть». Забредли в художественную студию дома культуры. На столе в беспорядке: беспородный кувшин, рядом группка пегих предметов, таких же дворняжек, голова неизвестного римлянина, пирамида. На полу табуретка с налипшими комками грязи и масляной краски. Все напоминало ремонт, недоделанный домоуправлением. Гипс был варваром, вытеснившим мрамор из парков, и связывался не с античностью, а со статуями спортсменов и пионеров возле клумб.

По контрасту запомнилась еще одна экскурсия. На конфетную фабрику «Лайма», где всюду была разбросана фольга, мелькали фантики, в чанах ворочалась шоколадная нефть. Лайма – имя божества счастья у латышей. «Шоколадом фабрики счастья веет ветер этого часа», – писала Оля Николаева, поэт из нашего дружеского кружка. Рижане знают пропахший ванилью и какао квартал на улице Миера. Когда-то на «Лайме» служила моя тетя Хава. Уехав в тридцатые в Израиль, она поселилась в Кирьят-Тивоне под Хайфой (они с мужем были из основателей этого поселка). В семье уверяли, что «Лайма» – прототип израильского «Элита», и что тетя использовала свой опыт при его создании. Добрые работники набили нам карманы конфетами, лимонными дольками, зефиром, пастилой. Аллергия еще не была модной болезнью.

Я слонялась по разным студиям в поисках места для занятий, почему-то много попадалось военных, и как-то раз человек с погонами, глядя на мои работы, возмутился: «Без подмалевка работаете? Эдак каждый, что захочет – то и рисовать будет».

Наш старший друг и наставник Леня Чертков (у нас в доме его называли мэтром, он и показал нам впервые стихи Красовицкого), одобрявший мои первые картинки, повторял: «Только от художников держись подальше, они начнут говорить: давай фактур-р-ру, давай, чтоб краска свисала». Надо сказать, что мне, по счастью, везло. Бог меня от таких советов хранил.

Выход нашелся стихийно, возникла счастливая замена рутине. Я стала часто наведываться в одну мастерскую в Задви-

ные, где со мной занимались по-другому. Там пригревали тех, кому некуда было податься, и не одну меня. В ту пору не думалось о незаурядности того, что в двух шагах. Куда важнее было в спешке договорить и доспорить о сиюминутном. Впервые живопись по-домашнему приблизилась вплотную. Она уже не картина на стене зала, а кто-то из семьи, хлопочущий по соседству в комнате. Масло на палитре Маши Айнбиндер было совсем иным, чем виденное раньше, на веселой дощечке кишело фиолетовыми, малиновыми дождевыми червями губчатое тело, ноздреватое месиво вздымалось, как на дрожжах. От него шел пар, блики переползали на подрамник, с него – на ткань. Глаза при туманном местном освещении не различали, где палитра, где холст – они перетекали друг в друга. На ткани нарастала корка, под броуновской поверхностью шло то же брожение, шевеление.

Перекочивая в Иерусалим, палитра не изменилась, все так же на ней дышало пористое тесто. Я видела разные палитры, но такую, похожую на хлеб, – никогда. В пекарне Володи Бродянского на улице Агриппы ходившая ходуном опара напомнила мне ее.

Позже в мастерскую стала приходить Света. У нее была так называемая типичная еврейская внешность, обаятельное сочетание черных кудрявых волос и серо-зеленых глаз. Жаль, что участь ее постигла распространенная: яркое начало, а затем смиренный, почти радостный отказ от своего. В аскетизме не было нарочитости, а был особо понятый такт. Она словно не желала быть одетой нарядней других. Над тем, чтоб уйти в тень, она трудилась. К любой собственности – дару, вещам, деньгам – Света относилась беспечно, даже наплевать, что порою сердило близких. Семья ее отношения к искусству не имела, знания она не получила в наследство, они были нажиты самообразованием. Начитанность сочеталась со смекалкой. Работы отличались выраженным собственным почерком. Один из лучших ранних рисунков: искорка летит над вечерним городом. Она невольно нарисовала собственную судьбу – обстоятельства не дали искорке разгореться. Но и погаснуть не дали. Требовалась и земная профессия, она подготовилась к поступлению на отделение дизайна в местной Академии. Но не удалось: возможно, зашкаливало за незримую процентную норму, и сочетание Светлана Иосифовна Резник кому-то не понравилось в списке, а особых связей не было. Она уехала водить экскурсии на Ладогу, поступила в медицинское училище, что ей подходило, ей нравилось помогать, ухаживать. Она приехала в 92-м, в Иерусалиме освоилась сразу, настойчиво повторяла, что ей кажется, будто она здесь раньше подолгу жила. Это ощущение преследовало ее, она словно предчувствовала, что первой из нас ляжет в эту землю. В здешней уличной сутолоке она выглядела даже естественней, чем в рижской, что-то южное всегда было в ней.

Светка устраивала выставки в недолго, к сожалению, существовавшем кафе «Афифит» на улице Яффо. Его описала Майя Каганская: «Враждебный оттенкам, каменный, дикорастущий Иерусалим, казалось бы, самый неподходящий контекст для вечернего альбома акварелей. И все же город поддался, уступил: кафе «Афифит», его рижская элегантность, сама неожиданность его полузабытого европейского уюта, в который, как в тенистую заводь, вплываешь из яффского говора и гомона... И, главное, — окно, огромное, почти в стену, полукругом окантовавшее кусок иерусалимского неба». Света участвовала в устройстве поэтических вечеров и выставок Даны Зингер, Гриши Козлета, Саши Цыбулевского и других, собственную выставку, как всегда, отложила, спрятав работы в ящик съемной квартиры.

Она сгорела за месяц в лучший женский период жизни, когда любила и была любима. На кладбище в Гиват-Шауле собралась толпа, что нечасто в Иерусалиме, где порядки суровые и хоронят в тот же день. Она работала медсестрой в доме престарелых в Бухарском квартале, все ее там знали. Картины Светы висят в ее бывшей квартирке в Нахлаоте.

Неясные лучи брезжили в дешевых книжках про импрессионистов, которые покупал папа, в репродукциях «Огонька». Мы вырезали их и складывали в папки. Слабый свет просвечивал сквозь муть скверной печати. «Огонек», «Изогиз» и «Аврору» вытеснил гэдзэровский «Вельт дер кунст». В антикварном магазинчике на ул. Петра Стучки работала жена одного коллекционера, известная в городе как «Рыжая Тамара». Из-за розового оттенка волос и фразы звучали чуть необычно: «Муж собирает книги по искусству, по эротике». Мы так и прозвали ее: «Эротика». У Тамары можно было посмотреть Ван-Гога, Матисса, Сезанна. Особенно привлекали издания Альбера Скира. В магазин приходили поглазеть на них, покупали редко из-за дороговизны. В обложки можно было лишь подсмотреть, как в окошки, Тамара предпочитала держать иные книжки под прилавком. Мы заглядывались на зрелища: предметы искрились, воздух пуантилистов напоминал игру в мыльные пузыри, когда мириады крошечных парашютиков спускаются вниз и лопаются, раскрываясь. Часто встречались цирковые мотивы, клоуны под зонтиками, фокусники, акробаты. Время застывало на расплюснутых циферблатах Дали, в натюрмортах под вспученными поверхностями копошились кубы, шары, пирамиды, иногда конус шипом вылезал наружу из бока скрипки. Все это возникало на миг, сверкнув, и потом быстро пряталось под прилавок. Впрочем, картинка «Революция», где Ленин стоял на голове, из альбома Шагала была вырезана. Так что законопослушное пространство по эту сторону окошек было начеку. Слово «Скира» звучало как пароль, его произносили заговорщически члены одного клуба. Я купила на стипендию Кандинского, и с тех пор была Тамарой принята как своя. Правда, больше я не приобретала, и она потеряла ко мне интерес.

Бывают минуты отчаяния, когда кажется, что все плохо, жизнь не удалась, словно вышел на минутку на улицу в тапочках без ключей, а дверь захлопнулась, и ты стоишь на лестничной клетке в растерянности с мусорным ведром в руках. В один из таких дней я познакомилась с искусствоведом Татьяной Семеновной Айзенман и художницей Александрой Давыдовной Лукашевкер (Т. С. и А. Д.). Они мне помогли тогда, устроили выставку в редакции «Декоративного искусства», возились со мной, сами развешивали работы. Одновременно мои друзья отнесли работы в московский профком графиков на Малой Грузинской, где их сразу взяли.

Когда мы собирались уезжать, дочь спросила меня: «А где ты найдешь таких людей, как Алечка и Татьяна Семеновна?». В то мгновение разлуки были единственным доводом не в пользу репатриации, а с ними обеими я уж точно прощалась навсегда. Приехав к нам в последний раз, Т. С. восприняла известие о нашем скором отъезде с горечью, и меня не покидает чувство вины.

Я читала ее, как читают прозу. Например, про рязанскую игрушку-свистульку: «То, что она дешевый пустячок, определило и весь ход работы над игрушкой. Главное, чтоб работа шла быстрее; считанные движения, точно одни и те же: как свернуть глину, где – вытянуть, где примять пальцем: ... В еще мягкую игрушку воткнуто было трижды: два глаза и рот. Стало быть, живет – смотрит».

Аля Лукашевкер работала в легендарном ЗНУИ. Аббревиатура означала Заочный народный университет искусств имени Н. К. Крупской. Помещался он в Армянском переулке в Москве. У него была двойная роль: и кормушка для преподавателей (там пригревали и участников «левых» выставок), и приют для художников, которых сегодня называют аутсайдерами. Принимая правила игры, художники словно играли в преподавателей и студентов, готовые в любую минуту поменяться местами. Случалось, что ученики и учителя выставлялись на одних и тех же неофициальных выставках. Это особенное место еще было заповедником для «наива», где диковинных живописцев охраняли и заносили в красную книгу. Самодеятельность – это не только выложенный ракушками Ленин, на выставки любителей ходили в поисках наивного искусства. Явление лукаво притворялось простодушным. Юрий Герчук назвал свою нашумевшую работу: «Примитивны ли примитивы?».

В ЗНУИ не столько учили, сколько дружили. Необычные студенты влияли и на педагогический метод. Там работали замечательные люди, которым я внутренне обязана (Таня Чудотворцева, Оля Вельчинская и другие). Учили по переписке, но бывали и очные консультации. Поклонники ЗНУИ уверяли, что это единственное место, где в Советском Союзе можно учиться. Разумеется, это не так, но где еще преподаватель мог просить отпустить ученика из тюрьмы на вернисаж. И где еще педагог мог писать заочнику: «А еще очень важно, какая у Вас будет жена». В пособии «В помощь начинающему художнику» один из авторов,

Юрий Аксенов приводил не только рецепты грунта, но и давал советы, как вязать кисти и как мастерить грелки в варежах, чтоб писать на морозе, и как приспособить наждачную бумагу под пастель. Как-то покойный живописец Алексей Айзенман просил отпустить своего ученика на открытие выставки. Надо было обратиться к начальнику тюрьмы, где он отбывал наказание.

– Да вы знаете, за кого просите, он у нас сидит за покушение на убийство с изнасилованием! – ответили ему.

Но сильна была наивная вера в то, что человек в камере с кистью в руке уже не тот, кто совершил преступление, состоит из других клеточек. Картины откапывали в неожиданных местах, разыскивали в медвежьих углах, клад иногда можно было найти и на свалке. Как-то А. Д. и Т. С. подобрали рулон. Преподаватель уехал за границу на п. м. ж., а работы учеников кто-то выбросил на помойку. Просушили, почистили и повесили в комнате. Помню покоробившийся холст, прикрытый от порчи марлей, висевший у Т. С. в Мансуровском переулке. Это была работа исчезнувшего матроса Павла Леонова, без картины которого «Русские путешественники в Африке в ночное время спасают девушек от волков» не обходится теперь ни один альбом о наивном искусстве.

На рынке они повстречали женщину, которая плела бисерные корзиночки – очаровательные сооружения, не то корабли, не то мерцающие кусты, дома-букеты со свечами и бабочками. Ей помогли, собрали деньги, дело пошло, корзиночки продавались. Устроили квартирную выставку, если я не ошибаюсь, в доме Фаворских. Корзиночница, кажется, ее звали Евдокия Александровна, правда, вскоре несколько обнаглела, села на голову и мучила своих благодетельниц, на свидания, куда надо было приносить продукцию, приходила с задержкой часа на три. Они жаловались устало на ее манеру говорить, кокетливо растягивая слова: «Вы ведь знаете, что я всюду опаздываю!»

В ЗНУИ любили открывать. На одной выставке меня спросили: «Это Вас открыли в Риге?». Мне это было приятно, ведь у себя дома я не имела права отнести работы даже в захудалую комиссионку. Т. С. так набрасывала мой облик: «Горе семьи, физик-теоретик, профессию забросила, вместо диссертации рисует кривых лошадок...». Но когда меня включили в энциклопедию наивного искусства, ворчала: «Я бы таких, как Вы и Гаяне Хачатурян, не включала, это, так сказать, интеллигентное, другое...».

Даже прямота, с которой говорились некоторые вещи, была в других местах не принята. Работавшая в «Декоративном искусстве» Наталья Семеновна Шкаровская, известный собиратель «самобытников», самоотверженно им помогавшая, отбывая работы для выставки, глядя на одну мою картину, заявила: «А такое мы выставяем лишь посмертно». Лет мне было тогда немного. Приятели, смеясь, спрашивали меня: «И посмертную выставили?»

Там учились колхозники, печники, портные, мастеровые, бухгалтеры, душевнобольные, инвалиды, солдаты, попадались и интеллектуалы. Им помогали красками, иногда даже приглашали к себе пожить. Аля Лукашевкер показывала работы своего знакомого, известного физика: рисунки на полях, сделанные синей шариковой ручкой на тетрадных листках в клетку. Рисовать он начал в больнице после операции, украшал письма к жене. Кажется, это были ни на что не похожие танцующие сервизы и домики. «Ну что, учить его традиционно, гипсы ему ставить? Он немолод, а это разве не имеет в таком виде права на существование? Просто не знают, на какую полочку это положить», – доказывала А. Д. Для нее существовал лишь один критерий – художник или не художник. Она сетовала на путаницу с полочками, много было такого, чему названия пока не нашли. Придуманное в ЗНУИ слово «самобытник» выручало.

Другой алин ученик – инвалид Саша Верейнов – рисовал, держа карандаш в зубах. «Как это он делает, я видеть не могу... Я не могу его учить, я могу только преклоняться перед ним». А. Д. славилась умением ставить глаз, потому эти слова звучали веско (большая выставка Верейнова прошла в 2001 году в Российской Академии художеств). Сама учившаяся у прекрасных педагогов, она не отрицала школу. Но поясняла при этом в разговорах и письмах: «Наставник пасует перед одаренностью, это естественно. Я стараюсь помочь дару раскрыться своим ходом. Люди здесь неискушенные, часто провинциалы. Их не водили в детстве в художественные школы, но для дара нет возраста. Он иногда просыпается и незадолго до смерти. Обычные приемы такие художники способны воспринять механически, как приказы и рецепты. Громкий окрик – и лунатик проснулся; неуклюжий жест, намеки на превосходство сбивают их с толку. Начав соблюдать приличия, они «исчезают». Это как левшу переучивать».

А. Д. и Т. С. сокрушались, что талантливый шахтер из Междуреченска, Геннадий Питкевич, рисовавший почти уродливых большеголовых людей, буйно, дико, варварски, «вламываясь в натуру», не устоял перед одергиванием, как-то опешил. После того, как ему разъяснили, «кто он такой и как вопиюще не умеет себя вести», на выставки стали проникать его самые неинтересные пейзажики.

У самой А. Д. был горький опыт, она вспоминала, как давил на нее почитаемый ею Павел Кузнецов, и годы ушли на высвобождение. Я была захвачена виденным и, небось, надоедала всем рассказами. Как-то раз знакомый меня спросил: «Как там твои придурки поживают?» Я в ответ подумала, что можно лишь позавидовать свежести их работ. Самобытники, примитивы, наивные, самодеятельные – внутри этих слов мелькало детское словечко «сам». Для меня они были яркой лужайкой среди тусклости. Консультанты из университета тактично помогали им. Самоучки часто

совмещали в себе и педагога, и ученика, не самый худший вариант. Им приходилось туго, в провинции на них навешивали ярлык любителя, он, как правило, был волчьим билетом. Они считали себя художниками без прилагательных. Такими они и были. Они не зависели от «худфондов», кормились сами, либо крестьянским трудом, либо простой работой или пенсиями. По-моему, они самые свободные из «неформалов».

Я приезжала, чтоб показать А. Д. и Т. С. работы, это было как бы путешествие во времени. Вокруг все опаздывали, толкались, сбивали с ног на асфальте, не извиняясь, не находили минутки позвонить, но этот круговорот вдруг наталкивался на препятствие, на массивную дверь комнаты в Мансуровском переулке, и останавливался, как вода в стакане перед ложкой. Каждое движение моей души рассматривалось под микроскопом. Да мало ли что мне в голову взбредет, – поражалась я. Заслуживает ли моя персона такого пристального внимания? Я привыкла к иному – кто ты, мол, такая, все картины и стихи уже написаны, в лучшем случае будешь строчкой в словарики, карточкой в картотеке, жизнь – тире между датами, и беглый взгляд в наше время – это уже много, и. т. д. Здесь все было наоборот. Обычно мне уделяли минутку, они дарили вечность. Рисунок доставался, и начинался долгий спектакль. Он рассматривался на свет, препарировался, его вращали, клали на пол, переворачивали вверх ногами, вертели во все стороны, сравнивали с моими же прежними, в малюсеньком клочке бумажки был космос, и, казалось, я, как Алиса, начинала расти вверх. Потом обсуждались этапы «меня». И все это длилось часами, до полуобморочного состояния, разговаривали, разумеется, не только об искусстве. Т. С., смеясь, вспоминала, как другая ее юная приятельница закричала: «Я не могу столько часов разговаривать!» Они никогда не спешили. Хотя дел было не меньше, чем у других: у А. Д. – отец, собственное творчество и работа, Т. С. писала книги. Расписанный А. Д. платок со стертыми узорами Т. С. упорно продолжала носить, хотя никто уже не мог оценить художественной ценности мутных разводов, и А. Д. это было даже во вред, но на нем оставались следы того же медленного времени. Весь облик Т. С. выражал сопротивление времени быстрому.

Художник Бажбеук-Меликян писал ее, молодую. Портрет Тани Айзенман существует и хранится в Тбилиси в собрании Зулейки Бажбеук-Меликовой. Она меньше всего думала тогда, что он большой художник. Ее огорчало жесткое отношение к жене, портрет писался в комнате, служившей и жильем, и мастерской.

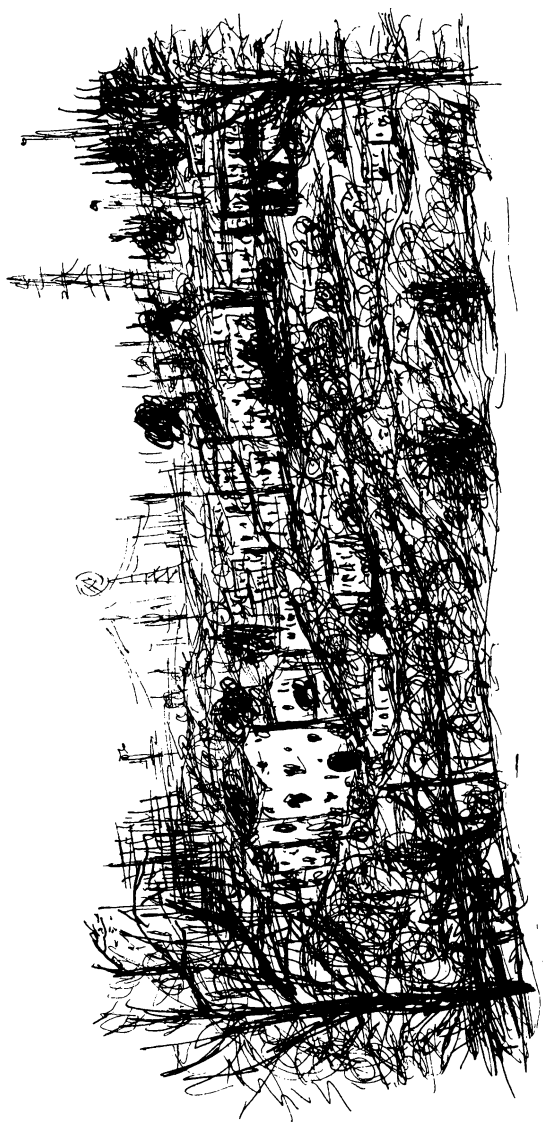
Наш знакомый музыковед, Б. Гаспаров, задумал сочинение об интонациях. Наблюдение было: у советских людей восходящая интонация голоса, у родившихся до революции – нисходящая. Было сделано много записей, наблюдение подтвердилось. Дореволюционные голоса с интонационной линией вниз обладали особым достоинством, а советские – неуве-

ренностью. Встретив Т. С. в нашем доме, он обрадовался: «У Вас дореволюционный голос, это редкость!». «У меня николаевский голос», — гордилась Т. С. Но не только мелодия голоса вела вниз, к основам, все существование ее было наперекор окружению. Она была способна положить в стол уже принятую к публикации рукопись книги о наивном искусстве, пренебрегая и гонораром, и возможностью при жизни увидеть плоды труда.

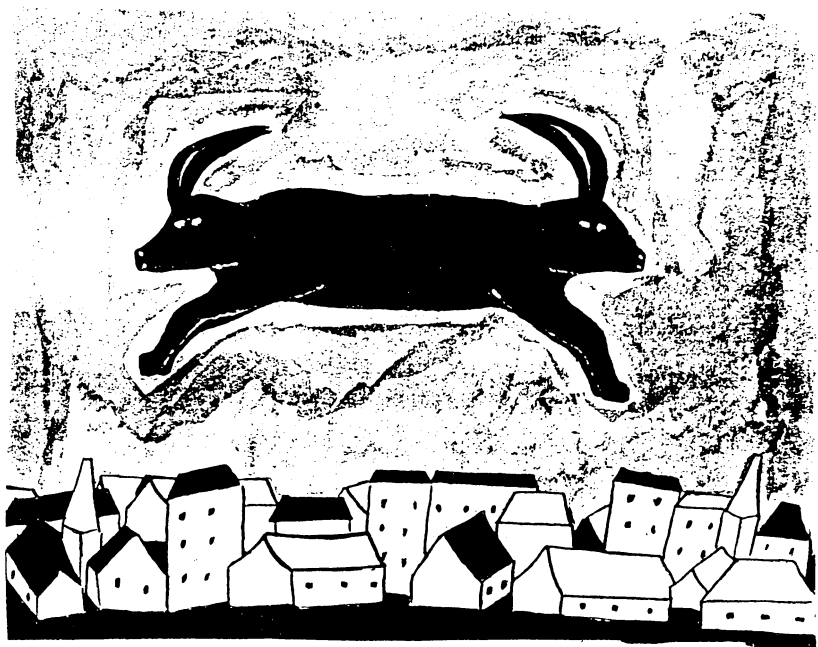
Мне нравился ее адрес — Мансуровский, дом 5. Я входила в такую тишину, что слышала, как оседает пыль. На стенах комнат висели картины, было приятно, что среди них есть и мои. Ахматова говорила про ее дом — «это наша квартира». В семье было несколько поколений живописцев, художниками были мать Т. С., брат Алексей Айзенман, его дочь Ольга Вельчинская. Мать Т. С. — Ольга Бари, ученица Леонида Пастернака, выставлялась с мирискусниками, семья деда Т. С., крупного промышленника Бари, жила на даче рядом с семьей Леонида Пастернака, и они дружили домами. Т. С. повстречала на своем веку многих, ее дружбой дорожила Ахматова, с ее мнением считался Пастернак. «Было ему куда пойти, не ссылка, Москва, но он приходил к нам», — не без гордости как-то сказала она. Но Т. С. была лишена суетности, держалась в стороне от ярмарки тщеславия (ее выражение) и раздражалась, когда от нее ждали мемуаров, архивных юношей гнала, воспоминаний не оставила, несмотря на все уговоры. Уже разъехались все обитатели коммуналки, родня переселилась в Крылатское, а Т. С. все продолжала там жить до самой смерти. Иногда она соглашалась поведать что-нибудь «николаевским» голосом. Помню его звучание, ее рассказ про Пастернака, приехавшего посоветоваться с ней и ее братом Алешей, как обрамить рисунки отца. Приехал, как она выразилась, на ранних поездах, к 7 часам утра. Сама Т. С. к работам «папеньки» относилась прохладно (у нее был независимый вкус — она, например, ценила художницу Евгению Лурье, первую жену Бориса Пастернака, считала, что ей не повезло и ее не замечают в тени большой личности), но ее волновало, что именно сын в этих рисунках находил, она показывала, как он держал, словно драгоценности, дрожащие листочки. Их приятель-художник умолил позволить ему присутствовать, он мечтал посмотреть на живого Пастернака. Помню, как я ее слушала, как нравился незнакомый симпатяга-художник, изобразивший случайный визит «на огонек» — в 7 часов утра! — зимний день за стеклами Мансуровского...

Все мною рассказанное отсылает к той минуте юности, когда протокольный список красок на обороте коробки «Ленинград» вдруг зазвучал. Врезался в память сразу, хотелось ходить и повторять, как строчки стихов: синий кобальт, изумрудная зеленая, кадмий лимонный, сиена жженая, виридоновая, берлинская лазурь, краплак, марс прозрачный, пигмент ф-ц — наполнитель...





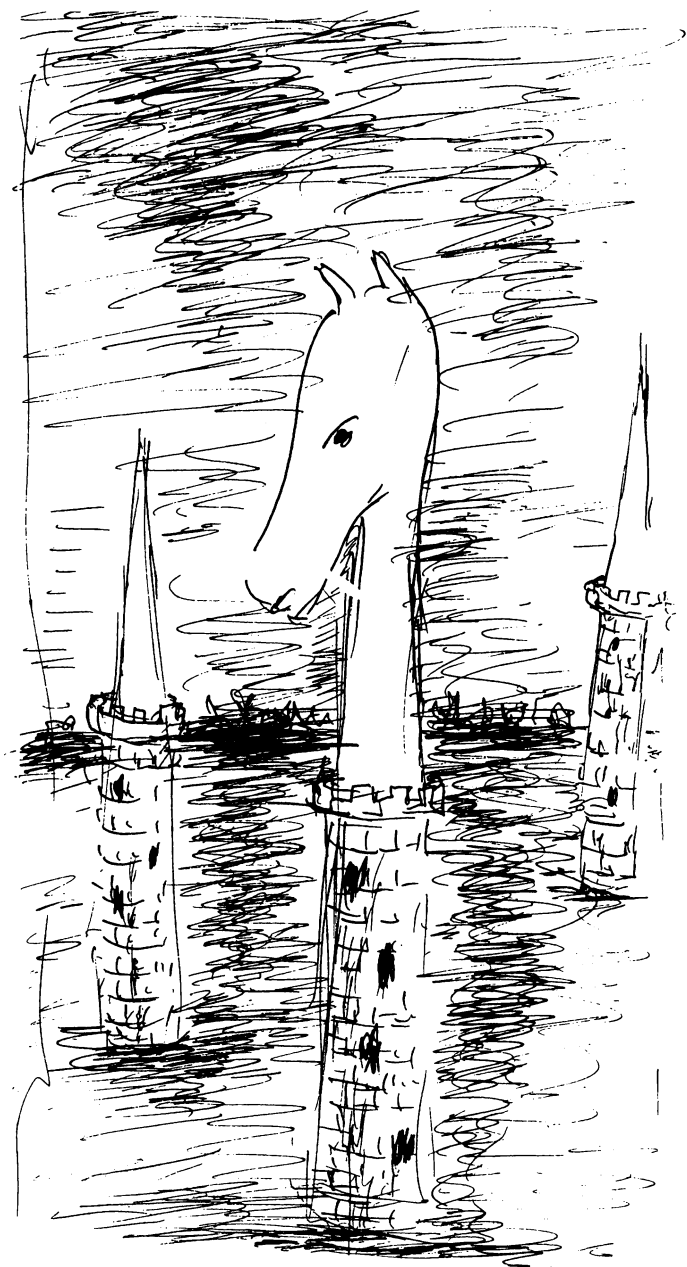




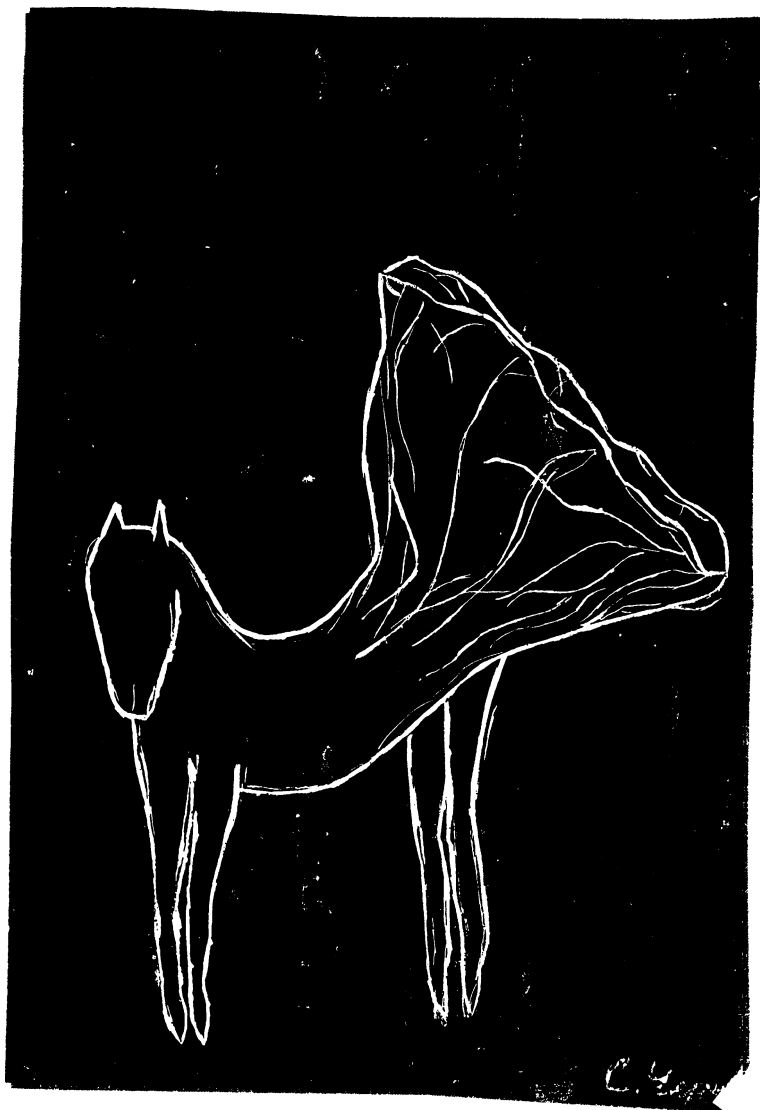
S. Cher.



Chapman
99



S. Chern





pour

Scher 2001



мрамор
S. Chern



Валентина Брюно

ИЕРУСАЛИМСКИЕ СТИХИ ПОЛЬСКИХ ПОЭТОВ

*Садись на девятку и езжай до конечной,
На гору Скопус.
Там встанешь в сиянье солнечном –
Как над водами потопа
Ослепительная радуга.¹*

Владислав Броневский обращается к нам из Иерусалима 1943 года со страниц «*W drodze*» («В пути») – газеты Польской армии на Востоке.

Армия начала формироваться в Советском Союзе в 1941 году, когда, после нападения Германии, СССР заключил союзнический договор с Польским правительством в изгнании. В советских лагерях и тюрьмах находилось много польских военнопленных и граждан, арестованных в районах, оккупированных Красной армией в 1939 – 1940 годах. (Западная Украина, Западная Белоруссия, страны Прибалтики)². По договору заключенные были освобождены, из них и формировалась армия. Главнокомандующим стал генерал Андерс, который из тюремной камеры Лубянки был переселен в четырехкомнатную квартиру в центре Москвы³. Армия проделала огромный путь до Палестины через страны Среднего и Ближнего Востока, участвовала в боях. В Палестине она была на постое. Среди польских воинов оказалось много людей творческих. Было издано две поэтических антологии, в предисловии к одной из них составитель Ян Белятович писал: «Кажется, еще никогда в истории Польши не являлось столько поэтов, писателей, художников и ученых в рядах Вооруженных Сил, как сейчас»⁴. У армии был свой театр, несколько ансамблей, устный журнал... Устраивались выставки, выходило множество книг и даже «Школьная библиотека на Востоке». Действовали школы и выходили учебники. И, наконец, – газета «*W drodze*».

¹ В случаях, когда имя переводчика не указано, перевод мой. В. Б.

² «Среди арестованных преобладали офицеры запаса, польская интеллигенция и представители интеллектуальной элиты: врачи, учителя, юристы, инженеры, более сотни литераторов и журналистов, около 50 профессоров высших школ, землевладельцы, священники. В лагерь загнали несколько научно-исследовательских институтов – в полном составе». (А. Антонов-Овсеенко. Катынь / Страна и мир. № 1 (43), 1988, сс. 139 – 140).

³ Владислав Андерс. «Без последней главы. Воспоминания 1939 – 1946 гг.» (Лондон, 1949).

⁴ Jan Bielatowicz. Imperium polskiej poezji. // *Azja i Afryka. Antologia poezji polskiej na Środkowym Wschodzie*. Oprac. Jan Bielatowicz. Palestyna, 1944. S.4. (Азия и Африка. Антология польской поэзии на Среднем Востоке).

Эта литературно-политическая газета (так определила ее направление редакция) выходила в Иерусалиме с 1943 по 1946-й годы дважды в месяц. Редактировали ее известные литераторы Виктор Вейнтрауб⁵ и Здислав Бронцель⁶. Оба прибыли в Палестину из России.

Первый номер «*W drodze*» вышел 1 апреля 1943 года. В обращении к читателям редакция сообщала, что главная ее задача – «облегчить польской эмиграции на Востоке ориентацию как в важнейших вопросах современной политики, так и в перспективах будущего Польши». «Сознательное формирование судеб будущей Польши» и было для редакции «важнейшей легитимацией существования» издания.

Газета из номера в номер знакомила читателей с миром «оригинальных и интересных культур с достойными внимания историческими традициями». Печать еврейского ишува сразу заинтересовалась новым изданием. Уже 12 апреля газета «А-Бокер» писала: «Это орган польских правительственных кругов, и поэтому интересно познакомиться с идеологической и политической программой новой трибуны печати». Здесь же перепечатана и подписанная St. Olz передовая из «*W drodze*» – «Проблема великой державы»; «А-Бокер» считала, что «ряд мыслей может заинтересовать нашу общественность с палестинско-сионистской точки зрения, так как освещаются общие проблемы государственного строительства, а также возрождения Польши».

Польская литература в изгнании – явление, не имеющее аналогов в европейской культуре. Эмиграция эпохи польского романтизма (XIX век) создала основу национальной литературы, стала частью исторической судьбы польского народа. После разделов Польши и сами писатели, и читатели понимали литературу как миссию, служение благу Отечества в самом высоком смысле этого стертого в наше время выражения. Отсюда – вера в святость своего дела, в призвание поэта, наконец, в особенную магическую (и мистическую) силу слова.

Новая поэзия перекликалась с предшествующей и весьма серьезно относилась к своему делу. Мариан Хемар⁷ писал об этом так:

*О, Поэзия! Последняя
Линия польской обороны.*

⁵ Wiktor Weintraub (1908 – 1988) – после войны профессор славистики Гарвардского университета и автор книг о старопольской и романтической литературе и культуре; в 1941 – 42 гг. был на дипломатической службе в администрации премьер-министра и главнокомандующего Польскими вооруженными силами генерала В. Сикорского в СССР.

⁶ Zdzisław Broncel (1910 – 1998) – прозаик, поэт и публицист, перед войной сотрудник издания «*Gazeta Codzienna*» («Ежедневная газета») и директор польского Театра на Погулянке в Вильно. В 1941 г. был арестован и сослан в «исправительно-трудовой» лагерь на Урал. С 1942 г. и до конца войны – на Ближнем Востоке. После войны был сотрудником польской службы Би-Би-Си в Лондоне.

⁷ Мариан Хемар (наст. фам. Heschels /Хешелес/, 1901 – 1972) – поэт, комедиограф, сатирик; в 20 – 30-е годы сотрудничал с литературными кабаре Львова, а затем Варшавы, писал эстрадные тексты и песенки (вместе с Ю. Тувимом, А. Слонимским, Я. Лехонем). В 1939 г. ушел в Румынию, в 1941 г. – в Палестину, с 1942 г. – в Англию, был сотрудником радио «Свободная Европа»; выпустил несколько книг; побывал в Иерусалиме спустя более чем 20 лет – в Национальной библиотеке имеется его книга с автографом.

Поэзия военных лет всегда питалась актуальными историческими и литературными аналогиями. Поляки, находившиеся вне Польши, в армии, были обречены на долгий, жертвенный путь к отчизне, через моря, страны и пустыни. Метафора пути наполнилась реальным смыслом. А возможность воевать с оружием в руках дала надежду.

Для поэтов, оказавшихся на Востоке, ожила давняя ассоциативность и символика. В польской литературе Восток был издавна темой романтической: сказочные страны с необыкновенной природой, небывалой свободой для сильной личности, историко-романтическое пространство героя. Самое яркое выражение этого – «Фарис» (1828) Мицкевича и «Сказание о Вацлаве Ржевусском» (1832) Словацкого.

Библейская проблематика сближалась с польским мессианизмом. Судьба Польши, захваченной и разделенной врагом, накладывалась на судьбу евреев, потерявших царство, Иерусалим, Храм и рассеянных среди других народов, и, тем не менее, оставшихся избранными для особой миссии в мире. В польском романтизме укоренился созданный Мицкевичем образ пилигрима-патриота (в «Дзядях» и близкой к ним по времени лирике, а позднее – в «Книгах польского народа и польского пилигримства»).

Если говорить о поэзии, представленной в «*W drodze*» то к ней применимы слова Иосифа Бродского, сказанные в другое время и по другому поводу: «Польша была нашей поэтикой». Оказавшись в Иерусалиме, поэты не могли не осмыслить факт пребывания на Святой Земле, не откликнуться на него, связав, так или иначе, с родиной, с Польшей.

С первого номера в газете стали появляться стихи Владислава Броневского (1897 – 1962). Он тоже пришел сюда с армией Андерса после советской тюрьмы (в Бутырках он сидел вместе с руководителем Бунда Виктором Альтером). Броневский публиковался почти в каждом номере «*W drodze*», стал сотрудником редакции, его любили, он был очень популярен. С успехом проходили его поэтические вечера, на которых бывало немало и местных жителей; один из вечеров в 1943 году устроили еврейские писатели в Тель-Авиве, вел его Ш. Черниховский.

В третьем номере газеты (1 мая 1943) помещена подборка Броневского «Иерусалимские стихи». Формально они не составляют цикла, название указывает место появления, тематика же их шире: «Персия», «Дамаск», «Могила Тамерлана», «Когда я буду умирать...». Собственно иерусалимские – «Стена Плача», «Советы туристке в Иерусалиме», «*Via Dolorosa*», «Роза Сарона».

Вернемся к стихотворению «Советы туристке в Иерусалиме» («*Rady dla turystki w Jerozolimie*»), с которого начинается эта статья.

Стоит над Мертвым морем / херувим с медным ликом.
Пролетает над Иорданом / орел.

Девятистолетние пророки / идут по белым холмам.
Ангел держит во власти / Лота и его дочерей.

Глядишь, притихшая, / на белые каменные дома.
Помни об огне Содомы, / Помни о трубах Иерихо.

Зеленеют цветущие луга, / Ведет Яков двенадцать сыновей.
Обрати лицо к Старому городу, / к тысячелетним могилам.

*И радость твою, и тебя / ждет в свое время могила:
самолеты в варшавском небе / помнишь?*

.....
*Дальше на север бирюза и мгла, / Мир несправедный, весь из стекла,
И видно, какой он кровавый. / Тем путем ты пойдешь в Варшаву.*

*Взоров моих Висла / еще раз тебя омоет
Рассеется радуга. / В сумерках вернемся в Катамон⁸.*

Это стихотворение содержит, кажется, все основные мотивы польской поэзии, рождавшейся здесь в годы второй мировой войны.

Начинается оно с точной, «реалистической» детали (что магически действует на нас, здесь и сейчас читающих эти стихи), с туристского мотива, который вводит в ярко воспроизведенную библейскую образность. Постепенно нарастает тревожная интонация. Она поддерживается неровным ритмом, столкновением благостных картин (в которые вписывается и адресат – *тихая «туристка»*) – «ослепительная радуга», «орел над Иорданом», пророки, идущие «по белым холмам», «белые каменные дома», «цветущий зеленый луг» – с грозным напоминанием о судьбе Содома, трубах Иерихо, о неизбежности могилы «в свое время» и, наконец, – «самолеты в варшавском небе помнишь?» – резким диссонансом в библейский мир врывается военная трагедия Варшавы. И подымается до вселенской трагедии. Стихотворение заканчивается прозаически эффектно: «В сумерках вернемся в Катамон», оно возвращает к началу, столь же простому, но теперь с долей иронии: мы не можем быть «туристами», мы изгнанники, и земля, насыщенная библейской символикой, сама направляет и подвигает, уводит от суеты, не дает забыть. В «Советах туристке» выражен главный мотив польской поэзии, создававшейся в Палестине, – мотив возвращения, трудного и долгого пути к Отчизне. Библейская тематика и символика эти мотивы оттеняла, укрупняла, и, что очень важно, усиливала выразительность исторических аллюзий и параллелей. Вообще многие стихи Броневского, не только написанные во время войны, строятся, как «Советы туристке...»: предельно просто, обыденно называется деталь, предмет, как некая точка отсчета:

несколько старых камней / и плач – тысячелетиями.

Состояние поэта созвучно «Плачу Иеремии», когда он говорит:

Я пришел сюда плакать, евреи, / К Стене Плача.

«Стена Плача»

Броневский живет с постоянным ощущением «нашей неизбывной боли», даже в самые, казалось бы, умиротворенные минуты, когда природа сама касается человеческой души, как в стихотворении «Мазурка Шопена»:

*В иерусалимском переулке / Грусти чуть заметные следы...
Незаметно день смолкает гулкий, / Вечер опустился на сады.*

⁸ W. Broniewski. Rady dla turystki w Jerozolimie. Здесь и далее стихи Броневского приводятся по изданию: Wiersze i poematy. Warszawa, 1962. S. 187 – 188. Это стихотворение включалось не во все сборники Броневского.

*И сменяются легенды снами, / Полными библейской тишины,
И лаванды дышат перед нами, / Вдосталь ароматами полны.*

*И на север улетают мысли, / Суетливой мечутся толпой,
Устремляются к родимой Висле / И к моей Варшаве дорогой.
Мы сидим с тобою, друг любимый, / Тишиной захваченные в плен...
И внезапно в тишь Иерусалима / Ворвался с мазуркою Шопен.
Хорошо играет незнакомый, / Сердцу очень близкий пианист,
И звучит напев родного дома, / Серебрист и, словно детство, чист.*

*Бабушка не раз мазурку эту / В темной комнате играла мне,
Где казненных братьев два портрета / С давних лет висели на стене.*

*Ночь полна блаженного досуга, / Пианист играет в поздний час...
Но не слишком ли, моя подруга, / Эти клавиши терзают нас?*

«Мазурка Шопена» (перевод М. Светлова)

В подстрочнике последняя строфа звучит еще сильнее:

*Слишком громко в старом переулке / Пианист нахлестывает
тишину: / По сердцам, о, подруга, / Ударяют нас белые клавиши.*

А на улице Via Dolorosa, где «иерусалимские камни, иерусалимские века», «космическая сцена трагедии», на улице, по которой проходил «Добрый человек. / Политзаключенный», он, Броневский, поэт и «солдат пехоты», который «пришел сюда не в поисках Бога», видит здесь еще один давний польский национальный символ:

Я знаю, что путь в Польшу – / это путь Голгофы.

После первой публикации в седьмом номере «*W drodze*» появилось сообщение о выходе в иерусалимском издательстве с тем же названием сборника стихов Владислава Броневского «*Оружье к бою!*» («*Bagnet na bron*»). В газете помещен портрет поэта – рисунок художника Ф. Топольского, на котором «лицо в морщинах, изрытое страданием, с болезненно сжатыми губами, словно говорящими: обугленная молодость. Однако где-то в глубине глаз таится, словно веселый огонек, творческое упрямство и непобежденная вера...» Так описал этот портрет писатель Густав Херлинг-Грудзинский, посвятивший выходу из советского концлагеря и появлению Броневского в Палестине большую статью. Эмиграция тепло встретила Броневского. Многим показалось, что это другой Броневский, не тот довоенный коммунист. Его эволюция выглядела странной, но для Польши не слишком удивительной.

Объяснить Броневского попытался и поэт Казимеж Вержиньский в лекции «Современная польская литература в эмиграции», прочитанной (и сразу опубликованной) в 1943 году в Нью-Йорке: «Несколько стихотворений Владислава Броневского, которые дошли до нас из России, показывают, что этот твердый человек не сломлен испытаниями, опытный – с 16 лет знакомый с войной – солдат встал в строй. Прежний коммунист, противившийся польской действительности больше из польского упрямства, нежели интеллектуально и политически связанный с марксизмом, написал после сентября 1939 года стихотворение, призывавшее отвоевать отчизну с помощью советских союзников, на что союзники ответили широко прак-

тикующимся у них способом: арестовали поэта. Освободившись из московской тюрьмы, где он написал несколько прекрасных лирических стихотворений, Броневский вновь надел мундир польского капитана и вновь взялся за перо. Расставание с прежним миром идей выражает, как можно судить, стихотворение «Метель» [приводится текст стихотворения – В. Б.]. Броневский самый солдатский поэт всех последних польских войн, а его поэзия – это как бы дословный перевод его жизни».

Вержинский несколько ошибался: Броневский сразу заявил совершенно определенно, что его взгляды и идеалы не переменялись. Как меланхолически заметил Чеслав Милош: «История Польши и ее литература кажется мне несколько безумной и полной парадоксов». К позиции поэта отнеслись с уважением, оценили ее как верность себе, своим юношеским идеалам, что и выразил Херлинг-Грудзинский в упомянутой статье, добавив от себя, что главное свойство поэзии и наибольшее достижение Броневского – «парадоксальная уже сама по себе общественная интимность». Броневский действительно умел общие, национальные патриотические переживания облечь в форму личного чувства, интимной лирики. Стихи из нового сборника очень точно выражали общее для эмиграции состояние и находили отклик в душе каждого.

За годы войны Броневский выпустил еще два поэтических сборника: «Избранные стихи» («*Wersze wybrane. 1925 – 1944*») в 1944 году в Иерусалиме и «Древо отчаяния» («*Drzewo rozpaczające*») в 1945 году. Последний сборник складывался постепенно, все стихи появлялись на страницах «*W drodze*». Если не главной, то очень важной в этих стихах стала иерусалимская нота, иерусалимская печаль, как хочется ее назвать. Имя города постоянно проговаривается, называется, даже когда, кажется, в этом нет необходимости. Но, будучи названным, имя это, несомненно, добавляет совершенно особенный звук, может быть, ту самую, почти незримую каплю мускуса...

*Я не хочу Палестины, / Сирии, Ирака, Египта,
Не хочу кипарис, а – калину, / Березу, не эвкалипты.*

*.....
Там гибнут люди, города, столицы, / Народ в сражение,
А я тут хожу, / Топчу иерусалимские улицы / И грызу пальцы.*

«Middle East»

Элегический тон стихотворения «Древо отчаяния», давшего название всему сборнику, становится его мелодией и мелодикой, усиливаясь до настоящего трагизма.

*И вот – зима Иерусалима; / И дождь идет, и злится ветер,
И редко солнца луч засветит / Из туч, безжалостно гонимых,
И город стародавний дивный / Предстанет в белизне строений;
Купаясь в зелени лучистой, / Купаясь в мудрости пречистой,
Святыни вознесут моленья / За благодатность этих ливней.
Кедрона мертвая долина, / Оливковой горы вершина,
Святые, древние могилы, / Немым объятые молчаньем, –
Какою пригвожден к вам силой, / Каким прикован ожиданьем?
Настанет час, мой прах бессильный / Пожлутит вечное забвенье.
Но вижу – эвкалипт могильный / Здесь учит не сдаваться тленью.*

*Его разят и дождь и ветер, / Он весь дрожит в предсмертной муке,
Но простирает в даль столетий / Зеленые худые руки.*

*Как ты, я часто под грозой стою, / И вихрь меня к земле нещадно клонит,
Порою сердце от ударов стонет, / Но выпрямляюсь снова – и пою.*

*Не знаю, где конец наступит мой, / У ног твоих я буду гнить, быть может,
Но ты мне пой, про бунт и боль мне пой, / О, эвкалипт, с родной березой схожий!*

перевод М. Живова

В Иерусалиме Броневского – Стена Плача, долина Иосафата, Голгофа, Via Dolorosa, Масличная гора с древним кладбищем и большие пространства – горы Иудеи, пустыня, даже небо – знаки бездомности и сиротства («Заход солнца над Мертвым морем», «В горах Иудеи»). Иерусалимский пейзаж становится отправной точкой: поэт его фокусирует по-своему, в двух-трех главных деталях, и ищет повод перекинуть мостик в свое прошлое, к родным местам. Броневский постоянно использует этот прием, который критики – за однообразие – ставили в вину всей военной поэзии. Нет ни одного стихотворения, в котором не соединились бы такие мотивы, где поэт из «иерусалимского переулка», от дома, «где растет перец», не устремился мыслью и чувством «на север» (*na północ*). Этот «север» и у Броневского (особенно), и у других поэтов – военный пароль, синоним далекой отчизны. Он говорил: «Все, с чем я имею дело в жизни, я претворяю в поэзию – это мой поэтический метод. Главная мысль, которая меня полностью захватила, – связь с польской землей и борьба с врагом. Иногда фрагмент палестинского пейзажа пробуждает во мне внезапную мысленную ассоциацию – с Варшавой».

Эти – человеческие – сочетание силы и слабости и переход из одного состояния в другое не могли не чувствовать читатели.

Находясь в Иерусалиме, Броневский получил известие о гибели в Освенциме своей жены, актрисы Марии Зарембинской. Известие оказалось ложным, Мария выжила, они встретились, но война все же догнала её – она умерла в 1947 году. Броневский оплакивал Марию в многочисленных стихах, горьких и просветленных, созданных в дни неведения о ее судьбе, в книге «Древо отчаяния», где они составляют большой цикл («Жена», «Моя милая», «Рука умершей», «Последнее стихотворение», «Мария», «Тела» и др., более 10 стихотворений).

*Ожидание... Небо Иерусалима...
Ничего не осталось мне от любимой.
Не знаю даже (а старость все ближе),
Увижу ли Лондон, тебя увижу ль?*

*С утра коньяк, тоска, малярия,
Все реже звучит это имя – Мария.*

*Твоя фотография – спутник мой...
жить по-другому теперь нет мочи:
Я каждый день говорю с тобой –
С добрым утром, спокойной ночи.*

«Письмо без адреса», перевод М. Кудинова

В другом стихотворении он называет себя «лирическим оккультистом»:

*Астрономию я изучал / По звездам Иерусалима,
Я их подсчитывал и получал / В сумме тебя, любимая.
«Скорпион», перевод М. Кудинова*

Личное горе углубляло и ощущение общей трагедии – об этом стихи «Польским евреям», написанные после гибели Варшавского гетто, и «Баллады и романсы». «*W drodze*» публиковала документальные материалы о гетто, а также стихи многих поэтов памяти польских евреев. Стихотворение «Польским евреям» напечатала газета «Давар» в переводе на иврит Дова Штока.

Для Иерусалима в поэзии Броневского два главных цвета – белый (дома, город, камень, валуны на холмах) и зеленый (холмы, деревья). Самое светлое иерусалимское его стихотворение в этой книге, – «Зеленый холм», – о дочери (которую через 10 лет он тоже потерял).

*Холм зеленый в камнях белых – / Если б мог, теперь бы
По нему с дочуркой бегал, / На траве сидел бы
И следил за облаками, / Чепуху болтая.
.....
Только Анка далеко и уже выросла, /
Да и облачко меня в милый край не вынесло.
Но зеленый вспомню холм / Иерусалимский – /
И тогда мне чудится, что дочурка близко.*

перевод Владимира Корнилова

О палестинском периоде Броневского рассказал Вейнтрауб в книге воспоминаний. Особенно интересно и подробно вспоминал об этом времени близкий друг Броневского и внештатный сотрудник «*W drodze*» Давид Лазер⁹, который сумел в 1940 году через Вильно, Москву, Багдад перебраться с семьей в Палестину. Лазер был талантливым и уже известным ученым, критиком, писателем. Он познакомил Броневского с Черниховским и другими еврейскими писателями, организовывал поэтические вечера. С Броневским у них бывали разногласия и споры, но при этом – «его невозможно было не любить», – повторяет Лазер, как рефрен, и очень тепло пишет о чудачествах Броневского, о злоупотреблениях алкоголем, об их бесчисленных прогулках «по переулкам старого Иерусалима, разнообразившихся беседами за черным кофе в одной из арабских кнайп».

Многие стихи, написанные Броневским в Иерусалиме, принадлежат к лучшим в его творчестве и, вообще, в польской поэзии. 16 июля 1944 года (№ 14) «*W drodze*» напечатала на первой полосе начало поэмы Броневского «Вдохновение»¹⁰. Критика назвала ее «поэтической сенсацией». Отрывки из поэмы сравнивали с «Цветами Польши»

⁹ Давид Лазер (1902-1974) – ориенталист и полонист, публицист, писатель, переводчик. Один из основателей и сотрудников газеты «Маарив». Автор книг эссе и очерков о писателях (на иврите), и книги на польском языке.

¹⁰ Продолжение поэмы в № 2 от 16.1.1945; произведение осталось незавершенным.

Юлиана Тувима, возможно, потому, что и «Вдохновение», и «Цветы» написаны «онегинской строфой».

В отличие от Броневского, который «Розу Сарона», лирический сон-фантазию о розе и девушке, слагает в стиле восточной поэзии:

*Иерусалим миновали хамсины, / Распоздилось, кончился дождь,
Лишь серебристые капли-слезинки / На лепестках роз...*

Здислав Бронцель создает совершенно иной образ «розы Сарона»:

*...в долинах Хеврона, / где средь библейских садов и бурьяна
солдатские ботинки по розам Сарона / маршируют...*

Здислав Бронцель писал свой «Иерусалим» совсем в иной тональности, иной «технике», нежели работал Броневский. Восприятие Иерусалима включается Бронцелем в сюжет личного переживания.

*Драматичны тучи, / Громоздятся тучи,
Башня белой кости / Торчит в небосклоне.*

Образы, и земные, и небесные одновременно, те реалии, которые названы, могут быть прочитаны и как конкретные – определенное видение пейзажа, и как обобщенные – почти общебиблейские.

*Театр над облаками, / Святая машинерия,
Библия над городом / В Господних руках.*

Автора не смущает смешение всего и вся: для описания грозы он употребляет современные реалии:

*Молнии неона / Мегафоны бури
Клоск-оут божьего кулака, / Руины с дней Творенья.*

*Тьма – отделена / Ритуальным ножом.
Капли солнечной крови – / На каменный ужас.
Камень – белые ребра, / Горы – труп верблюдов,
Караваны смерти / Над долиной судной.
Город над скалами, / Бог над безумными,
Дом, возведенный из глины / Над расселиной земли.*

Стихотворение написано энергичными короткими строфами. Быстрый ритм, заданный хореической стопой, метафоры держатся на резких столкновениях очень далеких образов, создают «взрывчатую» тональность напряженного ожидания, неустойчивости, которая как бы должна разрешиться, разрядиться к концу – но этого не происходит, и тем усиливается эсхатологический подтекст, связанный в этих стихах и с библейским содержанием образа Иерусалима и с состоянием автора и его современников в момент исторических испытаний.

В Иерусалиме вышла и первая книга молодой поэтессы Ядвиги Чеховичувны («Позволь мне вернуться. Стихи. Россия 1940 – Палестина 1943». Иерусалим, 1943), ее дебют состоялся на страницах «W drodze». Все в этой книжечке определяется юностью автора, горечью жизненного опыта (она тоже пришла сюда с армией Андерса, в добровольческой женской вспомогательной части) и несомненным дарованием.

Поэтессу приветствовал Здислав Бронцель – его рецензия в газете строга, он отмечает недостатки, подражания, «результаты школьного изучения романтиков», но доброжелателен. Стихи молодой девушки переполняет тоска по прошлому, что не позволяет, по мнению Бронцеля, увидеть окружающее, «ничего не остается в ее воображении из мира Востока», она «уходит от реальности». Он видит лестный для нее аналог в творчестве Марселины Деборд-Вальмор: та же «искренность чувства, когда-то больно задетого...»

Мне все же кажется, окружающее не скрыто от Чеховичувы, она вглядывается в него в поисках, может быть, тайного знака, возможности чуда, чуда перенесения «с Яффской» на улочки родного города. Вот «Письмо из Иерусалима»:

*Город. Пестрая толпа плывет по улице.
Движение, спешка, так обыденно, людно и голосисто.
День томит, работа занимает мысли.*

.....
*Хожу ежедневно по Яффской и, знаешь, несмотря на то,
Что чужие лавки, мостовые и люди, и слова,
Есть у меня уже один закоулок такой свой и близкий,
И мне всё кажется, что там – Куркова,
Что достаточно перейти на другую сторону,
Миновать погребок с полустертой вывеской
(Как – помнишь? – в «Звезде»), и будет тир,
липы и дом наш виден под сорок четвертым.
Каждый день всё хочу туда пойти.*

.....
*мелькают какие-то в мыслях Синаи, Ниневи,
Ветхий Завет, а тут вдруг – смотри! Яблони!!!
Цветов бело-розовый весенний ливень ...*

Стихотворение – спонтанный рассказ, исповедь, лирический дневник, главное в нем – настроение, описание этому подчинено, оно помогает высказаться, необходимо, но лишь для того, чтобы от него оттолкнуться. Здесь всё переносит Ядвигу в родные места, и потому рассказывать об этом «немного больно», «слишком как-то бездомно».

*Нет вечеров здесь светлых, как наши,
Сразу темно и пусто, и как-то глухо,
Так неправдоподобно и нереально...*

Взаимодействие с окружающим важно лишь для проращивания в нем, «чужом», – своего, а когда это свое, скажем, яблоневый сад, материализуется, – окружающее, чужое, распадается и исчезает:

*Старый Город проваливается, стихает, развеивается.
Лишь сады остались весенние, наши...
Пойду аллею белой...
Ведь там, среди тех дорожек, взлелеянных яблонь,
Сердце мое осталось...*

В стихах Марии Петри, тоже львовянки, подобной односторонности восприятия окружающего мира нет. Она не забывает, что она эмигрантка и «чужая», и присматривается очень внимательно, ей хочется понять, проникнуть в эту «другую» жизнь. К. Кантак, писавший о ее иерусалимской книге «*Струны*», отметил, что «каждая страна оставила след и значит что-то в ее поэтическом развитии». Петри охотно использует верлибр, но употребляет и рифму, ей свойственна интонация неспешного размышления:

*Вот дом арабский с легкомысленным ганком,
А живет в нем незнакомая польская эмигрантка.*

«Два дома»

Здесь тоже сразу акцентирован мотив «чужого», в доме огромные «сени гремят отзвуками чужих дел». Описан (взгляд из зарешеченного окна) запущенный и очень поэтичный сад и каменная стена, вырастающая на глазах и приобретающая символический оттенок. Но во второй части этого большого стихотворения всё меняется.

*Это совсем не арабский дом, арабская старая развалюха!
Это корабль, что причалил в Иерусалиме к горе Арарат,
Заполненный людьми пузатый короб из окаменевшего кедра,
Родной, благословенный, плодоносный Ноев ковчег!*

Дальше описывается пестрое население дома, в котором судачат соседки, в котором свои праведники и свои «падшие» («падший» – «сабра Абрам»), а в чистоте сына его, Рувена, – «дно живой воды»).

*Сара рассеивает вечер блеском свечей,
и сладкую рыбу с луком ест белобородый Хаскель.
«Иссопом народ свой омой, чашу иссопа излей,
Из потопа войны на Сион, как на Арарат, вознеси нас!»*

*Старческий голос колышет пламя свечи, и хедер как лира,
хор херувимов, а Ури поет вечерние змирот.*

*Как молоточки еврейских букв, в сумерки, в мелодию свечей
Медленно погружаются
Арабский дом, польские евреи и палестинский шабат.*

Чужой мир описывается гармоничным, красивым, мини-сценки перемежаются с библейскими цитатами. Мария Петри использует для этого не только знаки и детали традиции, но и называет их еврейскими словами, выстраивает картину, которая без них не «держалась бы» (как без этих слов описать шабат?). Не случайно в конце появляются ивритские квадратные буквы и, вольно или невольно, на них ложится мистический отсвет. Петри удалось передать именно то, что можно обозначить словом «домашность». Тоска по родному дому, чужбина отнюдь не заслоняют от автора окружающий мир, приближают его. Ключевым словом становится «польские евреи» – их мир и дом связан с родным.

В стихотворении «Утро» всё иначе:

*В окне – палитра красок,
утро, пейзаж – восточный Сезанн: Иерусалим.*

*Утро нарастает светом –
импрессионистский контур кусты теряют,
травы и деревья вверху лиловеют,
фестоны города – жемчужин глубина – в клочьях мглы Сион.
Петухи поют на Сионе.*

.....
*У края поля – окно, распахнутое на Иерусалим.
У окна – мое сердце – устремленное за Иерусалим.*

«Встречи с Польшей» становятся и мотивом поэзии Тадеуша Со-
вицкого:

*Спрашиваешь цветочницу на ломаном чужом языке,
Девушка – в смех, и вдруг, прищурив глаза:
«Говорите по-польски – я из Варшавы!»*

«Тель-Авив»

Авторская ирония помогает выразить наивное удивление персонажа (бравого солдата, и, в общем, образованного): здесь нет еврейских кварталов, даже

*Можешь взять ложу в театр на «Швейка»,
А в витрине книги, смотри: Пруст и Пушкин.*

«Это еще Европа», – заключает автор.

В 1943 году можно было купить билеты на «Мадам Баттерфляй», «Тоску», «Бал-маскарад» и другие спектакли (о чем можно было узнать из той же «W drodze»), посмотреть «Дамы и гусары» Александра Фредро или послушать оперу Станислава Монюшко «Галька» в постановке польских армейских театров. В том же году можно было послушать Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича в исполнении Палестинского симфонического оркестра. Устраивались и выставки, например, современной польской живописи в музее академии Бецалель летом 1943 года.

Посещение святых мест в Палестине возвращает мысли к Польше, природа Святой земли – к «серым дождям и горбатым вербам», «селу, вербе, пасеке». Само понятие Святой земли перелагается на язык эмоций и насущных переживаний.

Мариан Хемар:

*Со Святой земли в Святую, / Словно от Бога к Богу, –
Солдат, как прекрасна, / Как славна твоя дорога!*

«Две Святые земли»

Географическое пространство в стихах наполнялось переживанием истории и собственной включенности в нее («Надиорданские рефлексии» Юзефа Буйновского).

Многие тексты заполнены топонимами, в общем, ожидаемыми библейскими ассоциациями («Синай» Юзефа Живины), но иногда наоборот, библейские образы включаются в неожиданный контекст:

*Автомобиль, будто Ноев ковчег,
Черным шоссе уплывает в небо.*
«Синдбад. Пейзаж»

В поэтике заглавий тоже охотно используются топонимы. Иерусалим, Святая земля, Палестина, Стена Плача, Эйн Карем, Via Dolorosa, и Яффская улица. Из других городов и географических названий: Кармель, Хайфа (М. Петри), Тель-Авив (Т. Совицкий), Иордан (Ю. Буйновский), Вифлеем (К. Глинка), Иудея, Нагария, Мертвое море, Средиземное море (В. Броневский).

Поиски сходства в природе, городском пейзаже, а чаще отталкивание от них поддерживается и усиливается прямыми литературными реминисценциями, а вернее, хорошим знанием романтиков, о котором писал Бронцель. Вдохновляет, конечно, Мицкевич, и пути его Фариса теперь ведут в Польшу. Используется и стилистика автора «Пана Тадеуша», его «вижу и описываю» – в пейзаже-медитации М. Петри, например. Оживают герои Сенкевича, «Король-дух» Словацкого, а его стихотворение «Грустно мне, Боже...», написанное на Средиземном море, не только цитируется, но и обретает синонимический парафраз – «Печально мне, Господи...»

О прямом родстве с романтиками просто и ясно сказал тот же Броневский:

*Ведь я Пилигримам ровесник, / Иду изгнанникам вслед
И должен нести всю тяжесть песни / К другому берегу лет.*

«Письмо из тюрьмы»

Молодые авторы относились к этой «литературной заселенности» Палестины иронически. Мечислав Прушиньский: «Эль-Ариш, место действия «Отца зачумленных» Словацкого, видел несколько минут из окна вагона-ресторана... Летом 1942 ездили после занятий в святой город с прозаическими целями поехать или на дансинг в отель «Царь Давид», потом наслаждались скоростью ночной езды в автомашинах по серпантину Иудейских гор. Несмотря на два года, проведенных в арабских краях, не удалось нам отыскать мир Фариса, эмира Ржевуского...»¹¹.

А вот несколько неожиданные впечатления виленчанина Тадеуша Зайончковского: «В переулках древнего Иерусалима бедные лавки мелких торговцев: бочонки с селедкой, баночки подозрительных сладостей, гирлянды лука... Рядом в темной норе старый еврей склоняется над сапожной колодкой. По соседству пекарь выставил в окне связки баранок. Чувствуешь себя здесь, как на улочках Вильно вокруг Рудницкой, или на Слонечной во Львове. И думаешь: Львов,

¹¹ M. Pruszyński. Towarzyszy bojowe Brygady Karpackiej (Боевые товарищи Карпатской бригады). // Polskim szlakiem. T.3. Jerozolima, 1944. S. 190.

Вильно, Иерусалим. Что же связывает эти далекие города? Лавочка, бедная мастерская – борьба за существование изо дня в день?...»¹²

Издательство «W drodze» выпустило книгу очерков известного журналиста и писателя Ксаверия Прушиньского «Сражаемся» («Walczymy») о польских солдатах на библейской земле Палестины:

«– Мы находимся в Святой земле, – говорили набожные польские солдаты. ...Один из отрядов подошел к небольшому, рассыпающемуся от жары селению. Удивились, прочитав его гордое название:

– Иерихо!

Славный град, захват которого так основательно описали историки древнего Израиля, своим видом не импонировал полякам. Бесформенные мазанки, пара приличных домов, несколько нищих перед туристами, жаждущих жить за счет славы этого города...

– Один взвод, даже меньше, мог бы это захватить, – сетовал сержант, – ничего удивительного, что от крика израэлитов такие стены могли рухнуть. Ох, нетрудно было тогда вести войны, брать города и разрушать фортификации. Неплохо было в те добрые старые времена две с половиной тысячи лет назад.

Шли дальше. Был к тому же период сильной жары в этой низине, расположенной ниже уровня моря. Июль. Арабское население с удивлением взирало на пришельцев из Польши, которые не были евреями; до сих пор они знали как поляков евреев-сионистов, поселяющихся в Палестине. Лошади вызвали у шейхов настоящее одобрение. Сами же шейхи показались полякам весьма похожими на евреев.

– И что они так ссорятся, – дивились солдаты, – так всё тут похоже...

Наконец очам предстал Иерусалим. Английские власти Палестины приняли союзников, пришедших из Сирии, с настоящим британским и солдатским гостеприимством. Польские лагеря расположились в Палестине вблизи городов с названиями, которые не одному из нас напоминали известные с детства. Вифлеем, и Хеврон, и Назарет. Вся Галилея»¹³.

Не раз уже писали о том, как интересно читать старые газеты. Газета, как ничто иное сразу, «без предисловий», погружает вас в живое движение, вращение, разноголосицу той далекой жизни. Словно само время загомонило, зашумело разом и обо всем сразу: это его «шум», его дыхание. Ушедшая эпоха втягивает нас в свои проблемы, споры о давно забытом или наоборот, хорошо знакомом, и вдруг обретающем свежесть, вписавшись в родной контекст. Взгляд «из будущего», из нашего времени, придает событиям и публикациям газеты новые смыслы. И может, это соединение нашего знания и «их» незнания и порождает волнение, которое при этом чтении охватывает нас...

¹² T. Zajączkowski. *Od Ostrej Bramy do Ósmej Armii* (От Острой Браны до Восьмой армии). Rzym, 1945. S. 28..

¹³ Ks. Pruszyński. *Walczymy. Jerozolima*, «W drodze» [1943]. S. 121 – 122.

Ксаверий Прушиньский (1907 – 1950) – писатель, публицист, был корреспондентом в Испании в 1936 г., позднее – на дипломатической службе у генерала Сикорского. В 1945 г. вернулся в Польшу; был на дипломатической работе.

Владимир Хазан

О ЯКОВЕ ВЕЙНШАЛЕ

Яков Владимирович Вейншал, был личностью яркой и колоритной. Характеристика эта, несмотря на смущающий трюизм, в высшей степени соответствует как его внешнему, так и внутреннему облику.

Яков Вейншал родился в Тифлисе в семье врача Владимира (Зезва Бен-Циона) Вейншала, который вместе с женой Каролиной Львовной (Арьевной) Ландау переехал из Петербурга на Кавказ, поскольку, с молодых лет страдая чахоткой, надеялся вылечить свои больные легкие под жарким кавказским солнцем, что на самом деле и случилось. С датой рождения Я. Вейншала произошла какая-то путаница, и в разных документах – не исключено, что по его собственной воле и по причинам, мне неизвестным, – указаны то 1 октября 1891 г. (например, в его палестинском паспорте), то 1 октября 1892 г. (в удостоверении об окончании гимназии), то 10 ноября 1892 г. (в свидетельстве о зачислении в Женевский университет); в «Воспоминаниях» он пишет, что на год был старше своего брата Авраама, а это свидетельствует в пользу 1892 года, поскольку Авраам родился в 1893 году; см. также прим. 44.

В 1910 г., окончив восьмилетнюю 1-ю Бакинскую Императора Александра III мужскую классическую гимназию, Я. Вейншал отправился в Германию. Сначала он поступил на естественный факультет Мюнхенского университета, где изучал химию, затем перевелся в этом же университете на медицинское отделение, а диссертацию на звание доктора медицины защитил впоследствии в университете Базеля. Годы, проведенные за границей, были наполнены не только университетскими занятиями, но и активной сионистской деятельностью: он был активным членом мюнхенской студенческой корпорации «Маккабея» и являлся одним из основателей сионистской студенческой организации «Гехавер» и членом ее Центрального Комитета.

Из-за разразившейся первой мировой войны ему как российскому подданному пришлось покинуть Германию и перебраться в нейтральную Швейцарию, где он был принят на медицинский факультет Женевского университета и вместе с братом Авраамом издавал журнал «Для самообразования сионистского студенчества».

Вернувшись в Россию, он в качестве военврача попал на Персидский фронт. После Февральской революции был отозван в Петроград для участия в еврейском отряде, которому надлежало пробиться через Кавказ в Палестину для борьбы с турками. Руководил отрядом Иосиф Трумпельдор. Осуществлению этого плана, одобренного Временным правительством во главе с А. Ф. Керенским, помешал большевистский переворот.

В конце 1917 г. Вейншал оказался в родном Баку. С 1920 по 1922 служил в пропедевтической клинике Бакинского университета, сперва в качестве ординатора, впоследствии – ассистента. Там же опубликовал свои первые научные работы по медицине.

С 1922 г. – с приездом в Палестину – начинается новый этап в его жизни. Это была не первая встреча Вейншала с Землей Израиля. Еще в 1909 г., живя в Баку, он с отцом и двумя братьями приезжал сюда, движимый не «голодом по пряностям», как выразился бы в данном случае поэт М. Волошин, а сионистской идеей, овладевшей со временем всем его существом.

В Эрец-Исраэль он работал сначала врачом в округе Зихрон-Яакова, Киркура и Бейт-Шеана, затем в больнице Ротшильда в Иерусалиме. Принимал активное участие в создании больничной кассы *Купат холим ле-овдим леумии* и сам в ней работал.

Был членом Национального совета (*Ваад Леуми*), членом городского совета Тель-Авива и представлял интересы ревизионистского движения в Гистадруте. В 20-е годы являлся палестинским корреспондентом парижского русско-еврейского еженедельника «Рассвет», главным редактором которого был Владимир Жаботинский. В рубрике «Палестинские письма» появились десятки очерков и репортажей Вейншала, в которых выпукло, многообразно и максимально объективно представала жизнь еврейской Палестины. Он в единственном числе представлял палестинскую группу на Первой конференции сионистов-ревизионистов, проходившую с 26 по 30 апреля 1925 г. в Париже¹. В 1925 – 1928 гг. возглавлял ЦК сионистов-ревизионистов в Палестине.

Не новичок в литературе, связанный и в прошлом с журналистикой, редакторским и издательским делом, Вейншал с середины 30-х гг., когда в свет вышел его первый роман «Суд начнется завтра» – об убийстве одного из лидеров сионистского рабочего движения в Палестине Хаима Арлозорова, – становится, не оставляя кормящую его медицинскую деятельность, профессиональным ивритским писателем. Здесь следует обязательно сказать о том, что Вейншал овладел ивритом отнюдь не в нежном возрасте, как большинство ивритских писателей. Больше того, отношения с ивритом у прилично владевшего несколькими европейскими языками Вейншала долгое время складывались весьма непросто. По крайней мере, в пору его приезда в Палестину, как выразились бы сегодня, «на постоянное жительство» (а было ему тогда как-никак 30 лет), иврита он, по собственному признанию, не знал. И то, что случилось через десять с небольшим лет, иначе как чудом не назовешь: родился писатель, пусть и не вошедший в плеяду крупных звезд ивритской литературы, однако же, занимающий в ней, по общему признанию критики и читательской аудитории, вполне достойное место. Начиная с середины 30-х Вейншал опубликовал в ивритской периодической печати бесчисленное множество рассказов, очерков (причем «бесчисленное множество» здесь не обиходно-гиперболическая фигура речи, сроднившаяся с жанром биографической справки, но абсолютно точная констатация «физического» факта: я потратил в *Гнозим* (архиве Союза писателей Израиля) полный световой день только на то,

¹ См.: Joseph B. Schectman. *Fighter and Prophet. The Vladimir Jabotinsky Story* <In Two Volumes>. Vol. 2. New York-London, 1961, p. 37; ср.: Рассвет, 1925, № 16, 19 апреля.

чтобы переписать в свой блокнот перечень разнообразных вейншаловских текстов, собранных в отдельную картотеку, – да и то, полагая, в ней отражено далеко не все). Поражает, прежде всего, ненасытная авторская тематическая всеядность: человек удивительно трезвомыслящий, обладавший прекрасной памятью, свежим и оригинальным взглядом на вещи, блистательно эрудированный и неизменно иронически настроенный, скептик и умница, Вейншал касался самых разнообразных предметов и материй. Если попытаться все это как-то объединить и классифицировать, станет очевидным, что предпочтение отдавалось – наряду с разумеющейся политикой (кем же надо было быть, живя в то время в Палестине и в Израиле, да и в наше время, пожалуй, тоже, чтобы не писать о текущей политике, – разве что великим писателем?) – истории и географии Эрец-Исраэль, причем в очень конкретном и вещественном смысле – ее археологии, архитектуре, ландшафту, битвам и героям, давним и недавним. Генотип еврейского духа, его исторические корни и эволюция, составлявшие литературный «конек» Вейншала, его магистральную творческую тему, получили воплощение также и в романном жанре (им написано около двадцати романов): «Ганс Герцль» (1945) – о сыне основателя сионизма Т. Герцля; «Марку Барух» (1949) – о яркой и трагической судьбе известного сиониста XIX века Иосифа Марку Баруха, покончившего с собой в 1899 г. в возрасте 27 лет; «Жабо» (1950) – о В. Жаботинском; «А-дам ашер ба-соф» (1956) – о жизни, борьбе и смерти создателя и первого руководителя организации ЛЕХИ (*Лохамей херут Исраэль* – Борцы за свободу Израиля) Авраама (Яира) Штерна²; «Хордус ахи» (1959) – о царе Ироде; «Igta» (1968) – о руководителе палестинского Бейтара Ирмиягу Гальперне, «А-ришон бе-ковшей а-гар» (1969) и др. За свои литературные достижения удостоен в 1969 году премии им. В. Жаботинского³. Сотрудничал Вейншал и с русскоязычными израильскими газетами и журналами, в первую очередь как исторический очеркист. По-русски написаны и настоящие воспоминания.

В 1950 г., будучи во Франции, намеревался познакомиться с И. Буниным, но, видимо, не застал его в Париже; см. в письме Д. Кнута Буниным из Израиля от 8 мая 1950 г.: «На днях к вам попросится в визитеры один мой приятель, тутошний врач и литератор, превосходно изъясняющийся по-русски: он вам расскажет об Израильском государстве и о прочем таком. Зовут этого израильского писателя – Яков Вейншал»⁴.

Вейншал был дружен с некоторыми русскими писателями-эмигрантами, посещавшими Палестину, например, с Ант. П. Ладинским⁵.

Умер Яков Вейншал в 1981 году.

² Единственный роман, переведенный на русский язык; под названием «Предвестник бури» книга в переводе Ефрема Бауха опубликована в 1988 г.

³ См. об этом: Ha-Uma, vol. 3 (27), 1969, 407-410.

⁴ Довид Кнут. Собрание сочинений: В 2-х т. Т. 2. Иерусалим, 1998, с. 341.

⁵ Письма Ладинского к нему см.: В. Хазан. «Особенный еврейско-русский воздух» [О русско-еврейских литературных контактах в XX веке: Статьи и заметки. Портреты. Публикации]. Иерусалим – Москва, 2001.

Предлагаемые вниманию читателя воспоминания охватывают основные этапы его жизни и представляют немалый интерес с разных точек зрения: главным образом – еврейской истории XX века, истории сионизма в Израиле. Частная биография оказывается удачной призмой, отражающей большие и значимые вопросы времени. Происходит это, в первую очередь, потому, что автором воспоминаний является не заурядный регистратор событий, а живой и ревностный их участник, человек, зрящий глубоко в корень явлений, которого трудно провести на мякине внешне эффектных очарований. Это объясняет, почему в воспоминаниях разлито немало критического яда по поводу традиционно-образцовых израильских мифов. Не забудем при этом, что дело не только в скептическом темпераменте Вейншала, который отмечают почти все близко знавшие этого человека люди, но и в абсолютно неколебимой позиции сиониста-ревизиониста, друга, единомышленника и соратника В. Жаботинского.

Полемика внутри сионизма, однако, не становится стержневой темой воспоминаний, и они представляют собой явление куда более многообразное, предлагая взгляд на, говоря пастернаковским слогом, людей и положения в широкой исторической перспективе. Нельзя не отметить в этой связи отвечающее теме чувство стиля, которым мемуарист был наделен сполна, хотя текст воспоминаний, несмотря на обильную авторскую правку, нуждается временами в известной редактуре. Я как публикатор осуществил таковую в самых минимальных дозах, выправив лишь те места, которые показались совершенно неудобоваримыми для чтения, оставив практически нетронутым основной текстовый массив. Я стремился сохранить авторскую интонацию и стилистику – вещи, как мне кажется, куда более важные, нежели грамматически нормативное построение фразы. Все мои интерполяции и конъектуры заключены в угловые скобки; переводные слова и конструкции – в прямые. Некоторые незначительные исправления не оговариваются. В большинстве случаев сохранена авторская транслитерация ивритских слов и названий.

Текст воспоминаний отпечатан на машинке, и создается впечатление, что автор готовил их для издания, хотя время написания – 1954 год – было вроде бы не самым подходящим для издания книги на русском языке, русскоязычной же периодики тогда и вовсе не существовало. Правда, некоторые переведенные на иврит эпизоды – несколько измененные или иначе оркестрованные, а то и поставленные в связь с другими событиями, – приводятся в статьях и очерках Вейншала в израильской печати. Но в своем целостном виде данные мемуары на протяжении почти полувека оказались достоянием архива. Следует, правда, сказать, что ряд фрагментов из них приводится в книге Ицхака Давида «История евреев на Кавказе» <В 2-х т.> («Кавкасион», Тель-Авив, б/г).

Воспоминания хранятся в Институте В. Жаботинского в Тель-Авиве (архив Я. Вейншала, 2/1/93 ф). Приношу искреннюю благодарность сотруднику Института Татьяне Груз за помощь в подготовке данной публикации.

Владимир Хазан

Яков Вейншал

ВОСПОМИНАНИЯ

... всю жизнь страшно кашлял. Впоследствии он стал железнодорожным врачом и жил на одной из узловых станций линии Баку – Тифлис¹. Тут родился мой второй брат Абрам². Потом военное ведомство передало его гражданскому – и он был назначен сельским врачом в Маштаги, богатую татарскую деревню, нечто вроде оазиса в песчаной пустыне³. И это благодаря тому, что о нем как о враче было хорошего мнения губернатор, которого он лечил. После Бога, по степени влияния на судьбы людей, шел губернатор, от которого зависела судьба миллионов – всей Бакинской губернии. Мать моя девушкой была красавица, потом <стала> красивой женщиной. Несмотря на это, она охотно удалилась вместе с отцом в этот медвежий угол на много лет. Ей импонировала кипучая энергия моего отца. Он работал не покладая рук. В совершенстве изучил татарский язык. Сам принимал роды – в том числе и своих собственных детей. Шил разбойникам в их берлогах распоротые кинжалами животы. Часто выезжал к больным на много десятков верст верхом на лошади. Он не знал, что такое отдых и что такое страх. Скоро он стал самым популярным врачом всего Апшеронского полуострова. Татары его не звали иначе – как «наш доктор с красной бородой». Даже впоследствии, когда мы жили уже в Баку, то извозчику вместо адреса достаточно было сказать – «К красному доктору» – и он доставлял на место, – и это в городе, где жило около полумиллиона жителей.

Тогда, в Маштагах, я как-то слышал от него, что деревня эта не обижена историей и что Маштаги – это не лингвистическая передержка, – некогда она была столицей аланов, и именно мосторчетских аланов.

Мы, однако, не были единственными европейцами в этих Маштагах. В том же громадном доме помещалась квартира пристава и мельница, при которой жил мельник со своей женой. На десять тысяч татар это было немного. Но как раз мельничихе суждено было сыграть в моей жизни фатальную роль.

Мне было тогда не больше шести лет. Нашей главной детской забавой были разбойничьи нападения на татарских мальчиков. Несмотря на то, что они были старше по возрасту, мы брали в плен и вытаскивали у них из карманов бараньи косточки-альчики – кубики для особой игры,

¹ Первая страница отсутствует. Воспоминания начинаются с описания отца мемуариста Вейншала Владимира (Зеэва Бен-Циона) (1863, Гродно – 1943, Хайфа), к которому он будет возвращаться неоднократно. Полную биографию В. Вейншала см. в журнале: Ha-Refua, 1933, Vol. 7, 295-296 (иврит).

² Авраам (Абрам) Вейншал (1893, Кюрдмир – 1968, Хайфа), адвокат, доктор юриспруденции, общественный деятель (член Кнессета первого созыва), один из лидеров партии сионистов-ревизионистов.

³ Селение, располагавшееся в те времена неподалеку от Баку, в настоящее время входит в состав города. Татарами Я. Вейншал называет азербайджанцев.

которая занимала нас больше всех игр на свете. В итоге у нас дома, как у настоящих пиратов, хранился ящик с сокровищами: альчики простые и окрашенные в красный и синий цвет, альчики наточенные, альчики с влитым в них свинцом, которые почти никогда не ложились, к ужасу игрока, набок. Нам часто попадало от наших жертв, которые вызывали на помощь себе товарищей. Мы дрались, как львы. Отступали к заранее заготовленным кучам камней и отстреливались. Крытые колодцы на площади служили прикрытием и засадой. Битвы были жестокие. Один раз отцу пришлось зашивать глубокую рану на голове одному из раненых нами, притом вся деревня ходила вверх дном.

Много лет спустя, уже как молодой врач заменяя отца, я посетил эту деревню Маштаги. Было опасно, и меня сопровождали татары моего возраста с винтовками. Зашел разговор о детских годах. Они не забыли этой нашей артиллерийской стрельбы у колодцев, эту войну хитрого Запада с наивным Востоком.

В нашем легионе четырех был сын мельничихи, нашего же возраста. Один из камней вражеского войска ушиб и его. По этому поводу мельничиха, простая баба, разразилась по нашему адресу проклятием: «Жиды, убили Христа!» Фраза прозвучала в моих ушах несколько таинственно. Я попросил у матери объяснения. Она мне объяснила, что жид – это ругательное слово для еврея, и русские считают нас виновниками в убийстве их Бога.

Из слов матери я понял, что это злостный поклеп, но для него имеются и кое-какие основания. Это открытие показалось мне чем-то фатальным из всего, что мне пришлось слышать до сих пор и предстояло слышать в будущем. Я понял, что принадлежу к какой-то особой породе людей, заклеянной каким-то никогда не совершенным страшным убийством. Это была моя первая психическая буря. Весь мир нас обвиняет в богоубийстве, и нет возможности это опровергнуть, так же, как и нет таких судей, которые бы взяли на себя нашу защиту.

Мать мне сказала: «Перестаньте играть с сыном мельника...»

Но для меня в этот момент весь мир был не больше, чем большая мельница, в которой вместо муки мелят ядовитую ложь. И в эту минуту я решил, что я, зачумленный, принимаю бой, каким бы он ни был неравным. Мать мне сказала, что они считают своим Богом одного убитого еврея. Я решил, что, если это даже так, то совершенно неважно, кто его убил, важно только заткнуть всем глотку, чтобы они не вмешивались не в свои дела. Если им нужен Бог, то пусть ищут себе в другом месте, а не среди нас. Не они, а мы сами вправе распоряжаться собой как нам угодно.

Это было жестокое переживание, и я не сомневаюсь в том, что эта обида глупой мельничихи стала исходной точкой всего моего развития. Мое самлюбие было уязвлено.

Как-то раз отец мне рассказал, что какой-то доктор из Вены предлагает, чтобы все евреи поехали в Палестину. Эта идея на меня произвела впечатление и с чисто технической стороны. Я себе тотчас представил, что все сядут на поезд, у которого будет бесчисленное количество вагонов, и поедут в Палестину. А после лошади моего отца, на которой я часто мчался по дорогам, самым большим моим кумиром была именно железная дорога. Особенно паровоз! Все ступля в доме всегда стаскивались

нами в нашу детскую – они служили вагонами. Поэтому идея Герцля мне страшно понравилась, как если бы мы сели управлять паровозом. Сильное впечатление произвел на меня приезд в наш дом губернатора. Особенно то обстоятельство, что по этому поводу была выгашена из буфета часть пасхального сервиза из красного хрусталя, и в одну вазу была втиснута запрещенная, как говорила бабушка, икра. И это совсем даже не было в Пасху.

Но эта неувязка скоро перестала меня занимать. В деревне были вещи гораздо более занимательные, чем приезд губернатора. Мусульманский праздник Шахсей-Вахсей, когда деревня неделями обходила процессиями – с диковинными зелеными знаменами с зеркальцами и дикими воплями – все улицы. Через несколько дней возбуждение достигло своего апогея. «Избранные» начинали бить себя железными цепями и в последний день наносить себе большими кинжалами порезы головы, обливая кровью свои белые передники. Потом мистерия с рыцарями на лошадях в древних кольчугах. Они убивают пророка. Толпа в несколько тысяч заливается слезами и вопит. Сжигание лагеря пророка Али, его отрубленная <голова>, шея, сочащаяся кровью, – таков финал мистерии. Наша семья занимала почетное место у входа в мечеть, вместе с кади⁴, и отсюда все можно было хорошо видеть⁵.

И потом татарские свадьбы на площади в огромных шатрах из сотен ковров, в которых выступали девушки с распущенными волосами и артисты-юноши с выпяченным задом, восточная зурна и обязательные состязания в борьбе на площади. Пара за парой, по восходящей по силе борца степени, – и триумф чемпиона «Джауда». Здесь, среди этих отдаленных потомков каспиев, аланов, моголов, турок, вдруг как правомерный потомственный гражданин этот чудо-силач «Джауд», еврейской крови, который сам не знает ничего о своем происхождении, – он гордость Апшерона.

И потом помню, как отец занимался фотографией. У него был диковинный деревянный аппарат. И самое любимое наше, детей, занятие было сидеть с ним в темной комнате и из-за его спины, при свете красной лампы, наблюдать, как выступают контур за контуром знакомые лица: проявление негатива. Как часто я потом думал, что здесь, в этой темной комнате, я постиг весь процесс жизненного пути, в том числе и своего. Мы не больше, чем белая пластинка, которая, погруженная в кислоты и щелочи жизни, проявляет одну черту за другой, вырисовывая лишь предначертанное.

Эта по-детски глубокая философия не мешала мне сажать кошку на куриные яйца и, всему исцарапанному ею, приходить жаловаться матери на то, что она отказывается нести бремя курино-материнских обя-

⁴ Кади – народный судья, решающий разнообразные тяжбы на основе мусульманского права.

⁵ Шахсей-Вахсей (искажение от персидского восклицания «Шах Хусейн, вах Хусейн!» – «Царь Хусейн, ах Хусейн!»), или Ашура (от араб. – «десятое»), день траура у мусульман-шиитов, приходящийся на 10-е число месяца мухаррем (или мухаррам – от араб. «священный, заповедный»), первого месяца мусульманского лунного календаря. Траур сопровождается шествиями с самоистязанием плоти в память великомученика Хусейна, внука Мухаммеда, сына халифа Али ибн Абу Талиба.

занностей. Мы уходили за много верст от дома, чтобы самостоятельно убедиться в правоте глобуса, и наши родители, к своему ужасу, находили нас спящими от изнурения и голода у края открытого колодца. Мы хорошо говорили по-татарски, и особенно красочно ругались; чем восточнее язык, тем более непостижим в своем богатстве его словарь проклятий. Любовались лиловыми садами расцветающего шафрана, собирали слезшие со змей шкурки и, главным образом, прокрадывались в кладовку, где можно было жевать сырыми развешанные там грибы.

Шафран и грибы – два полюса. Мой дедушка посылал в свой Могилев несколько фунтов маштагинского шафрана и получал взамен несколько фунтов хороших сушеных грибов. Посылал их Берка, таинственный Берка, сирота, усыновленный дедушкой, – страж покинутого дома. Эти грибы приходили в больших холщовых пакетах, с указанием самого невероятного адреса. В нем все было перепутано: имя отца, название губернии, вместо Маштагов была написана какая-то Мостоцкая волость. Как они доходили – это уже само по себе было чудо.

Через тридцать лет в Тель-Авиве я встретил автора этих фантастических адресов на пакетах с грибами. Им оказался сын Берки, ставший адвокатом. Он пригласил меня к себе. Мы пили вино. Я узнал бокал: красный хрусталь с золотым ободком. Он был из того же пасхального сервиза моей бабушки. Ее уже не было в живых – иначе она была бы очень огорчена: как это такой бокал мог остаться без ее ведома у Эммы или Берки. Я смотрел на этот бокал в Тель-Авиве как на семейную реликвию. Он снова перенес меня в Маштаги, где приехавшая из Петербурга тетя <Б>етя приняла нашу восточную питу за диковинную по вкусу рыбу. Где тетя Надя, сестра моего отца, была в отчаянии от моего отвращения ко всякого рода наукам, и особенно к чистописанию. Куда часто являлся дядя Давид, отец моей матери⁶, всегда смеющийся и нагруженный игрушками. Где бабушка мне показывала фотографию моей двоюродной сестры Дуси, дочери дяди Яши из Риги, торжественно меня заверяя, что она самая красивая девочка на свете и что я женюсь только на ней.

⁶ Описка мемуариста: Давид Львович (Арьевич) Ландау – родной брат его матери, отец выдающегося физика, лауреата Нобелевской премии (1962) Льва Давидовича Ландау (1908, Баку – 1968, Москва). Фотографию Давида Ландау с женой Любовью Вениаминовной (урожд. Гаркави), дочерью Соней и сыном Львом см. в книгах: Майя Бессараб, Ландау: Страницы жизни, «Московский рабочий», Москва, 1971 (вклейка между с. 32 и 33), Воспоминания о Л. Д. Ландау, «Наука», Москва, 1988, с. 9; Кора Ландау-Дробанцева, Академик Ландау: Как мы жили: Воспоминания, «Захаров-Аст», Москва, 1999, фотоврезка между с. 192-193. После автокатастрофы, в которую попал Л. Ландау, когда жизни его угрожала смертельная опасность и весть об этом облетела весь мир, Вейншал откликнулся воспоминаниями о своем кузене, напечатанными в газете «Yedi'ot Aharonot» (1962, № 9107, 19.01, субботнее приложение); здесь же опубликован редкий фотоснимок (видимо, из семейного альбома Вейншала) маленького Левы Ландау с сестрой. Всемирная научная слава Ландау не могла, естественно, оставить Вейншала равнодушным, и он с интересом следил за ним с «чужого берега»: в его архиве хранятся вырезки статей и фотографий из разноречивых газет и журналов, писавших о знаменитом физике XX века.

С учением, действительно, подвигалось туго. Мой бедный отец, он, должно, был от меня в отчаянии. Но он был врожденный педагог. Недаром и его отец⁷, прежде чем стать секретарем «Восхода», был преподавателем русского языка в еврейской школе в Минске. От этого «русского» преподавания все его дети носили чисто русские имена: моего отца звали Владимир, его сестрами были Мария, Анюта и Надежда. Каким-то чудом в его <отца мемуариста> паспорте было, однако, проставлено еще два имени: Бен-Цион и Зеев. Сам он дал нам, всем трем, библейские имена: Яков, Авраам, Элиазар, без всяких побочных имен. Мою сестру он назвал по имени своей матери, которая в молодости погибла от туберкулеза – болезни, которая так угрожала и ему самому.

Так от дедушки к нему перешла эта педагогическая жилка. Я не ошибусь, если скажу, что он три раза сдавал экзамены на аттестат зрелости. Один раз за себя самого, второй раз вместе со мной и третий раз вместе с моим сыном. Три раза пройти курс геометрии, алгебры и тригонометрии – это совсем не так просто.

Когда наступило время поступления в гимназию, меня отправили вначале на нефтяные промыслы, к дяде Давиду, потом в Баку, к тете Наде. Семи с половиной лет я покинул дом и больше всего тосковал по матери. У нее был такой ровный, уравновешенный характер. Если бы я увидел ее когда-либо плачущей, мне показалось бы, что наступило светопреставление. Она нас никогда не воспитывала – она делала больше: сама была примером. Это, должно быть, самая лучшая форма воспитания; не все матери об этом, к сожалению, знают. Она не должна была говорить – ее глаза выражали все ее желания, опасения, надежды и гордость своей семьей. Она умела смотреть на все как бы со стороны и уже в детстве считала нас взрослыми и каждого ответственным за самого себя. И это действовало. В ее присутствии мы чувствовали себя взрослыми. Мне даже кажется теперь, что я всегда был взрослым, потому что она никогда не делала из нас только детей.

Если для психоаналитиков это может представлять какой-либо интерес, то уже с детства меня мучила и преследовала одна странная идея. Сущность ее сводится к следующему: почему «я» это «я». Кто распорядился так, что моя душа, мое сознание, мой пролет через жизненный путь оказался неразрывно связан именно с моим, а не с другим телом из всех этих миллионов людей. Почему я должен нести ответственность именно за этот, а не за какой-либо иной лотерейный билет на право участия в жизни. Возможно, что многих преследует та же мысль, хотя они об этом не говорят. Когда я их спрашиваю об этом, они начинают коситься на меня, подозревая во мне раздвоение личности и человека, который ищет способа освободить себя от того долга, который на него возложило метрическое свидетельство.

⁷ Дед мемуариста Шауль (Савелий) Вейншал был секретарем издававшегося в Петербурге еврейского журнала «Восход» (редактор-издатель А. Е. Ландау). После переезда в Тифлис стал здесь казенным раввином. Автор «Краткого учебного руководителя по еврейскому языку» (Варшава, 1877), вышедшего под именем Авраам-Шмуэль Вейншал.

Не мне решать этот вопрос, но он уже там, в Маштагах, меня постоянно занимал, даже когда я собирал цветные ракушки, сушил цветы, коллекционировал бабочек и, конечно, собирал цветные бумажки от конфет, сортируя их, как если бы это были деньги. Поэтому я думаю, что я всегда был взрослым, и мать моя была права, предоставив меня самому себе.

У дяди Давида все было иначе, чем у нас дома в Маштагах. Он жил в самом центре нефтяных промыслов среди леса черных нефтяных вышек и топких болот с нефтью – месте, обкрученном, как паутиной, нефтяными трубами на много километров по окружности, с адским шумом от паровых молотов и черным от сажи небом. Здесь я увидел первое чудо техники – электрическое освещение, натертые лаком паркетные полы, масляную краску на стенах и квартиру в пятнадцать комнат, из которых десять были заперты на ключ.

Дядя Давид долго оставался холостяком, и, может, поэтому он всегда был в хорошем настроении и страшно любил детей. Живя у него и пробираясь в запертые комнаты, я перелистывал там разложенные иллюстрированные журналы. И, должно быть, надоедал ему вопросам о причинах европейско-китайской войны с ее зверствами, которая тогда занимала прессу. Впрочем, <обычай> пробираться в запертые парадные залы и проводить часы, раскапывая всякие хранящиеся там чудеса, был у меня еще в Маштагах. Здесь я нашел миниатюрные альбомы в изящных переплетах из оливкового дерева с засушенными цветами из Палестины, рассылаемыми людьми *халуки*. Теми же людьми Хеврона и Цфата были посланы нам уродливые сухие луковички с острыми шипами. Достаточно их было опустить в воду на несколько часов, как они чудесным образом распускались в прекрасную водяную лилию. Имя этому волшебному цветку было Иерихонская роза. Она на меня в детстве <произвела> неизгладимое впечатление. Впоследствии, когда я стал старше, представление об этой розе слилось у меня с судьбой еврейского народа, высохшего, колючего, уродливого физически и морально, но все еще живого, которому достаточно получить живительные соки для того, чтобы снова воспрянуть к полноценной жизни. Я еще и теперь продолжаю верить в этот фетиш своих детских лет, и это несмотря на некоторые разочарования и существенные поправки в этой концепции⁸.

Но тогда, в прекрасно обставленной квартире дяди Давида, меня больше интересовали войны. После китайской, конечно, англо-бурская. С мальчиками во дворе я играл в эту войну и, к моему несчастью, на меня выпадала всегда роль представлять «англичанина». Когда мне сильно доставалось от моих более сильных противников, то они автоматически ссылались на то, что так это должно быть потому, что настоящие буры порядком колотят настоящих англичан. Это было слабым, конечно, утешением. И, может быть, с тех пор я никогда уже больше не отождествлял себя так легкомысленно, как в возрасте восьми лет, с английской ориентацией.

⁸ См. в этой связи рассказ Я. Вейншала «Ерихонская роза» (Вестник Израиля, 1959, № 1, с. 22-25).

Дядя Давид был во всех отношениях удивительный человек. У него было особое счастье попадать в когти к смерти и выскальзывать из нее невредимым. В детстве он тонул в Днепре. Однажды во время большого пожара на нефтяном заводе он оказался в его центре, окруженный со всех сторон горящим морем с километр в квадрате. Меня ночью укутали в одеяло и в числе прочих перенесли на пароход, и матросы стояли с топорами у чалок, ибо пожар зажег море, покрытое нефтью, и это на случай внезапного отплытия. Дядя Давид считался всеми погибшим, так как он находился всего в нескольких метрах от первого взрыва. Несмотря на это, он отделался только обмороком и отравлением газами.

Впоследствии его украл бандиты, угрожая его смертью, если не будет выслан большой денежный выкуп. Из своего пленения он просил внести выкуп, но упорно подписывал свои письма вместо «Давид» – «Диктант». Он вышел невредимым и из этого испытания, несмотря на то, что требование похитителей не было удовлетворено. Странно, что Сталин, тогда только партийный агитатор, которого считали инициатором этого похищения, не обратил внимания на эту маленькую разницу в правописании между словом «Давид» и словом «Диктант». Моя мать лучше разбирала почерк своего брата, чем будущий глава половины мира.

Но этим испытания дяди Давида не закончились. С приходом к власти большевиков он был арестован и ему угрожал расстрел, потому что, исполняя инструкции фирмы «Шелл» из Лондона⁹, он пытался еще до прихода большевиков выслать за границу чашу из чистой платины весом в сорок кило. Его спасло то, что арестованный с ним вместе его помощник, такой же инженер, как и он сам, имел сестру большевичку, неофициальную жену самого Орджоникидзе.

Через два года он снова был арестован, потому что отказался перевести свое задержанное в Лондоне жалованье большевикам. Ему не было жалко этих денег, но он знал, что в тот момент, когда деньги будут у большевиков, его неминуемо расстреляют. Пока он хозяин этих денег, его жизнь обеспечена.

После томительных лет в тюрьме с постоянной угрозой расстрела о нем вдруг вспомнили как об одном из лучших инженеров, специалистов по добыче нефти. Он был освобожден, переведен в Москву, и ему был вручен самый большой пост в управлении нефтью всей советской республики.

Его здоровый, холодный мозг настоящего Ландау, с большими математическими способностями, унаследовал впоследствии его сын, один из лучших специалистов в России по атомным бомбам. Из автобиографии Артура Кестлера я случайно узнал, что он столкнулся с этим моим кузеном в России. Я из этого сделал вывод, что бедного Артура наша семья преследует по обеим сторонам железной завесы¹⁰.

⁹ Давид Ландау работал инженером в химической лаборатории на одном из принадлежавших Ротшильдам бакинских нефтяных заводов, который в 1912 г., в числе прочих предприятий, был продан англо-голландской нефтяной фирме «Royal Dutch Shell Co».

¹⁰ Артур Кестлер (1905, Будапешт – 1983, Лондон; вместе с женой покончил жизнь самоубийством), английский писатель еврейского происхождения. Впер-

Маленьким мальчиком я не мог предвидеть всего этого бурного будущего моего дяди, но в нем уже тогда поражало меня то, что я чувствовал у моей матери, – безграничный фатализм, вера в судьбу, полное самообладание, равнодушие ко всем испытаниям, почти презрение к жизни.

После смерти дедушки Арье¹¹ в нашем доме пасхальным сейдером стал руководить дядя Давид. И тут у нас с ним происходили самые забавные столкновения. В то время как мой отец в свои студенческие годы дружил со студентами, из которых некоторые, в том числе Белькинд, пошли в «билуйцы», дядя Давид был неуклонным последователем Дубнова. Для него сионизм была пустая химера. Евреи должны оставаться там, куда их забросила судьба, оставаться евреями. Они могут время от времени помогать тем, кто едет в Палестину заниматься земледелием, – и это все. Вопрос «*Ма ништана?*») был объявлением войны дяде Давиду, войны рыцарей с рыцарем. Мы ловили его на противоречиях, и первое из них было: «В будущем году в Иерусалиме!» И разве голус <(галут,)> – это не тот же новый Египет?! После афикомана дискуссия заканчивалась временным перемирием. Но из года в год дяде

вые приехал в Эрец-Исраэль в 1926 г., жил и работал в кибуце Бет-Альфа, был палестинским корреспондентом нескольких немецких газет. В 1929 г. вернулся в Европу. В 1931 г. вступил в коммунистическую партию, принимал активное участие в деятельности Коминтерна (впоследствии, в 1938 г., испытав острое разочарование в коммунизме, вышел из нее) и в течение года (1932–1933) жил в Советском Союзе (среди многих языков, на которых говорил Кестлер, был и русский), в частности, в Харькове, где и познакомился с Л. Ландау. В 1936 г. в качестве военного корреспондента английской газеты «*News Chronicle*» отправился в Испанию и сражался в рядах Интербригады. Попал в плен и был приговорен к смертной казни, выменян на Жозефину Гальвеци да Хайа, жену военного летчика, занимавшего крупный пост у Франко. Воевал с нацистами сначала в рядах французской армии, а после ее разгрома – в британской. В творчестве Кестлера нашла место еврейская и, в частности, палестинская тематика. Из работ на русском языке о Кестлере см.: М. Улановская, Свобода и догма. Жизнь и творчество Артура Кестлера, Иерусалим, 1996. Летом 1932 г. Кестлер приехал в СССР и поселился в Харькове у своих друзей Алекса и Евы Вайсбергов (трагическую судьбу Евы писатель впоследствии изобразит в известном своем романе «*Dark at Noon*» [Тьма в полдень]). А. Вайсберг – физик, член австрийской компартии, работал в том же Украинском физико-техническом институте (УФТИ), что и Л. Ландау, в 1932 г. приехавший в Харьков и возглавивший в УФТИ теоретический отдел. Кестлер, который, по-видимому, познакомился с Ландау через А. Вайсберга, пишет в своих воспоминаниях: «Профессор Ландау, выдающийся русский физик, в течение получаса убеждал меня в том, что чтение кого-либо из домарксистских философов – пустая трата времени». По другую сторону «железной завесы» Кестлер был дружен с братьями Вейншалами – Яковом (см. их совместную фотографию в ревизионистской газете «Херут», 1962, 16 ноября) и Абрамом (см.: Iain Hamilton, Koestler: A Biography. Secker & Warburg, London, 1982, p. 10).

¹¹ Дед мемуариста со стороны матери, в чьем роду был крупнейший талмудический авторитет Иехезкель бен-Иехуда Ландау (1713, Опатув, Польша – 1793, Прага), духовный руководитель еврейской общины в Богемии. Дед Арье умер еще в Баку, а его жена Фейга (Ципора), бабушка Вейншала приехала в 1922 г. в Палестину, жила в Хайфе, где и умерла в 1936 г.

Давиду становилось все труднее и труднее от нас отбиваться, и ему мало помогали его хитрые силлогизмы.

Моя мать была на его стороне. Для нее наше увлечение сионизмом была простая забава. Так же она относилась и к сионизму отца, который, должно быть, в глубине души сожалел, что в свое время не присоединился к романтическому порыву билуйцев, к которым относился с большим уважением. Мать, однако, считала, что из всех видов спорта сионистический азарт – самый невинный, и поэтому никогда не мешала ни отцу, ни нам в этой игре в «мыльные пузыри», и мы были для нее не больше, чем еврейские Дон Кихоты. Когда потом мы, детьми, вместе с отцом посетили Палестину, отец встретил своих «билуйцев» в Котре¹². Одна из его подруг детства, уже обратившись в деревенскую бабу, презрительно ворчала на своего опростившегося мужа: «Идеалист. Встает в 4 часа утра доить корову!» Я посмотрел на отца. Его глаза улыбались. Его мысль, вероятно, была: «Ошибка, что я не пришел сюда с ними, не была, оказывается, так велика».

Потом я жил в Баку у тети Нади, которая была учительницей в русско-еврейской школе и которую посещали беднейшие дети еврейской общины – обычно из круга горских и грузинских евреев. Их нужно было здесь не только обучать, но иногда кормить и мыть. Она была предана этому делу всей душой. Она была для них матерью. В социалистическом подполье она познакомилась со своим мужем, но он умер от воспаления легких через несколько месяцев после свадьбы. Сама судьба распорядилась, чтобы она навсегда осталась матерью чужих детей.

Мой отец помогал определять наиболее способных из ее учеников как стипендиатов в средне-учебные заведения. Это была его страсть. Он сам провел тяжелые ученические годы – он учился за свой счет, зарабатывая себе на жизнь уроками. Он не мог равнодушно поэтому относиться к юношам, перед которыми заперта карьера только из-за их бедности.

Это тесное сотрудничество не было секретом в городе. От тети Нади, которая была моя первая воспитательница, мы получили из России одно сообщение. Ее встретил на улице в Москве Андрей Вышинский, грозный прокурор Совнаркома, крепко пожал как старый бакинец ей руку и, узнав, что мой отец в Палестине, попросил передать ему в письме сердечный привет¹³.

¹² По всей видимости, описка, нужно: «в Катре». Катр – одна из первых еврейских колоний в Палестине в районе нынешнего Реховота, ср. в кн.: Л<ев Яковлевич> Ш<тернберг>, По Палестине: Письма с дороги <Одесса, 1910>, с. 40: «В Катре всего 23 семейства, земли 5200 дунамов, на которых сеют хлеб, миндаль, отчасти виноград, апельсины. Живут недурно».

¹³ Андрей Януарьевич Вышинский (1883, Одесса – 1954, Нью-Йорк), советский юрист и дипломат. В 1933–1939 гг. зам. генерального прокурора и генеральный прокурор СССР. С 1940 по 1953 гг. работал в МИД. В статье «Мой отец спас брата Вышинского от смертной казни» (Yedi'ot Aharonot, 1954, 26. 11, субботнее приложение [иврит]) Вейншал раскрывает подоплеку этого «сердечного привет». Семьи Вейншалов и Вышинских были близко знакомы по Баку. Когда брат А. Вышинского Николай выстрелом из пистолета убил девушку-армянку, В. Вейншал, отец мемуариста, выступил как врач свидетелем на суде на стороне защиты. Он отстаивал версию случайного выстрела, на которую якобы указывала траектория пули и характер поражения. Благодаря этому, обвиняемый отделался символическим наказанием.

И потом еще один <случай>. Ко мне в Тель-Авиве постучался грузинский американец, за счет которого в стране один из самых известных археологов производит свои раскопки и обследования Негева¹⁴. Он был такой же американец, как и все <американцы>: довольный собой, довольный нами. Я раскрыл рот, когда он мне сказал, что он был в свое время воспитанником моей тети Нади в ее школе для беспризорных детей из общины горских евреев. Его карьера была результатом ее энергии, которая докатилась до Негева и его набатейской культуры. Если бы она это знала, может быть, это было бы ей не менее приятно, чем рукопожатие Вышинского.

Кстати, насчет горских евреев. На Кавказе у меня был еще один дядя – чистокровный горский еврей. Он женился на сестре моего отца Марии и был инженером на нефтяных промыслах: единственный горский еврей своего времени с высшим образованием¹⁵. Как это ни печально, но в своей статье в Еврейско-Русской Энциклопедии о горских евреях он доказывал, что горские евреи, подобно караимам, хазарского происхождения и потому не должны быть подвергнуты ограничениям, распространяемым на евреев. Об этом не стоило бы упоминать, если бы один раз я случайно не натолкнулся на сына его брата в Иерусалиме. Взяв в Иерусалиме такси, я вдруг обратил внимание на то, что мой шофер нервничает. Когда он меня доставил на место, он назвал меня по фамилии. Меня это удивило. Я его спросил, встречал ли он когда-нибудь меня раньше, знал ли он моего отца или был случайно в Тель-Авиве, месте моего постоянного жительства. На все вопросы он ответил отрицательно. Тель-Авива он не любит, отца не знал, меня видит в первый раз в жизни. Я его спросил, что навело его на мысль о моем имени. Он мне сказал: «Спросил на всякий случай. Нельзя спросить? Я племянник инженера Анисимова». Этот мой дальний кузен, старожил Иерусалима и шофер такси по профессии, должно быть, невнимательно читал статью своего дяди в энциклопедии о хазарском происхождении горских евреев.

Тут, живя у тети Нади, я узнал о смерти в Маштагах моей сестры Цицилии от туберкулезного воспаления мозга. Это был рок ее имени, так она была названа в честь матери моего отца, погибшей от той же болезни. Через два года моя мать родила вторую сестру, имя которой Рая. Смерть стала часто появляться на пороге нашего дома. Скоро умерли чуть ли не в один месяц оба дедушки, но это уже было тогда, когда отец и мать переселились в Баку и я вернулся в круг семьи.

Гимназия с ее величественным наименованием «Александра III» и с ее специфическим запахом, который был неразрывно связан с ее старым, грандиозным, выходящим на четыре улицы зданием, запахом, в котором все смешалось: запах мышей, лизоля из уборных, пирожков из буфета и разлагающегося дерева или кадила из русской церкви. Уже один этот запах наводил свою особую дисциплину на тех 1200 учени-

¹⁴ Возможно, имеется в виду известный израильский археолог Игаэль Ядин.

¹⁵ Речь идет об Илье Шербетовиче (Шеребетовиче, Шарбатовиче) Анисимове (наст. фамилия Нисим-оглы, 1862, село Тарки Дагестанской обл. – ?), нефтяной инженер, этнограф. См. о нем: Еврейская Энциклопедия (Под общ. ред. Л. Каценельсона и Д. Г. Гинзбурга), Спб. Т. 2, стлб. 582-584; Российская Еврейская Энциклопедия, Т. 1, «Эпос», Москва, 1994, с. 52.

ков, которые вливались каждое утро в ее двери, проходя мимо одетого в ливрею величественного сторожа.

Революция 1905 года подложила мину под ее железную дисциплину, под все – даже под кокарду с короной и крестом на синей военной шапке, такие же символы на медной бляхе лакированного пояса, серый суконный солдатский наряд и гладко подстриженные, конечно, без чуба волосы. Это было тогда, когда я был в четвертом классе. Забастовки учеников, которые длились неделями (какое удовольствие!), сходки с речами для любителей, все ученики при оружии. Мы стали лучше разбираться в маузерах и парабеллумах, чем в исторических датах древнего Египта или Рима. У меня самого был тайком похищенный у отца из старого ящика старый «бульдог» и новенький, такой занятный в своей конструкции, смит-вессон.

Гимназия была расположена в армянской части города, и потому состав класса был примерно таков: на 60 учеников – 30 армян, 10 татар, 5 русских, 5 евреев, потом единичные поляки, грузины. Все принадлежали к какой-либо партии: армяне – к революционному и вооруженному с головы до ног «Дашнакцутюну»¹⁶, все остальные, в зависимости от симпатий родителей, – к эсерам, социал-демократам, и почти все русские – к черносотенным антисемитским организациям. Но при таком составе класса они могли только сидеть тихо, опустив нос. Они компенсировали себя тем, что часть из них, как любимчики учителей, считались неизменными первыми учениками, а другие бравировали своим хулиганством, посещением публичных домов и даже венерическими болезнями.

Были и курьезы: один татарин настолько запоздал в своем образовании, оставаясь в каждом классе на два года, что в восьмом уже имел сына в младшем приготовительном.

Были и жертвы гомосексуализма, мальчики, вначале с неестественно красными лицами и неизвестного происхождения большими деньгами, разъезжавшие на фазтонах. И потом вдруг они худели, бледнели и исчезали из гимназии навсегда, зараженные сифилисом.

В эту эпоху взаимоотношения с учителями с трудом поддаются описанию. Как пролог во время большой перемены двери класса плотно закрывались с помощью ножки опрокинутого стула, всунутого в ее ручки. Чернильницы летели и разбивались о стены. На черных от этого пятнах мелом выводили круги мишени для стрельбы. Парты служили окопами, и класс превращался в плацдарм для военной стрельбы в цель на призы. Когда, наконец запоздавшему не по своей вине учителю удавалось проникнуть в класс, то он вежливо просил открыть окна, чтобы очистить комнату от порохового дыма. Те же самые учителя, которые в первые годы нас тиранили своими придирадками, сидели теперь молчаливо, когда под партами раздавалась дробь барабана от спускаемых вхолостую курков дюжины револьверов. Это как бы было предупреждением перейти к следующему уроку и не задерживаться на излишних вопросах об уже пройденном. Ученик, вызванный к доске, чтобы продемонстрировать испуганному учителю имеющийся у него кинжал, привязывал к своей

¹⁶ «Дашнакцутюн» – национальная армянская социал-революционная партия.

ноге веревку и тут же на подиуме у классной доски совершал операцию, перерезая ее одним ударом кинжала.

В восьмом классе при выпускных экзаменах было трагичнее: были насмерть застрелены разочарованными в своей академической карьере учениками один преподаватель и один инспектор гимназии. Особенно тяжелое положение было у учительниц: одна из них была милейшая грузинская княгиня, ее уроки французского языка иллюстрировались учениками на классной доске и на стенах большими символическими рисунками сверхпорнографического содержания. И – чудо: несмотря на все эти мерзости, она, эта Нина Платоновна Микеладзе, своим тактом легко восстанавливала дисциплину. И удавалось ей это очень просто: каждый ученик был уверен, что она тайно влюблена именно в него, и он был ее единственный рыцарь.

О наших низких познаниях нечего было и говорить. Достаточно, если мы за год до окончания не имели представления, как, например, на немецком языке называют запятую. Половина класса писала немецкую диктовку, пользуясь русской кириллицей, как бы предвосхищая этим будущий захват Советами Берлина.

В наше оправдание можно привести то, что мы уже все с десятилетнего возраста были холодными зрителями массовых и зверских убийств на улицах города. Возвращаясь из гимназии, буквально шагали по лужам крови через трупы жертв армяно-татарских столкновений. Люди охотились на людей, как если бы это были дикие звери, – сжигались целые кварталы, со всеми там живущими семьями, на глазах у бездействующей власти. Любопытно, что мы, будучи евреями и нейтральной стороной в этой кровавой распре, в которой армяне, сравнительно культурная нация и как меньшинство, являлись стороной слабейшей, питали к ним не естественную симпатию, а антипатию. Переживая впоследствии еврейско-арабские столкновения, организованные английской властью по тому же рецепту, по которому русская полиция организовывала армяно-татарские взаимные нападения, я понимал психологию англичан. В подобного рода национальных распрях, где слабейшая сторона претендует на полудивилизацию, а другая, сильнейшая, не стыдится своей дикости и примитивности, симпатии зрителя со стороны именно на стороне «дикарей», а не тех, которые, напялив европейский наряд и усвоив дешевые левантийские манеры, кичатся своей добродетелью и благодушием. Как нелепа при этом апелляция к мировой справедливости, на которую мои сограждане в свое время возлагали столько надежд, <тщетно взывая> к «нейтральным» в Палестине христианам с английским паспортом.

Во всех других отношениях я рос и развивался как нормальный юноша моего социального положения. Конечно, коллекционировал почтовые марки, откуда до сих пор мои познания в прикладной географии и даже в некоторых исторических датах. Уже взрослым человеком, попав в полосу душевного кризиса, я вдруг снова начал собирать марки с тем же детским энтузиазмом. Это было бегство в детство, желание начать старт с начала, какой-то примитивный способ самолечения, в силу одного инстинкта, без всякого домашнего лечебного справочника. Кризис прошел, и старые марки мои были мне больше не нужны.

Увлекался, конечно, коллекционированием иллюстрированных открыток, особенно изучением эсперанто. Переписывался долго с какими-то лицами женского пола из Сиднея и Бильбао на этом языке Заменгофа и на основании его адресной книги. Должно быть, мои корреспондентки были в четыре, если не больше, раза старше меня, и мое счастье, что изображение телевидения опоздало более чем на пятьдесят лет.

Изучал еврейский язык, по предложению деда Шауля, с гонораром копейка за букву. Но всего инкассировал 5 копеек, так как дальше «гея» учение почему-то не подвинулось. Рылся в библиотеке отца, открыл там книги Иосифа Флавия, которые на меня не произвели ровно никакого впечатления. Гораздо больше – библии на всех языках мира, даже на армянском и грузинском, по которым мой дед Шауль изучал все языки вплоть до португальского. Логарифмические таблицы и другие книги по математике Каценеленбогена, отца моей бабушки Фани¹⁷, которая претендовала на то, что она из царского рода Валя. Эта царская кровь время от времени волновала мое воображение, пока я не узнал правды: Валь был всего только один день королем Польши, и то благодаря слепому случаю¹⁸.

Книги деда Арье, отца матери, – пять больших томов комментариев к комментариям Маймонида, написанные его прадедом¹⁹, его гордость, – хранились отдельно, и я мог их видеть только тогда, когда дед отправлялся в синагогу читать из них отрывки своим преданным слушателям. Эти два деда, один грузиный Шауль, казенный раввин Тифлиса и, несмотря на свое пристрастие к библиям на всех языках мира, вольнодумец и сухой и молчаливый аскет дед Арье, который соблюдал все, были двумя магнитными полюсами той оси, вокруг которой вертелось мое религиозное сознание. Я чувствовал <себя> на экваторе, в равном расстоянии от них обоих, поэтому религиозное сознание меня уже с детства занимало мало. Его очень скоро заменило не менее страстное национальное сознание, которое по своей ревности ни в чем не уступало сознанию религиозному. Но когда мой отец поехал на сионистский конгресс в Гаагу²⁰ и, взяв с собой мать, оставил нас, детей, в Берлине на несколько недель, то тогда ни для какого интереса к сионизму не было места.

В Берлине тогда мы, дети, ради спорта обошли решительно все музеи города и очень скоро стали большими специалистами по части тех

¹⁷ Прадедом мемуариста был живший в Вильне писатель и математик Авраам бен Симха Каценеленбоген (1793–1873), он открыл минеральные воды в Друскенинске (до 1917 г. Друскеники), где поныне существует знаменитый курорт.

¹⁸ Имеется в виду Шауль бен Иегуда Валь (ок. 1541, Падуя – ок. 1617, Брест-Литовск), купец и общинный руководитель брест-литовских евреев. Учился в Италии, где получил светское образование, впоследствии перебрался в Польшу, совершенствуясь там в талмудической науке. Будучи близок к польскому королю, добился многих льгот для брест-литовской еврейской общины. Фигура Валя сделалась легендарной, существует даже легенда о том, что во время междоусобицы в 1587 г. он был один день королем на польском престоле.

¹⁹ Ицхок-Элиягу Шмулевич Ландау (1801, Вильна – 1876, Вильна), раввин, член религиозного суда в Вильне. Автор многих книг, включая комментарии к комментариям Маймонида.

²⁰ Речь идет о Восьмом сионистском конгрессе, состоявшемся в Гааге в 1907 г.

лавок, которые занимались продажей старых почтовых марок, и, конечно, особым уважением в наших глазах пользовался именно Музей истории почты, так как там мы воочию убедились, что магия марок так же непостижима, как непостижимо количество звезд на небосклоне. Кроме того, летние посещения Рижского взморья, в гостях у дяди Яши, и Урала, в гостях у дяди Леонида, с верховой ездой, кумысом, рыбной ловлей и охотой на диких уток на заре, с ночевкой у костра, в поле, в таборе деревенской молодежи – ничто не будило во мне еврея. Правда, я дрался, или, вернее, меня били в лесах Маойренгофа, у Риги, рослые дети немецких баронов, но они не могли знать ничего о моем происхождении. На Урале меня застал разгар русско-японской войны, и не было никакой другой темы, кроме нее.

Не лучше обстояло дело в Баку. Мои два револьвера часто бывали в теоретическом применении. Как-то раз, совершая невероятный акробатический прием на своем велосипеде, я сломал себе руку. Для лечения мне надо было посещать клинику, расположенную в мусульманской части города. По дороге меня ежедневно преследовал какой-то гомосексуалист и, показывая из-под пальто свой револьвер, требовал от меня, чтобы я следовал за ним. В ответ я, не меняя шага, показывал ему таким же образом свой револьвер, и эта сцена повторялась три недели подряд. Рассказывать об этом дома было стыдно. Обращаться в полицию – смешно в городе, побившем все рекорды гомосексуализма, этой чумы Востока. Другой раз все это могло окончиться более трагически.

В городе подвизался некий тип Алексей, страшилище наших гимназистов и даже самой полиции. Его знали как начальника боевого отряда армянской самообороны и одновременно как профессионального убийцу и неисправимого педераста. Он всегда носил при себе два маузера, и вся его грудь была обвешана кожаными поясами, набитыми патронами. Один раз он подкараулил меня у входа в наш дом и приставил к моей голове револьвер. Было всего шесть часов вечера, но это был срок, когда вступало в силу осадное положение, и улица была безлюдна. Я как раз возвращался после выгодной покупки по дешевой цене патронов для моего револьвера из какой-то разбойничьей берлоги. Теперь я думаю, что вся эта покупка была подстроенная им мне ловушка. Но тогда я не думал много: как кошка, я прыгнул на середину улицы, лег между рельсами конки и, вытянув свой револьвер, крикнул: «Уйди от двери, иначе я стреляю». Дипломатические переговоры продолжались десять мучительных минут. Наконец, на улице появился казачий патруль, и Алексей должен был уступить мне поле сражения. Я вошел в дом, весь потный и бледный. Никто не обратил на это внимания. И я был этому рад, потому что все равно никому бы не мог рассказать всего происшедшего. В эти минуты наши родители казались нам очень наивными: они не подозревали даже о том, что мы часто не расстаемся с оружием, о существовании которого они не догадывались. Гимназия облегченно вздохнула, когда Алексея убил такой же другой «Алексей».

Все это не значит, что мы не имели детства. Я издавал традиционный рукописный журнал в одном экземпляре, единственным покупателем которого был мой добрый дядя Давид. Надоедал тете Наде, чтобы она записывала в моей тетради мои первые «новеллы» – редкую

чушь. Страшно страдали, когда нас, евреев-гимназистов, в дни государственных праздников заставляли часами выстаивать в гимназической церкви и вдыхать в себя вонь нестерпимого масла. Особенно меня обижало отношение учителя пения, который решил, что у меня нет совершенно ни того, ни другого – ни слуха и ни голоса. Я его подозревал в том, что он считает меня как еврея плохим кандидатом в свой церковный хор. Я во время уроков пения должен был сидеть позади других и читать книги. Воспользовавшись его заменой новым учителем, я переменял место, заняв его среди солистов. Но и тут мне не повезло. Новый учитель, предложив мне спеть гамму, твердо решил, что вся моя гамма – все одно и то же «ре». Я должен был покориться судьбе и покоряюсь ей до сих пор. Оказывается, что не все учителя пения – антисемиты.

Верхом нашего самодурства в доме была организация домашнего театра. Все три кровати – моя и моих братьев, служили подмостками, занавесями и декорациями служили простыни, измазанные масляной краской, с фантастическими деревьями – плодом свободного искусства. Обыкновенно шла свободная постановка «Принца Валленштейна»²¹, к большому удовлетворению всех детей нашего дома. Но артистическая карьера оказалась так же недолговечна, как и карьера певца. В «Томе Сойере» я играл в школе роль Гекльберри Финна и, по-видимому, не встретил признания своих талантов. Мой партнер, «Том Сойер», впоследствии стал известным кинорежиссером.

И вдруг, после всех этих обычных и необычных болезней ранней юности, крупный разговор с отцом. Он, вспыльчивый по своей натуре, уже готов был ударить меня по щеке, когда я как-то заявил, что «мировой прогресс автоматически решит еврейский вопрос». Он крикнул, задыхаясь от гнева: «Да, и это ты говоришь после того, как Финляндия, символ терпимости и либерализма нашего времени, именно евреям запретила резку скота согласно кашруту». Эта фраза меня сразила. Я вдруг понял, что отец прав. Что если не иметь своего револьвера, то весь мир, каким бы он ни был хорошим для нас, не больше, чем Алексей. И в этом мы будем виноваты сами, и никто другой. Я вдруг постиг какую-то новую для меня аксиому, она произвела на меня не менее потрясающее действие, чем, если бы я, а не Галилей, открыл простой секрет мироздания. Мой вопрос, наш вопрос, их вопрос – сколько вопросов в то время, как ответ простой: «Только как все, и ни на один волос меньше. И чем это труднее, тем это лучше и прекраснее. Это должно быть сделано, даже если это невозможно. Даже если это означает гибель. Это должно быть сделано, даже если все будут против, даже все евреи. Я это буду делать, если я буду даже один на всем свете». Я переживал какое-то истерическое состояние. Не спал по ночам. Иногда плакал. Это был какой-то психологический кризис, как если бы я переживал свою первую любовь. Моей возлюбленной была идея, я стоял перед ней как бы на коленях и целовал ее туфли. В своем возбуждении я перешел все границы: если

²¹ Трилогия Ф. Шиллера «Валленштейн» (1800): «Лагерь Валленштейна», «Пикколомини», «Смерть Валленштейна». Неточность мемуариста: полководец, герой Тридцатилетней войны герцог Валленштейн, командовавший войсками австрийского императора, не был принцем.

евреи не хотят ни за что иметь Машиаха, то я стану им, вопреки всем и всему, я их заставлю, даже если меня за это побьют камнями. Это состояние продолжалось недолго, всего каких-либо три дня. Но я отчетливо помню это душевное потрясение, как будто моя душа, раскаленная докрасна, вдруг была опущена в холодную воду и закалилась в сталь.

Через три дня я успокоился. Я стал рабом одной идеи, я надел на свои руки тяжелые и больно царапающие наручники сионизма. Я больше не говорил на эту тему с отцом. Мне было стыдно сознаться в том, что я с ним согласен. Согласен? Нет, я не был только согласен, это было нечто большее, что я никогда не смог выразить в словах. Такие вещи выражаются только в деле, но никогда не в словах. И, должно быть, мой отец был очень удивлен, когда постепенно стал замечать, как изменился круг моих интересов и моего времяпрепровождения. Но неверно, что я впервые узнал о сионизме только после «Финляндии». Уже мальчиком восьми лет я бегал в синагогу слушать речи приезжавшего в Баку Белкина²², собиравшего на положении билульца деньги на сиротский дом в Ришоне. Видел в синагоге бело-голубой национальный флаг, слышал пение тогдашних сионистских песен и даже «Гатиквы». Как-то раз попал вместе с родителями на ханукальный бал с апофеозом Хасмонеем, устроенный сионистским кружком «Цион» за два года до смерти Герцля. Но для меня это было все равно, как хождение с дедушкой в синагогу – приятная повинность, не больше, чем зрелище. Я помню распрю из-за Уганды²³, когда тетя Надя водила меня на таинственные заседания, где молодые студенты ломали себе голову «за» и «против», так как открытые заседания были запрещены полицией, всюду видящей еврейскую революцию. Все это входило в одно ухо и выходило из другого. Это все было так далеко от меня, что я решительно не могу вспомнить, какое впечатление произвела на отца страшная весть о смерти Герцля, хотя, должно быть, он взял меня на панихиду о нем в городской синагоге. Этот сионизм, восторженный и сладкий, с пафосом и сиротскими домами, с шекелями и кружками Национального фонда²⁴, был не больше, чем обязательная церемония для торжественных, праздничных дней – любопытная, сентиментальная и часто скучноватая.

То, что я лично пережил через шесть лет, было нечто совсем другое. Сионизм перестал быть модным, интеллигенция, буржуазия и главным образом молодежь повернули к нему грубо спину – как к реакционной

²² Исраэль Белкин (1861, Логойск, Белоруссия – 1929, Берлин), один из основателей БИЛУ (группа еврейской молодежи из России, призывавшая к переселению в Эрец-Исраэль). В 1882 г., вместе с другими членами группы, прибыл в Палестину.

²³ В 1903 г. британское правительство предложило Всемирной Сионистской организации создать еврейское поселение на территории одной из своих колоний в Восточной Африке. «План Уганды» дебатировался на VI сионистском конгрессе в Базеле (1903 г.), VI конгресс (Базель, 1905 г.) полностью отверг его.

²⁴ Шекелевый сбор проводился Еврейским Национальным Фондом на приобретенные земель и обустройство в Палестине. В качестве кружек использовались бело-голубые копилки, которые распространялись среди евреев всего мира. Кроме того, шекель выступал как форма голосования при выборе кандидатов на сионистские конгрессы: определенная группа шекеледателей имела оговоренное количество мест представительства – до VI конгресса (1903) 1 делегат на 100 человек, после него – на 200 человек.

фантазии. О сионистах говорили не иначе как о дураках: «Сын аптекаря и сионист – это одно и то же!», «У отца было три сына: старший умница, средний так и сяк, а младший был сионист!» Сионизм стал горьким, у знамени его в провинции оставалась не больше, чем горсточка упрямых маньяков, что-то вроде сектантской синагоги. Сионизм стал горьким лекарством, хинином против оптимистической революционной лихорадки. После смерти Герцля он был на краю исторического забвения. И все это, и именно это, меня к нему влекло. Какое-то спортивное чувство, процесс оживления мертвого, поединок не в равных условиях – все это варилось и переваривалось в моей душе. Если человеческая история есть не более чем рулетка, я ставлю все, что имею, на этот «квадрат» – сионизм.

Из всех азартных игр игра в историю самая азартная. Это все, что я могу сказать о своих переживаниях этого времени. Ясно, что все это отгородило меня и моих братьев, как непроходимой Китайской стеной, от всего того, что делалось на улице, в гимназии, в стране. Мы стали иммунны ко всему – ко всем пакостям и соблазнам американского города на востоке, к Баку с его миллионерами, шантанами, насилиями, убийствами и сексуальными извращениями. Мы попали в оазис, который нам же предстояло создать, укрепив и расширив его границы. Нам еще повезло: мы жили в Баку, этом Чикаго Кавказа, с интернациональным населением, где десять тысяч евреев чувствовали себя не в гетто, а не иначе, чем итальянские или ирландские выходцы в большом американском городе. Здесь был калейдоскоп народов и языков, и каждый имел свой флаг. И было естественно, что евреи, как и все, совершенно не считаясь с державностью русских, могли и должны были иметь также свой флаг. Мы были не больше, чем армянский «дашнакцутюн» или татарский «истагал». Мальчик за мальчиком, мы присоединились к нашей банде почти всех лучших учеников-евреев всех учебных заведений, как мужских, так и женских. Мы возвращали им их нормальное подданство.

И, конечно, была еще одна причина нашей «изоляции и иммунитета» – влияние отца. Чем больше мы вырастали, тем больше из грозного, вспыльчивого человека он превращался в нашего доброго старшего приятеля. И лучше всего об этом свидетельствует следующий врезавшийся в мою память эпизод.

Как-то поздно ночью он застал нас в наших комнатах за чтением «Монте-Кристо». После криков электричество было потушено и книга конфискована. Но так как мы как раз остановились на самых жгучих страницах, то, несмотря на полную *афела*²⁵ во всей квартире, выждав, пока он уснет, мы принялись за поиски запретной книги, которая мешала нам спать и приводила к опозданию в гимназию. Она могла быть только в кабинете у отца, на его полке с книгами. Но там был свет. Вдруг дверь отворилась, и на пороге стоял отец с книгой в руке. Теперь он сам читал тот же роман «Монте-Кристо» и как раз на том же месте, где мы прервали ее чтение. Тут же был подписан мирный договор. Он нам читает сам еще полчаса, только до конца главы, и потом мы идем спать. Условия были выполнены добросовестно обеими враждующими сторонами. Договор был подписан в час ночи.

²⁵ Афела – темнота (иврит).

Под влиянием отца мы много читали и постепенно прониклись его вкусами, умея отличить плохое от хорошего. Плакали над судьбой дяди Тома, восхищались Томом Сойером, глотали романы Фенимора Купера, Майн Рида, Александра Дюма, Теккерея, Гюго, Диккенса – «Записки Пикквикского клуба» стали нашей настольной книгой. Отец нам рассказывал, что, будучи студентом, он напечатал в «Восходе» рассказ из своих личных переживаний, но я его лично никогда не видал и впоследствии не мог обнаружить в виду отсутствия комплектов²⁶.

Помимо национальных окопов, нас отделяли от бакинского «гангстеризма» еще и проволочные ограждения общечеловеческой культуры. Будучи потом студентом в Мюнхене, я встречал своих коллег-немцев, которые еще не успели познакомиться с похождениями Робинзона Крузо, в то время как я уже был после Золя и даже запретного Мопассана, похищенного со стола бабушки. В Израиле, в «Косите»²⁷, я был поражен тем, что сидящие за моим столиком три молодых писателя не имели ни малейшего представления о символическом значении походов странствующего рыцаря Сервантеса. Когда через несколько дней я по нашему радио целиком выслушал лекцию о Дон Кихоте как демократе, попирающем основы феодально-буржуазного строя, я простил этим молодым людям их круглое невежество. Они не знали того, что я и мои сверстники знали уже в возрасте двенадцати лет.

ПОЕЗДКА В ПАЛЕСТИНУ

Летом 1909 года отец решил посетить Палестину, и с согласия матери взял нас, троих своих сыновей, с собой. Это была моя «бар-мицва», так как другой, традиционной, как мои братья, я не удостоился²⁸. Как жаль, что это нововведение – вместо бар-мицвы ехать с детьми в Палестину – у евреев диаспоры до сих пор не вошло в моду. Моя еврейская гражданственность получила благодаря этой поездке значение ненарушимой присяги стране и ее народу. Поездка отца с его детским багажом – младшему из нас было 14 лет – произвела в то время сильное впечатление, особенно на палестинцев, о ней вспоминали десятки лет. По-видимому, мы, как туристы, представляли из себя уникум.

Дядя Давид устроил нам бесплатный проезд на нефтяном танкере из Батума в Константинополь. Здесь мы получили наши фирманы и красные билеты на въезд в Страну на ограниченный срок. Жили в пансионе, кажется, Рубина и там встретили пару молодых палестинцев, среди них,

²⁶ Имеется в виду рассказ «Человек без предрассудков» о крестившемся еврее, подписанный В. Н. Ш-ль (Восход, 1889, № 7). Следует выправить странную ошибку авторитетного израильского ученого Йехуды Слуцкого, приписавшего этот рассказ не Вейншалу-отцу, а самому мемуаристу (Yehuda Slutsky, Ha-itonut ha-yehudit-rusit ba-mea ha-tscha-esre, Jerusalem, 1970, 176 [иврит]).

²⁷ «Косит» («Рюмка») – кафе в Тель-Авиве на улице Дизенгоф, которое в 30-50-е гг. служило местом общения тель-авивской творческой интеллигенции.

²⁸ В воспоминаниях о своем брате Абраме Я. Вейншал, который ко времени поездки в Палестину давно перешагнул возраст еврейского совершеннолетия, называет его «bar-mitsva tsioni». См.: Y. Weinshal, «Akhi Avraham», Avraham Weinshal: Leket ktavim le-zikhro, Jerusalem, 1977, 161 [иврит].

как мне помнится, Шпринцака²⁹. Особое внимание было уделено отелю Пера Палас, который попал в святые места, потому что в нем когда-то жил сам Герцль, взволнованный предстоящим ему приемом у султана³⁰. Теперь там жил «амбассадор» Якобсон и его жена³¹. В тенистом саду отеля при свете луны мадам Якобсон очаровательным голосом заклинала «любить Палестину такой, какая она есть, несмотря ни на что». Эта формула меня очаровала, как и то, что, обращаясь ко мне, говорила совсем как со взрослым. Ухо наше иногда ловит фразы, которые, как зерна, впадают в душу и дают потом свои ростки. Это была одна из таких фраз.

В Палестину мы выехали на русском пароходе «Адмирал Чихачев». В Суце меня поразил вид сектанта-назорянина: Христос, гордо поднявшийся на палубу нашего парохода. Первая полоса узкой земли на горизонте рано утром заставила биться сердце. «Что будет с поцелуем?» Я никак не мог решить этого вопроса: поцеловать землю этой страны – мне так этого тогда хотелось! – или отказаться от этого «спектакля».

На пароход накинута «восток» – все эти пестрые и громко горлающие арабские лодочники. На меня <это не произвело> никакого впечатления: я из Баку, та же картина бутафорных пиратов. Гораздо большее впечатление: серьезное лицо турецкого чиновника в феске, в гумруке, недоумевающе разглядывающего наши официальные фирманы в ожидании неофициального бакшиша. Отель Каменица на Бустрос – оазис в море грязи и вони восточного базара³². Все, как в Баку. Удивительны только эти стеклянные пробки в газозных бутылках, которые

²⁹ Ицхак Шпринцак (1885, Москва – 1959, Иерусалим), лидер сионистского рабочего движения в Эрец-Исраэль. Первый председатель Кнессета Израиля.

³⁰ Между 1896 и 1902 гг. Теодор Герцль посетил Ближний Восток пять раз. Его поездки были в основном связаны с переговорами об увеличении и легализации еврейской алии в Палестину с турецким султаном Абдул-Хамидом II, прозванным «кровавым». Эти переговоры ни к чему не привели. Герцль останавливался в первоклассном константинопольском отеле Pera Palas на берегу бухты Золотой Рог.

³¹ Виктор (Авигдор) Исаакович Якобсон (1869, Симферополь – 1934, Берн), журналист, политический и общественный деятель. В 1906 г. назначен управляющим бейрутского отделения сионистского Англо-Палестинского банка, с 1908 г. управляющий этим же банком в Стамбуле, позднее выполнял ту же миссию в Салониках (по существу, был представителем Международной сионистской организации на Ближнем Востоке, поэтому Вейншал называет его «амбассадором»). Представитель международного сионистского движения в Лиге Наций.

³² Отель в Яффе, официальное название которого было Palestine Hotel. Располагался на улице Bustros, неподалеку от железнодорожной станции. Содержал отель Бецалель Авраам Каменец (1867, Иерусалим – 1915, Яффа). И отец, и дед Б. А. Каменца вошли в историю еврейского ишсува как основатели и содержатели гостиниц. Рабби Менахем Мендель, приехавший в Палестину в 1833 г., открыл в 1842 г. Гостиница дом в Старом городе, именно в нем в первое время жил Элизер бен-Иегуда, когда в 1881 г. прибыл в Палестину (в 1839 г. в Вильно вышла книга р. Менахема Менделя «Korot ha-itim» [Биография времен], служившая долгое время источником по изучению Иерусалима XIX в.; переиздана в 1975 г.) В 1883 г. Элизер Каменец открыл «Отель Каменца» в Иерусалиме на улице Яффа, 70, просуществовавший до начала первой мировой войны (в нем жили И. А. Бунин и В. Н. Муромцева в пору их посещения Святой Земли весной 1907 г.)

нужно отдавливать вглубь пальцем. После обеда на площади у Беладии, построенной за счет Ротшильда (знали ли об этом штернисты, которые через сорок лет подорвали это здание своими минами?³³), в день нашего приезда праздновалась годовщина турецкой революции. На площади шел митинг: тысячи три арабов. Крики, гам: «свобода». Оратор в большом трансе, он машет руками. Произносит фразы то по-арабски, то на иврите, вызывая всеобщий восторг. Это отец Ирмы Гальперина, который громогласно объявляет о своем решении пожертвовать на дело свободы все, даже свои ботинки³⁴. Мой нос чует, чувствует в воздухе «порох», турецким полицейским не по душе все это панибратство.

Мы идем осматривать место, где будет стоять Тель-Авив. Горка с песком, которую рабочие вымеривают колышками и шпагатом. Нам объясняют: «Здесь будет стоять гимназия имени Герцля...»³⁵. Нас ведут к далеко и одиноко затерявшемуся в песках домику. Он принадлежит Дизенгофу. Здесь собрались гости. Среди них Итамар Бен-Ави, страшно гордый своей газетой «Гацви»³⁶ – развязный, эlegantный красавец. Он проповедует теорию, что с турками теперь надо говорить только на языке дипломатов всего мира – по-французски. Бен-Цион Гутман глубокомысленно молчит³⁷. Мадам Дизенгоф бросает в его сторону неж-

³³ Имеется в виду организация ЛЕХИ. О ее руководителе А. Штерне Вейншал написал роман (см. вступительную заметку).

³⁴ Михаил Гальперин (1860, Вильно – 1919, Цфат). Получил традиционное еврейское воспитание. С юности проникся симпатией к социалистическим идеям. Впервые приехал в Палестину в 1885 г. и пожертвовал значительное состояние, унаследованное от отца, на приобретение земель для поселений Иесод а-Ма'ала и Нес-Циона. Стал заметной фигурой в борьбе рабочих-халуцим, с одной стороны, против турецких властей, с другой – против администрации барона Ротшильда. Это привело к тому, что через несколько лет он был вынужден покинуть страну. В 1898 г. вернулся сюда и вновь несколько раз уезжал и возвращался. Принимал участие в нескольких сионистских конгрессах и занимался пропагандой в диаспоре идей возвращения евреев на прародину. На этих конгрессах неизменно появлялся в красной рубашке, демонстрируя приверженность пролетарскому сионизму «Поалей-Цион». На VI конгрессе выступил против «плана Уганды» (см. прим. 26). В 1906 г. поклялся в одесской синагоге более никогда не покидать Палестины, чего бы это не стоило, и клятву выполнил. По приезде был ночным сторожем в Яффе, затем, после основания в 1909 г. Тель-Авива, сторожем гимназии «Герцлия». Отличался ораторскими способностями, производя своими речами сильное впечатление на аудиторию. Писал пьесы и стихи на идише (ничего не сохранилось). Умер в бедности в цфатской больнице. В его честь назван мошав Гив'ат Михаэль неподалеку от Нес-Ционы и улица в Тель-Авиве. Вейншал был дружен с сыном М. Гальперина Ирмиейгу (1901–1962) и написал о нем роман «Итпа» (см. вступительную заметку).

³⁵ Гимназия «Герцлия» основана в 1906 г. в Яффе, в 1909 г. переведена в Тель-Авив.

³⁶ См. «ИЖ» № 7, раздел «Имена», а также: Двора Омер, Первенец дома Бен-Иехуды, Изд-во «Библиотека-Алия», Иерусалим, 1990.

³⁷ Бен-Цион Гутман (псевд.: С. Бен-Цион; наст. имя: Симха Алтер-Гутман, 1870, Теленешты, Бессарабия – 1932, Тель-Авив), еврейский писатель, отец художника Нахума Гутмана (1898–1980), иллюстрировавшего его книги. В Палестине с 1905 г., куда он переселился из Одессы.

ные взоры³⁸. Я не могу раскусить всего, что здесь происходит, но мне нравятся все эти люди, все эти учителя и все эти чиновники банка, – в душе каждого из них огонь такой же, как и в моей. Они живут в сказке и сказкой. Я не любил ни сказок Андерсена, ни <братьев> Гримм – в них всегда было слишком много волшебников. Тут другое дело: тут люди становились волшебниками. И это я понял, несмотря на мои шестнадцать лет³⁹. Городской голова без города, редактор газеты среди дюн, поэт-писатель, ищущий вдохновения в чашке чая, учителя без учеников, чиновники банков, касса которых пуста, и все довольны, все в трансе. Я решил: я их люблю, они мои.

В тот же день какой-то подросток предложил мне и моим братьям направиться после обеда пешком из Яффы в Ришон ле-Цион. Было часа четыре после обеда, когда мы вышли, и ровно в 12 ночи <вернулись>.

Я до сих пор не могу понять, как отец нам разрешил предпринять эту ночную прогулку. Дорога была турецкая, местами лошади должны были быть ею недовольны. Но для пешеходов она была хороша. Неприятности были не в ней и не во встречаемых автомобилях, которые были только на картинках в иллюстрированных журналах. Опасность была во встреченных бедуинах, которые вырастали, как тени, в своих черных облачениях почти на каждом изгибе дороги. Мальчик, наш чичероне, учил нас: на каждое мархаба отвечать мархаба унус, шалом с половиной⁴⁰, – и это все, что от нас требовалось. Главное – не останав-

³⁸ Цина Хая Дизенгоф (1872, Житомир – 1928, Тель-Авив), жена первого мэра Тель-Авива Меира Дизенгофа. Училась в России и во Франции. В молодости примыкала к кругам, в которых проповедовались социалистические идеи. Встретилась с Дизенгофом в Житомире, где он проходил воинскую службу, и в 1893 г. вышла за него замуж в Египте (М. Дизенгоф, приехав в Палестину, занимался как инженер строительством завода по изготовлению стекла и в связи с этим много времени проводил в Египте). После того, как строительство завода застопорилось, оба вернулись в Одессу. В 1905 г. вновь отправились в Палестину и поселились здесь навсегда. Первое время Ц. Х. Дизенгоф преподавала французский язык в школе для девочек. В годы основания (1909) и строительства Тель-Авива вела большую общественную работу. В ее честь названа площадь в центре Тель-Авива. Отличалась необыкновенной красотой, европейским вкусом и манерами, сохранившимися в памяти современников, см., напр. свидетельство художника Н. Гутмана: «Госпожа Дизенгоф была самой красивой женщиной, которую мне до сих пор доводилось видеть: модно одетая, лицо прикрыто прозрачной вуалью» (Нахум Гутман, Эхуд Бен-Эзер. Меж песками и небесной синью, Издательство «Библиотека-Алия», Иерусалим, 1990, с. 23). Воспользуемся случаем, чтобы привести хранящуюся в архиве Вейншала запись, сделанную им в 1936 г. в связи с реакцией арабов Яффы на смерть М. Дизенгофа: «Пляска арабов на улицах Яффы. Их дикие крики: «Он идет в ад!» Когда он умирал, они водили по улицам слепого верблюда (осла) и, надев на него шляпу, кричали: поклонитесь все Дизенгофу, плевали на животное, щипали его, тыкали гвоздями, мальчишки сыпали на него шишки и сыпали песок...»

³⁹ Если в 1909 г. Вейншалу было 16 лет, значит, он никак не мог родиться в 1891 г. (см. вступительную заметку).

⁴⁰ Арабское приветствие, примерно эквивалентное ивритской форме прибавления не одного, а двух эпитетов к определяемому слову в ответ на благословение, типа: «Voker tov» – «Voker tov u-mevurakh» [Доброе утро – Утро доброе и благословенное].

ливаться и идти вперед. Особенно опасен вопрос – который час? Тогда надо ускорить шаг. Мы были измучены этой прогулкой, она была нашей тайной без тайны. И когда ночью в кровати мой брат Абрам задал мне этот странный вопрос: «У папы есть дети?», то я думал, что эти встречи с бедуинами вызвали в нем нервное потрясение: «Кто же, кроме нас, дети нашего отца?» К счастью, недоразумение тут же выяснилось. Мой брат, оказывается, интересовался не нашим отцом, а только семейными отношениями римского папы.

Я часто думал впоследствии о том, что шесть турецких солдат в Яффе, оказывается, внушали арабам большее почтение, чем все английское войско в Сарефенде⁴¹, и это было причиной безопасности дорог в то время.

Осмотрев Ришон, мы вместе с подъехавшим из Яффы отцом, верхом на четырех осликах, двинулись в Негев тогдашнего времени: Вади Ханин⁴², Реховот, Кастинья⁴³. Нас встречали по-царски. В Палестине уже тогда любили всех приезжих, кто бы они ни были. Но что меня поразило, это то, что они совершенно, впрочем, как и теперь, не стеснялись присутствия чужих. Каждый поносил другого, обвиняя его во всех проступках, вплоть до растраты и присвоения чужой собственности. Все, кроме рассказчика, были круглые невежды, несчастье для страны, и только он один, если бы это было предоставлено ему, радикально исправил бы положение к лучшему. Меня все эти разговоры даже не злили. Я чувствовал в воздухе ревность. Каждый ревновал к каждому. Все были правы и все не правы. Все ссорились и все мирились. Я решил, что так должно быть и иначе быть не может там, где любят страну по-настоящему. Я просто не принимал всерьез все эти распри людей, не признающих ничего авторитета, кроме своего. Я решил, если я буду жить среди них, я, должно быть, стану такой, как они все. Это печально, но это неизбежно. Такова она – ревность.

В Кастинье нас встретил очень радушно учитель Газ, который уже тогда имел репутацию одного из самых преданных своему делу педагогов. Но большее впечатление на меня произвел рабочий Гинис, весельчак и балагур, у которого, должно быть, был рекорд по количеству невест в Палестине, если измерять это по количеству поцелуев, которые он охотно расточал на каждом *горене*⁴⁴ и не менее охотно получал назад от смазливых девиц. Учитель-доброволец пения и танцев у всех горенов Иудеи, Самарии и Галилеи. Но главная его слава была не в этом. Шла о нем <молва>, что однажды ночью, пробравшись в Иерусалиме в мечеть Омара, он заревел в ней неподражаемым по своей искусной передаче рыканием осла. Это вызвало среди арабов Старого города настоящую панику, так как дало повод ко всяким суеверным предпо-

⁴¹ Сарефенд (Црифин).

⁴² Правильнее: Вади-эль-Ханин – еврейская колония, основанная в 1882 г. членом одесской организации Ховевей-Цион Реувеном Лерером. Со временем Вади-эль-Ханин слилась с поселением (ныне городом) Нес-Циона.

⁴³ Кастинья – еврейское поселение, возникшее на землях, приобретенных в 1887 г. бароном Э. Ротшильдом, современное название – Безр-Тувия.

⁴⁴ Гумно (иврит).

ложениям, как, например, чудесному обращению главного кади в тело самого настоящего осла.

Вернувшись в Яффу, мы оттуда по французской железной дороге добрались до Иерусалима, причем поезд только три раза сошел с рельс, что по тем временам считалось нормальной статистикой. В Иерусалиме мы остановились у Амдурского в Старом городе⁴⁵, так как нового города, помимо Яффской улицы и *шхунат* Монтефиоре⁴⁶, практически не существовало. Иерусалим всего-навсего был захудалым турецким городищем. Старый раввин Салант-слепой⁴⁷, благословляющий каждого своими высохшими руками, святой для всех, произвел на меня большее впечатление, чем Стена Плача. Особенно после того, как нам разрешили посетить мечеть Омара и пощупать собственными руками Евен Гашатиах⁴⁸. Мне казалось, что от него еще идет запах протухлой крови от тех жертв, которые на нем приносились в нашем Храме. Не могу забыть и той мраморной колоннады, которая под землей у южной стороны Храмового дворца и которая носит это нелепое название конюшен Соломона⁴⁹. Верные ос-

⁴⁵ Имеется в виду отель Амдурского (официальное название: отель «Центральный»). Рабби Йосеф Амдурский (Могилев) (? , Амдур Могилевской губ. – 1895, Иерусалим) приехал в Палестину в 40-е гг. XIX века и в начале 90-х гг. открыл в Иерусалиме (у Яффских ворот, напротив Башни Давида) Гостевой дом для еврейских паломников. В нем предоставляли ночлег и кормили бесплатными обедами. После смерти р. Й. Амдурского дело отца продолжил его сын, Ирахмиэль Амдурский, который в 1903 г. переоборудовал здание под отель «Центральный», просуществовавший на этом месте до 1927 г. (именно его описал И. Бунин в рассказе «Весна в Иудее»). В 1927 г. отель перебрался на улицу Юлиана (ныне улица Давид а-Мелех), где находился до 1930 г., и затем вновь переехал в другое здание – на углу улиц Бен-Иехуды и Мордехая бен-Гилеля, которое пострадало в результате взрыва, произошедшего в 1948 г. на улице Бен-Иехуда, – это положило конец почти полувековой истории «отеля Амдурского» (сведения приведены по кн.: Shavtei Zakhariia, Batei malon ve-malon'im vatikim be-Jerushalaim, Jerusalem, 1985, 8-9 [иврит]).

⁴⁶ Сэр Мозес (Моше) Монтефиоре (1784, Ливорно, Италия – 1885, Рамсгит, Англия), британский финансист и общественный деятель. Многократно посещал Иерусалим и жертвовал солидные средства на улучшение жизни в нем еврейской общины. Так, на его деньги был построено первое жилое здание за пределами Старого города – Мишкенот-Шаананим (1860) и началось строительство примыкающего к нему квартала Иемин-Моше.

⁴⁷ Шмуэль Салант (1816, Белосток – 1909, Иерусалим). Приехал в Палестину в 1840 г. По дороге в Стамбуле познакомился с М. Монтефиоре, с тех пор между ними завязалась дружба. В Палестине в короткое время стал одной из самых заметных фигур и долгие годы был раввином ашкеназской общины.

⁴⁸ Эвен-а-Шатиах, или Эвен-штия – «камень основы», «краеугольный камень мира». Скала в центре Храмовой горы (горы Мория), на которой, по преданию, совершалось жертвоприношение Ицхака. Над скалой был построен Иерусалимский Храм. По мусульманскому поверью, пророк Мухаммад вознесся на небо, оттолкнувшись от этой скалы, поэтому эвен-штия почитается как священный в исламе. Над этим камнем, на месте разрушенного Второго храма халиф Абд ал-Малик построил мечеть Kubbat as-Sahra [Купол над скалой] (завершена в 691 г.), именуемую мечетью Омара.

⁴⁹ Во время крестовых походов, крестоносцы, державшие здесь своих коней, называли эти строения «Stabula Solomonis» [Конюшни Соломона].

татки колоннады Храма Ирода, на котором сотни пилигримов уже тогда выцарапали свои имена, даже по-русски. И потом визит на башню русской церкви, с которой виден весь Иерусалим⁵⁰. Причем русская монахиня, поздно спохватившись, что мы евреи, шептала нам на наши головы всех чертей, «на антихристов этих».

Если что-либо меня потрясло в Иерусалиме до глубины души, так это было ночное посещение гробницы Рахили. Идея принадлежала проф. Шацу, тогдашнему сионистскому полно авторитетному «амбасадору»⁵¹.

По данному им знаку как из-под земли выросло около дюжины рослых ослов белого цвета с их арабскими погонщиками, вооруженными большими жердями. Через несколько минут кавалькада двинулась в путь. Это было в конце июля, и свет луны в это время над Иерусалимом фантастически зеленого цвета, и весь город и вся его окрестность представлялась мне картиной из сказок тысячи и одной ночи. Ослы бросились рысью по Вифлеемской дороге, подгоняемые ударами погонщиков, которые умудрялись как-то от них не отставать. На седлах не без тревоги тряслись несколько случайных туристов – дамы и люди науки, которые почему-то скрывали свое, несомненно, еврейское, происхождение. Профессор Шац, низкого роста, почти круглый, в больших, даже ночью блестящих очках, в белом бурнусе и с неизменной английской колониальной шляпой на голове, соскочил с осла и первый остановился у железной двери гробницы Рахили. Когда все собрались, он стал давать объяснения. Вдруг голос его сорвался, он стал громко стучать кулаками в дверь и вдруг воскликнул: «Мать Рахель! Мать Рахель! Слушай! К тебе вернулись снова обратно твои дети!» Я был потрясен. Я не знаю, что чувствовали при этом люди науки и их дамы. Мне казалось, что на этот его зов из гробницы должен был раздасться вздох: «Как долго я вас, однако, ждала...»

Как можно было после этого не любить Шаца, его мастерскую художественных ковров, его скульптурного отделения Бецалеля, его учеников живописи, его камей, его зоологического сада, в котором, помимо гиены, был всего-навсего только галилейский волк⁵². Дом Бецалеля, напоминаю-

⁵⁰ Церковь Вознесения на Елеонской (Масличной) горе; ср. у В. Дорошевича, посетившего Палестину на несколько лет раньше: «Я поднимаюсь на колокольню церкви Вознесения, и вот она вся передо мной, эта Святая земля, привлекающая к себе сердца и мысли всего мира» (В. Дорошевич. В земле обетованной. Типография Товарищества И. Д. Сытина, Москва, 1900, с. 231).

⁵¹ О Борисе Шаце см. «ИЖ» № 5 (раздел «Имена» и примечание 23 на стр. 160).

⁵² О знаменитом музее при «Бецалеле» писали многие, ср., к примеру, в очерке современника, побывавшего в Палестине несколько позднее Вейншалов: «Мы покинули мастерские и перешли в музей – первый музей в Палестине. Музей небогатый и по необходимости смешанный. Стараниями натуралиста Аарони и некоторых учеников Бецалеля, он обладает хорошей коллекцией чучел и препаратов из флоры и фауны Палестины. Есть среди коллекции даже небольшой крокодил из палестинской реки и двухголовый урод-теленки из Дамаска. Есть кой-какие ископаемые из доисторической Палестины; есть коллекция оружия, домашних принадлежностей и ханукальных лампад, относящихся к прошлым векам; есть, наконец, и коллекция монет» (М. Кац. «Что такое «Бецальель» (Из иерусалимских впечатлений)», Новый Восход, 1911, № 3, стлб. 31-32).

щий по своей архитектуре бинокль, был «Сохнут и Кирия» своего времени – не Стена Плача, а стена улыбки. Впоследствии Агадати мне рассказывал, что подростком профессор Шац заставлял его ночью при луне танцевать совершенно голым на заборе старого еврейского кладбища⁵³ – балет в духе Саббатая Цви⁵⁴, мистика оживающего к новой жизни заброшенного кладбища. Шац был художником – в этом слове очень много.

Из Иерусалима мы на шестиместном дилижансе снова спустились в Яффу, так как железная дорога побила все рекорды своей статистики непредвиденных крушений. Мне улыбнулось счастье, рядом со мной заняла место барышня моего возраста, с которой в отеле Амдурского я успел обменяться парой взоров, которые должны были выражать полное равнодушие, но, должно быть, помимо моей воли, как это случается и с другими, выражали изумление и преклонение. Может быть, поэтому Баб эль-Вад⁵⁵, в котором мы обедали, несмотря на свои два тогда тощих дерева, показался мне Райским Уголком.

В том же порядке мы двинулись из Яффы на север до Хайфы. Дорога до Хайфы на лошадах – полтора дня пути. Этого срока было вполне достаточно для того, чтобы преодолеть застенчивость и перейти с моей прекрасной соседкой даже на «личные темы». Все было бы хорошо, если бы не неожиданная катастрофа. В эвкалиптовом лесу Хедеры, зацепившись за дерево, я порвал себе свои штаны – не просто, а прямо почти на две равные половины. «Личные темы» отпали сами собой, я все свое внимание должен был посвятить тому, чтобы скрыть весь позор своего облачения. В Зихроне я переменял костюм, и мне стало легче; моя соседка оказалась подругой двух сестер Аронсон, также и Сарры. Мы весь вечер провели на горене, забрасывая друг друга свежим сеном. Это было так далеко от «политики», но расстояние до «любви» от этого не стало меньшим. Я надеюсь, что моя сдержанность была принята тремя прелестными подругами этой игры на зихроновском горене только за глупость и не за что более оскорбительное.

Хайфа представляла из себя жалкое зрелище полугорода-полудеревни. Единственный приличный дом – немецкий отель в два этажа в немецкой колонии⁵⁶. Прекрасное белое вино – доказательство того, что не все

⁵³ Барух Агадати (наст. фам. Каушанский; 1895, Бендеры – 1976, Тель-Авив), израильский танцор, балетмейстер, художник, кинорежиссер. Учился в «Бецалеле», когда в первый раз приехал в Палестину в 1910 г. Вторично приехал сюда, уже навсегда, в 1919 г. См. очерк Вейншала «Агадати» в парижском еженедельнике «Рассвет» (1926, № 34, 22 августа, с. 7-8). Упоминаемые Вейншалом, со слов Агадати, ночные танцы были не столько экзотической прихотью Шаца, сколько проявлением его творческого интереса к физике человеческого тела, которое он изучал как живописец и скульптор, ср. в рассказе цитировавшегося в предыдущем примечании М. Каца о том, что ученики «Бецалея» «высекают из камня и лепят из глины каких-то человечков. И говорили даже, что позируют им для этого голые мужчины и женщины...» (М. Кац, *Op. cit.*, стлб. 29).

⁵⁴ О Шабтае Цви см. «ИЖ» № 4 (2000), раздел «Имена».

⁵⁵ Баб эль-Вад (от Bab el-Vady – «Ворота Долины») – поселение на границе между Шфелой и Иудейскими горами на пути из Иерусалима в Яффу, отмечаемое в путеводителях начала XX века как место остановки и отдыха (см.: Guide to Palestine and Egypt, *Op. cit.*, p. 12 или Guide to Palestine and Syria, *Op. cit.*, p. 9).

⁵⁶ Имеется в виду Hotel Carmel в немецкой колонии.

вина страны должны быть обязательно мерзкого качества. На лошадях – в Назарет, так как повозка на такой дороге рискует остаться без колес. Ночевка в Назарете в монастыре «Каза Нова»⁵⁷, от города никакого впечатления. Зато сильное от Мерхавии⁵⁸ и Седжеры⁵⁹.

В Мерхавии – знакомство с *шомрим*, некоторые из них горцы с нашего Кавказа, для которых лошадь и ружье заменяют все прелести жизни. Сильное впечатление от девушки из Киева, сестры студента, покушавшегося на жизнь антисемита Крушевана⁶⁰. Она с ружьем за плечами и на лошади сопровождает нас до Седжеры. Здесь чудо: русские *геры*. Мой отец спрашивает их, что говорят им портреты на стене. Один из них русским басом поясняет: «Это барон, он за нас старался, так мы его и чтим, а это Херцель, он за всех явреев старался...» Такая же потешная беседа с герами в Мемме. Мой отец спрашивает некоего Дубровина, что влекло его в Палестину? Он объясняет коротко: «Яврейская земля должна быть, понятно, в яврейских руках...» Это звучит для меня комично, там, в России, другой Дубровин, не крестьянин, как этот, а доктор, занят устройством еврейских погромов. Два Дубровина!⁶¹

Потом Киннерет. Вначале ферма с агрономом, который устроил себе кровать на обеденном столе, первый год в новой колонии. И, наконец, Тиверия. Озеро мне кажется самым красивым местом на земном шаре. Красивее Босфора. Ночью – небольшое разочарование. Но кто-то мне объясняет в утешение: «Это оттого, что в Тиверии, по преданию, нашла себе резиденцию царица блох...» Она, оказывается, очень требовательна.

Потом Мигдаль – первый год. Много надежд. Колония москвичей с севера в тропической ложбине ниже уровня моря⁶².

Потом красотка Рош-Пина. И тут серьезное осложнение. У моего брата Абрама внезапно подымается температура на сорок. Мой отец вне себя. Как раз из окна отеля, на склоне горы, несколько стройных кипарисов – это кладбище колонии. Я читаю в его глазах – он боится оставить моего брата под этими кипарисами. Желтая лихорадка – это

⁵⁷ Casa Nova – Гостинный дом, расположенный напротив церкви Благовещения.

⁵⁸ Мерхавия – кибуц у подножия горы Гив'ат а-Море (неподалеку от Афулы), основанный в 1909 г., незадолго до его посещения Вейншалами.

⁵⁹ Седжера (официальное ивритское название Илания) – мошав в Нижней Галилее, основанный Еврейским колонизационным обществом в 1899 (1902?) г.

⁶⁰ 4 июня 1903 г. студент-сионист Пинхус Дашевский (1879–1930-е гг.) совершил покушение на одного из идеологов русского антисемитизма и прямого виновника первого Кишиневского погрома в 1903 г. Паволакия Крушевана (1860–1909). Царский суд приговорил Дашевского к тюремному заключению; освобожден в 1917 г.; репрессирован в 1933 г. по обвинению в сионистской деятельности.

⁶¹ Первый – Йоав Дубровин (1831–1935), защиточный русский крестьянин, принявший иудаизм. До переселения со всем своим семейством в Палестину (1903?–1906?) жил в Царицыне. Второй – Александр Иванович Дубровин (1855–1922), врач, создатель и лидер «Союза русского народа»; расстрелян ОГПУ.

⁶² Мигдаль – сельскохозяйственное поселение в южной части долины Гинносар, неподалеку от Тверии. Вейншалы посетили его действительно в первые месяцы существования: незадолго до их приезда эти земли были куплены у членов немецкого католического ордена, которые бежали отсюда из-за лихорадки.

не шутка. К нам приходит на помощь доктор колонии Малкин⁶³ и агроном Кальварийский⁶⁴. Брат поправляется, но мы тут задерживаемся. Кальварийский – милейший человек, его сад – под древними колоннами и произведениями скульптуры, все – археологические находки. Две дочери: Хермона и Ярдена. Я в первый раз слышу такие имена – они мне нравятся. Кальварийский любит рассказывать и показывать. Он последний здесь администратор опозорившей себя ротшильдовской администрации, он белый ворон среди стаи черных.

Мы снова на лошадях, но так как брат был болен, а другой еще молод, им дают ослов. Трудный переход через Ярден у Хулле⁶⁵, мне смешно: ноги моих братьев в святой воде. Цфат. Мы измучены поездкой. Город кажется сказкой, но это не город, это кладбище и развалины с евреями-призраками. Снова верхом, на этот раз на мулах, так как поход в Сидон⁶⁶ на лошадях по тропинкам скал опасен. Они срываются, мулы – никогда. Они больно трут твою ногу о скалу, но зато никогда не падают в пропасть вместе со своим седоком.

Литания – дивная долина⁶⁷. В Сидоне сюрприз: автомобильная связь с Бейрутом. Приличная дорога. Арабский отель, в котором я в первый раз пробую маслины. Мне от них тошнит, я думал, что они имеют вкус слив. Я иду на берег и разочарован: нет финикийской гавани в Бейруте, снова «Адмирал Чихачев».

Там натываемся на группу сионистской молодежи из Варшавы. Качка. Рвота. Опять рвота: «Проклятая селедка!» Но она ни в чем не виновата. Просто рвота от качки. И вдруг у барьера, за столь неэстетическим

⁶³ Шабтай Малкин (1867 – 1924), врач. Родился в семье членов Ховевей Цион. Учился медицине сначала в Харьковском, затем в Бернском университете. В 1895 г. приехал в Палестину и работал как врач в Хедере (вместе в Хилелем Яффе). Имея дело с больными малярией, сам заразился этой болезнью и был вынужден вернуться в Россию. Во время русско-японской войны был мобилизован в армию и как военный врач попал на Дальний Восток. По окончании войны вернулся в Палестину и жил в Рош-Пине. Во время Первой мировой войны служил главным врачом назаретского лазарета.

⁶⁴ Хаим Маргалит Кальварийский (1868, Сивалк, Польша – 1947, Иерусалим). Учился в университете в Монпелье (Montpellier) во Франции. В Палестину приехал в 1895 г. Один из основателей еврейских поселений: Седжера, Кфар Тавор, Бейт-Ган и др. Занимался закупкой земель под будущие кибуцы. В 1923–1927 гг. возглавлял арабский отдел Палестинского бюро Международной сионистской организации. Один из инициаторов создания общества Брит-Шалом (1925 – сер. 30-х гг.), проповедовавшего идеи дружественных отношений евреев и арабов.

⁶⁵ Местность в Галилее, часть иорданской долины. Много тысячелетий назад затвердевшие и превратившиеся в базальтовые скалы вулканические извержения закупорили здесь движение ручьев, стекавших с Ливанских гор в Иордан, воды скопились в большой впадине (около 14 кв. км) и образовали озеро. Озеро, переливаясь через края, пробило брешь в природной каменной плотине и постепенно исчезло (считается, что этот процесс повторился дважды), оставив топкие болота – рассадники малярии. Их осушение началось намного позже путешествия Вейншалов, уже после образования государства Израиль, в 50-е годы. Ныне ничто не напоминает о том, что в этих краях когда-то были смертоносные болота.

⁶⁶ Сидон – приморский город на юге Ливана.

⁶⁷ Долина реки Литани в Ливане.

занятием, как рвота, неожиданная встреча. Среди варшавских гимназистов – издатель социалистического гимназического листка, который посылался и в Баку по адресу моего брата и который чуть ли не привел к большой катастрофе: нашему исключению из гимназии. По следам этого журнала к нам на квартиру нагрянула жандармерия в поисках опасных революционеров. К счастью, все сионистические кружки и их адреса, с которыми мы были связаны и которые тоже были нелегальны, остались для жандармерии *табула раза*. Их больше интересовали найденные у нас брошюры: Карл Маркс, Энгельс, Кропоткин, Каутский... На одной полке пытливый глаз пристава заметил брошюру Членова «Сион и Африка»⁶⁸. Он укоризненно покачал головой: «Сион... Сион... ну смесь у вас, смесь всего земного с небесным... Сион...» После этого «Сиона и Африки», брошюры Членова против Уганды, он решил прекратить обыск, считая его безрезультатным. Нас не исключили из гимназии, и полиция не напала на след наших сионистических кружков. Но волнения было много. И тут в Бейруте, на пароходе, неосторожный редактор того же социалистического листка. И он у того же барьера. И он тоже произносит это: «Проклятая селедка!»

В Палестине мы научились нескольким фразам на еврейском языке. По дороге домой, в поезде железной дороги, мы пугали наших соседей таинственными изречениями на непонятном для них языке. Нас это забавляло. Мы переменили как бы подданство. Перемена подданства – это большой шаг. Мы еще больше стали чужими России, чем мы были в ней раньше. Эта поездка действительно была нашей Бар-Мицвой. Как мы должны быть признательны за нее нашему отцу.

* * *

По возвращении из Палестины мы принялись за кипучую деятельность. Из Турции мы, сами того не замечая, привезли с собой и новый метод работы. Младотурки, их масоно-бескровная революция была нашим идеалом⁶⁹. Там, где трудно действовать открыто, там нужно действовать тайно. Мы основали организацию молодежи под названием «Молодая Иудея», читай: «Младоиудея». Это не был обычный кружок, это была ложа заговорщиков, тайный орден, генеральный штаб несуществующей армии, брен-трест⁷⁰, тайно руководящий всем тем, что не в состоянии двигаться по собственной инерции. В результате двухлетней работы в тайном штабе сидели до 25 человек мальчиков и юношей, в котором

⁶⁸ Иехиэль (Ефим Владимирович) Членов (1863, Кременчуг Полт. губ. – 1918, Лондон), деятель сионистского движения. Полное название его брошюры, о которой идет речь, – «Сион и Африка на VI конгрессе» (Москва, 1905); в ней идет речь об «угандийском плане», вызвавшем острые дискуссии на Шестом Всемирном сионистском конгрессе (см. прим. 26). См. некролог И. Членова, написанный Я. Вейншалом: «Вожди и эпоха (Памяти Е. В. Членова)», Еврейский студент (Петроград), 1918, № 31-32, 25 февраля, стлб. 5-8.

⁶⁹ Революция 1908 г., в ходе которой был низложен турецкий султан Абдул-Хамид II и провозглашена конституционная монархия.

⁷⁰ От Brain-Trust – «мозговой трест», группа экспертов (нем.).

они представляли семь для внешнего глаза совершенно независимых и даже враждующих друг с другом сионистских и полусионистских переходных организаций. Сами мы были подразделены на министерства, которые носили самые фантастические названия – финансов, иностранных дел, печати, народного просвещения. За всей их деятельностью наблюдал специальный «прокурорский надзор», который имел право на общих тайных встречах этого ордена предлагать самые суровые меры наказания за всякие упущения или небрежность, так как о нарушении дисциплины не могло быть и речи. Наказания <шли> по возрастающей степени: лишение права голоса, лишение права присутствия на встречах, <лишение> права на работу. Результаты были блестящие: мы связали невидимыми организационными узами сотни самых разнообразных людей различного умственного и социального уровня, сдерживали болезненные амбиции, поощряли неофитов, боролись с рутинной, повсюду внося дух заранее подготовленных драматизированных неожиданностей. Количество устраиваемых нами агитационных выступлений, всегда в ногу с событиями, превышало семь в неделю. Мы издавали на пишущей машинке три журнала. В одном мы оповещали всю нашу сеть о том, что происходит в сионизме и Палестине, переводили хронику с еврейского, английского, французского, немецкого, получая почти все выходящие тогда сионистские журналы: «Ди Вельт», «Л'орор» из Константинополя, «Джуиш Хроникель» и «Гапозль Гацаир». Наша информация опережала официальный петроградский «Рассвет» иногда на две, часто на три недели. «Рассвет» мы тоже распространяли в умопомрачительном количестве – Баку был на втором месте после Варшавы с ее многотысячным еврейским населением.

Один наш журнал обращался к ассимилированной молодежи, среди которой можно было встретить и таких, отцы которых приняли уже христианство. Он носил смешное название «Пель-Мельская Газета», в подражание Диккенсу⁷¹, и нашим преданным агентом в этих кругах была дочь миллионеров Гальперин<ых>, сама крещенная в детстве. Когда она потом появилась в Петрограде в Центральном Комитете <Центральный комитет сионистов>, ее приняли с распростертыми объятьями и страшно ее ценили. В этих кругах мы говорили о Гамсуне и заканчивали Бяликом.

Но самая большая наша гордость был толстый ежемесячник «Яман» – только для избранных, для которых мы пытались изложить новую теорию сионизма. Эту теорию для краткости можно было назвать «экономический Ахадагаамизм»⁷². Вокруг колонизируемой Палестины и в круг ее экономических достижений должны быть органически включены экономические резервы и засушные интересы еврейской диаспоры. Не духовный центр, а центр экономической мощи как переходный этап к достижению политической независимости. Эта идея нас страшно увлекла, и идея *тоцетет гаарец*⁷³ означала для нас гораздо больше, чем

⁷¹ Ошибка мем. ариста: «Pall Mall Gazette» – образ из романа У. Теккерея «История Пенденнис» (1849).

⁷² Производное от имени Ахада а-Ама. См. раздел «Имена».

⁷³ Производство Эрец-Исраэль (иврит).

только патриотический жест. Мы ссылались и искали аналогий с положением греческой и армянской диаспоры. Мы только один раз нарушили тайну этой новой теории гимназических мозгов, когда показали и даже подарили один комплект приехавшему в Баку Израилю Розову⁷⁴, который очаровал нас своей личностью; я и теперь не стыжусь этой теории, в особенности, когда это поколение умудрилось сделать полное тур де тет⁷⁵ и превратить Палестину в самое слабое место экономической структуры в еврейском рассеянии. Вместо того, чтобы быть экономически притягательной силой, мы – экономически отрицательная, и упорно колонизируем диаспору нашей талантливой молодежью.

Но тогда, в Баку, мы были неисправимыми оптимистами, и бедный Израиль Розов имел с нами жестокую схватку из-за интриг русских сионистов против президента Вольфсона⁷⁶. Мы считали себя «вольфсо-нистами» и боялись больше всего тех, для которых хозяйство было не основа жизни, а только маленький мостик к шаткой власти, героев на день. Мы не саботировали действий городского комитета <сионистов>, уснащенного почтенными старцами, напротив, мы принимали самое горячее участие во всех выступлениях. Особенно в морских поездках сотен людей на большой нефтяной барже в открытое море или на острова, где, кроме змей, никто не мог донести на сионистов о том, что они устраивают митинги под открытым небом. На одном таком митинге я, 16-ти лет, произнес свою первую публичную речь. Она состояла из шести зазубренных общих фраз, из которых четвертую я забыл, и, несмотря на это, речь сошла благополучно. С тех пор я никогда не готовлюсь к своим речам, из страха забыть, как тогда, «четвертую фразу».

Но и здесь у нас была своя тайна: никто из членов городского комитета, многие из которых стали потом официальными лидерами, членами АЦ и пр., не подозревал, что один из их «стариков», сорокалетний лысый холостяк, тайно, на правах члена нашего ордена, еженедельно сдает нам отчет о своей деятельности, как наш комиссар, и получает от нас самые точные инструкции на всю ближайшую неделю. О, этого Рабиновича мы так любили, так политически эксплуатировали!

Один кружок носил характер рабочего с резко социальной окраской. Здесь мы всегда должны были бояться полиции. Заседания устраивались при синагоге. Наша задача, помимо прочих, состояла в ночном патрулировании окрестности на случай внезапного налета. Они <рабочие> были лучше дисциплинированы, чем все прочие, и отношения были с ними самые сердечные. Но иногда нам самим становилось жутко от применяемых нами мер наказания. После перевода во вторую степень, т. е. лишения права посещения заседаний ордена, мы вытащили чуть не из моря одного нашего товарища, который после сурового приговора решил покончить свою жизнь самоубийством. В противовес этой истории, которая чуть не кончилась трагически, было и много ко-

⁷⁴ Об И. А. Розове см. у Ю. Левинга в статьях «Набоков, который рядом» («ИЖ» № 2 1999, сс. 142 – 150) и «Владимир Жаботинский и Израиль Розов»), («Солнечное сплетение», № 14 – 15, 2000, сс. 245 – 251).

⁷⁵ От *tour de tête*, дословно: «развернуться на 180 градусов» (франц.).

⁷⁶ О Давиде Вольфсоне см. раздел «Имена».

мизма. Так, нами был учрежден специальный банк, все доходы которого идут в пользу Национального фонда. Главные доходы были от нашей же стрижки волос наших же товарищей. Это был первый сионистический кооператив в мире. Когда я уехал (а я, конечно, занимал пост главного инквизитора, т. е. был генеральным прокурором), руководство перешло к моему брату Абраму, который был на год младше меня, и потом к брату Элиезеру.

Но, увлекаясь тогда нашим рыцарским орденом «Молодая Иудея», мы не могли себе представить, что ей косвенно все же придется и в дальнейшем наложить свою печать на предстоящее развитие в сионизме. Без «Молодой Иудеи» в Баку не было бы «Гехавера»⁷⁷ в Западной Европе или он был бы совсем другим; без «Гехавера», такого, каким он стал, не было бы «Гацоара»⁷⁸ таким, каким он был создан, – он был бы другим и, возможно, <возник> с большим опозданием. Если бы не было «Гацоара», то Бен-Цви, должно быть, до сих пор еще председательствовал в Ваад Галеуми⁷⁹. Странная лестница личных иллюзий, которые могут быть так же обманчивы, как и достоверны.

С изучением еврейского языка подвигалось у меня туго. Конечно, всю вину беру я на себя одного, но много в этом отношении мне способствовал и выбор того учителя, который был предоставлен в мое распоряжение. Скептик и циник, он наводил на меня смертную тоску, так как я чувствовал, что и для него эта задача не по вкусу. Социалист-территориалист, он всеми фибрами души ненавидел Палестину. Теперь трудно даже в запущенных джунглях еврейской диаспоры встретить этого зверя, но тогда климатические условия еврейского общества сильно способствовали размножению этой безголовой и бесхвостой породы – «иудеус социал-территориалист»⁸⁰. Они принимали сионизм, но без Палестины, социализм – но вне той страны, в которой проживали. Они сами себя считали цветом еврейской интеллигенции и, к несчастью, из их среды вышло немало журналистов, довольно бойких и даже талантливых, но с перевернутыми вниз мозгами.

⁷⁷ «Гехавер» (наряду с написанием «Гехавер» были приняты также написания «Геховер», «Хе-Хавер»; у Вейншала встречаются первые две транслитерации; мы повсюду используем единообразную – «Гехавер»), студенческая сионистская организация, образованная молодежью из России, обучающейся в западных университетах. Одним из главных направлений ее деятельности была борьба против идеологии еврейской ассимиляции, а также пропаганда иврита и иудаизма.

⁷⁸ «Гацоар» – сокращенное название организации сионистов-ревизионистов.

⁷⁹ Об Ицхаке Бен Цви см. раздел «Имена».

⁸⁰ Еврейская территориальная организация (отсюда название приверженцев ее идеологии – территориалисты) возникла после Седьмого Сионистского конгресса (1905 г.) и просуществовала до 1925 г. Основателем и лидером ЕТО был еврейский писатель и общественный деятель Исраэль Зангвилл (1864, Лондон – 1926, Мидлхерст, Англия). Преследовала цель создания еврейского государства в любой части света, куда могла бы устремиться еврейская масса, исключала из своей программы сионистские лозунги и находилась в оппозиции к сионистскому движению.

Мой учитель был один из таких. Все уроки он проводил в бесконечных дискуссиях, соблазняя меня своим фантомом. С большим трудом мы доплелись в изучении *ситурей гамикра*⁸¹ до взятия Иерихона, и, когда он меня посвятил в тайное значение слова *зона*⁸² и сказал это по-русски грубо, я наотрез отказался дальше терять понапрасну свое время.

Одним из первых, кого я встретил на хайфской набережной, сойдя с парохода после моей одиссеи в советской России, был именно он, мой бывший учитель еврейского языка. Он заговорил со мной по-еврейски, но когда оказалось, что в моем лексиконе нет ничего лучшего, кроме *тода и бевакаша*, он спросил меня с изумлением: «Как, до сих пор ты не знаешь иврита?» Улыбаясь, я ему сказал: «Эту вину мы с вами делим пополам...»

Мы были все так наэлектризованы, что в наших подругах по работе мы ничего больше не видели, как только «политических медиумов в юбках». Один раз я наметил себе новую жертву для нашей аскетической секты – очень интеллигентную, стройную, но не совсем красивую гимназистку А. Я стал часто провожать ее домой и вести с ней отвлеченные беседы, осторожно соскальзывая с литературных тем на политические. Но тут нашла коса на камень. Я себе неудачно выбрал жертву. Моя новая подруга оказалась самой фанатичной поклонницей Второго интернационала. И искупительную жертву для предстоящего в близком будущем первого поцелуя должен был принести именно я, усвоив ее революционное мировоззрение. Мы разошлись как враги: каждый верил, что только он держит в своих руках ключ к ларцу с исторической правдой. Я потом часто вспоминал об этой А. Любопытно, что мы оба оказались правы. Она получила свою русскую революцию, я – свое еврейское государство. Две «химеры» детских лет сбылись, и почти одновременно. Не сбылся только он, поцелуй, и только потому, что мы были оба ревнивы к нашей общей возлюбленной – к истории.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

Учился я в гимназии средне – отчасти сознательно, так как мечтал получить высшее образование за границей. Если бы я получил медаль, то мне угрожала опасность попасть в процентную норму для евреев <поступающих> в русский университет. У меня почему-то была идиосинкразия ко всему русскому – вплоть до духовно резонерствующего Толстого и диaboлистически истеричного Достоевского, этих двух идолов русской культуры. Я не выносил запаха святой Руси, с царем и без царя, подобно тому, как русские того времени не выносили чесночного запаха, который, по их мнению, сопровождал каждого еврея. Я платил монетой за монету.

⁸¹ Дословно: библейские рассказы (иврит).

⁸² *Зона* – блудница (иврит). Имеется в виду блудница Раав, спасшаяся со всем своим домом от гибели, потому что приняла и скрыла соглядатаев, посланных в Иерихон Иисусом Навином (Иис. Нав. 2:1 и далее, 6:16 и далее); по Евангелию от Матфея, праматерь Иисуса Христа, поскольку, став впоследствии женой Салмона, родила ему Боаза (Мф. 1:5), мужа Руфи (ср. Рф. 4:21), прабабки царя Давида.

Выпускные экзамены я выдержал без большой головной боли, но, несомненно, они подействовали на меня как шок. До сих пор мне снится этот странный сон, и он снится мне уже сотни раз, что мой аттестат зрелости – фальшивка, и мне приходится досаждать какой-то недостающий предмет по тригонометрии или истории. Впрочем, точно такой же сон до семидесяти лет снился и моему отцу, от которого он просыпался ночью со стоном. Возможно, что и в характере наших сновидений сказываются все те же законы наследственности.

Как студент, я попал в Мюнхен – прекрасные Афины тогдашней Европы, – с очень слабыми познаниями в немецком языке, так <что> с трудом одолел до этого с помощью учителя сотню страниц романа Шницлера, в котором он рисует, между прочим, и еврейское общество Вены с парой восторженно декламирующих сионистов на авансцене⁸³.

Эта литературная легитимация сионизма со стороны Шницлера, даже в несколько карикатурном изображении, мне льстила, и, возможно, поэтому мною была избрана именно эта книга в роли учебника. С отцом у меня были разногласия: он полагал, что мне следует быть врачом, я настаивал на том, чтобы стать агрономом, считая, что это самая полезная профессия для моего будущего пребывания в Палестине. Как компромисс, я временно поступил на естественный <факультет> и изучал химию. Из 1000 студентов из России, прибывших тогда в Мюнхен, 99% были евреи, из них 85% медиков и 15% – в политехникуме, химиками были трое – я и два фармацевта. Еще хуже было с сионистами – их было меньше, чем 1%, и их совершенно не было видно на поверхности даже студенческой еврейской колонии из России. Я их долго никак не мог встретить и от нечего делать часто зааживал в русскую студенческую читальню с социалистическим «бекграундом»⁸⁴.

Библиотекарь, черноволосый еврей, с большими серьезными очками на еще более серьезном еврейском носу, по-видимому, видел во мне «своего», и часто в моем присутствии велись разговоры о пересылке в Россию нелегальной литературы и даже оружия. Вдруг я заметил, что в числе академических досок, вывешенных в читальне, имеется одна, носящая подозрительное название «Корпорация Маккабея». Я справился у библиотекаря о ее точном адресе и этим себя окончательно скомпрометировал. Его отношение ко мне так изменилось, что мне скоро было неприятно появляться в этой читальне для революционеров «онли»⁸⁵.

Нужно представить мое удивление, когда через 12 лет я прибыл из советской России в Палестину в обшарпанном костюме, полуголодный, без копейки денег в кармане, и когда белый хлеб мне казался чем-то вроде райского яблока, и люди, опускающие два куска сахара в стакан чая, – государственными преступниками, я снова здесь встретил моего библиотекаря-нигилиста. Чуть ли не в первый вечер моего прибытия в Хайфу ко мне навстречу – в фешенебельной квартире – вышел ее хозяин, в смокинге и с золотыми запонками на манжетах, и, предлагая мне мороженое

⁸³ Артур Шницлер (1862, Вена – 1931, Вена), австрийский писатель и врач, еврей по происхождению. Дружил с Т. Герцлем. Имеется в виду роман «Der Weg ins Freie» [в русском переводе «Дорога на простор»] (1908).

⁸⁴ Background – фон (англ.).

⁸⁵ Only – только (англ.).

в хрустальной чашке, сказал: «Ваше лицо мне знакомо. Вы не учились в Мюнхене?» Те же очки, тот же нос, только вместо лихарски вздернутой черной шевелюры а ля баррикаде⁸⁶ – хороший плотный бриллиантин, держащий волосы в строгом повиновении. Это был мой библиотекарь из русской читальни, для которого «Маккабея» была «трейф».

У Дарвина такая трансформация предусмотрена, он называет это мимикрией. Если бы это был единственный случай, то не стоило бы о нем вспоминать. Но с этим явлением приходилось встречаться не раз. Студентов, которых мы знали как явных и злостных сионистоедов, мы сплошь и рядом встречали потом в Палестине на положении вершителей судеб сионистской политики. Они ни в чем не изменились. Один из них, которому была поручена ответственная роль в Сохнута, как раз по делам эмиграции, unsuccessfully пытался меня убедить, что вся еврейская нелегальная эмиграция из Польши нам не нужна, так как она сплошь состоит из дезертиров польской армии, людей самого низкого сорта. Впоследствии на него выпала довольно непривлекательная роль в аранжировке процесса Арлиозорова⁸⁷. Я в этом не видел ничего странного. Они продолжали ту разрушительную роль, в которой я их знал в студенческие годы. Ничего не было удивительного и в их сногшибательной административной сионистской карьере, потому что уже с самого начала сионистский режим в стране нуждался в подобного сорта патриотах. Один из них подошел к моему товарищу по корпорации с намерением крепко пожать ему руку: «Вспомним прошлое, когда мы держали шпаги». Мой товарищ не подал руки: «Эти шпаги не всегда были параллельны».

Но тогда, в Мюнхене, когда в той «Маккабее», которую я с трудом разыскал, было не с лишком 1000 кандидатов – и только семь или восемь сионистов; все эти люди готовы были нас задушить за наш шовинизм, проповедуя сумасбродные доктрины территориализма, жаргонизма, дубновизма и прочих теорий с услащенной примесью социализма, о которых ничего теперь нельзя найти даже в энциклопедическом словаре. И <против них> эти семь человек в «Маккабее», из которых двое в прошлом являлись ешивобохерами, и весь их сионизм состоял из преклонения перед *сфат авар*⁸⁸, и два немецких еврея, которых по тем или иным причинам не приняли в сионистские немецкие корпорации, одного за его хромоту. Итого оставалось всего трое.

На наши агитационные собрания мы с трудом могли собрать 20-30 человек. У меня от всего этого, должно <быть>, был всегда мрачный вид, так как мои товарищи всегда смеялись надо мной: «У тебя на лице написан сам еврейский вопрос». Они были правы и нет. Меня, в сущности, интересовал не еврейский, а сионистский вопрос. Я тогда еще не знал, что знаю теперь: судьбы народа решает иногда один процент, иногда даже полпроцента, если они хорошо знают, чего они хотят. Однажды к нам с докладом явился Борухов⁸⁹. Я его поселил в своей комнате. Это

⁸⁶ À la barricade – дословно: «в баррикадном стиле», «мятежный» (фр.).

⁸⁷ Свой первый роман – «Суд начнется завтра» – Вейншал посвятил делу Арлозорова. О Хаиме Арлозорове см. раздел «Имена».

⁸⁸ Букв. «древний язык» – иврит.

⁸⁹ О Борохове см. раздел «Имена».

был очаровательный человек с широким кругозором еврейского Жореса. Это не был тот Борохов, именем которого за счет Национального фонда наделили *мигранты* в окрестностях Тель-Авива его почитатели⁹⁰. Он был бесребреник, альтруист, идеалист чистой пробы, литератор, скиталец, почти философ. И главное: открытый, самостоятельный мозг. От него ничего не осталось в Палестине, даже тени, и это так жаль. На устраиваемых нами собраниях он был ценным оружием, так как именем социализма развенчивал социализм антисиионистов, которые давили нас своим подавляющим большинством. В Борохове не было ничего показного – ни бороды, ни бутафории из рабочего костюма, с ним просто можно было беседовать обо всем просто и открыто всю ночь напролет, лежа в одной кровати. Он служил делу, он не служил самому себе⁹¹.

Наступили дни конгресса 1911 года⁹². Отец приехал из Баку и взял на конгресс меня и брата, который учился в Гейдельберге, в Базеле. Я был потрясен трагедией Вольфсона, оскорблен цинизмом Вейцмана, очарован ораторским дарованием Нордау. Многое из пережитого на этом первом моем конгрессе я внес как фон в мое изложение судьбы Марко Бороуха и Ганса Герцля⁹³.

Я не был ни политическим сионистом и ни практическим, я не видел просто серьезной причины для всей этой свалки, инспирируемой Вейцманом против Вольфсона. Практический и политический сионизм были для меня две стороны одной и той же неделимой медали. Но в то время, как у практических, ударившихся в опустошение сионистской кассы, я чувствовал легкомыслие, у политических, при всем их консерватизме, этого легкомыслия не было. Лично мне больше импонировала гордая бескорыстная старая гвардия Герцля, чем люди, которые были готовы пожертвовать собой за чужой счет: *ливнот ви либанот*⁹⁴. Политические олицетворяли государство, практики – будущую сионистскую бюрократию. Фатальная борьба, которая кончилась тем, чем должна была <кончиться>: узурпацией сионизма его функционерами.

Но конгрессная лихорадка не захватила меня целиком, я и здесь искал связи со студентами-сионистами из других мест, и неожиданно для себя наткнулся на залу, в которой уже происходило совещание, посвященное этому вопросу. Маленькая комната, вмещающая с трудом

⁹⁰ Речь идет о тель-авивском районе Шхунат Борохов, существующем по сегодняшний день.

⁹¹ Ср. в некрологе Борохова, написанном Вейншалом в форме воспоминаний: «Простой и мягкий, он избегал споров, трескучей полемики, неизменно тяготел к ровной интимной товарищеской беседе. И тут мы узнали всю лояльность, которая жила в глубине его души, ко всему сионистскому, особенно конгрессу, перед нами был вдумчивый рассудительный вождь, который всей силой своего морального авторитета удерживал свою фракцию в пределах сионистского движения, в здоровом контакте с ним» (Я. Вейншал, «Памяти товарища (Личные воспоминания о Б. Борохове)», Еврейский студент, 1918, № 31-32, 25 февраля, стлб. 29).

⁹² Речь идет о X Всемирном сионистском конгрессе, состоявшемся в Базеле.

⁹³ Имеются в виду ивритские романы Вейншала Hans Herndl (Tel Aviv, 1945) и Marku Barukh (Tel Aviv, 1949).

⁹⁴ Дословно: строить <страну> и строить <себя> (иврит).

тридцать человек. Оратор, студент из Парижа, долго развивал теорию о необходимости в целях воспитания и национальной пропаганды драматизировать библию. Конкретно он предлагал немедленно приступить к созданию библейского театра. В сущности, он предвосхитил отчасти идею «Габимы». Но мне это показалось весьма нереальным делом – как первый шаг для создания серьезной студенческой сионистской организации. Я предложил программу концентрированной пропаганды. Должно быть, не сказал ничего особенно важного, говорил просто, чтобы поднять у собравшихся настроение. Моему удивлению не было границ, и вместе с тем и негодованию, когда вдруг председатель собрания, низкий, коренастый человек, вылил на мою голову ушат с грязной водой, искажая и передергивая каждую мою фразу, как будто мы с ним уже давно были старыми и непримиримыми врагами. Неопытный в делах демагогии, я промолчал, оставил свой адрес и просил дать мне знать, кому и где я и моя «Маккабея» будут нужны общему союзу. Только впоследствии я понял, что то, что постигло меня, – это фассон де парле⁹⁵ специфического происхождения. Председателем и инициатором союза являлся студент из Палестины, уполномоченный на это рабочей группой «Га-позль Га-цаир», и он испугался того, что ему придется с кем-нибудь впоследствии поделить жирный пирог, имя которому «Сионистский студент». Пирог должен был быть испечен на полусоциалистическом масле второй алии, или вообще не нужен. В результате этого совещания был избран центральный комитет в Берне со Свердловым во главе⁹⁶, 9-м человеком, который дал мне этот первый урок палестино-марксистских методов дискуссии.

Прошел год. Комитет в Берне брал с нас налоги, и взамен этого мы раз получили от него напечатанный на иврите циркуляр, который с трудом одолели трое членов «Маккабеи», но который не оказал никакого влияния на всю прочую массу студентов в Мюнхене в 1000 человек.

По прошествии года нас вызвали в Берн на конференцию. На этот раз меня встретили не как врага, а как закадычного друга. Чтобы заткнуть мне глотку, меня выбрали председателем. Организация была названа «Гехавер». В общем, чувствовалось, что наши товарищи в Берне сами недовольны самими собой, но из этого <следовал> парадоксальный вывод: все должно оставаться по-старому. Тут я познакомился со второй партийной истиной Палестины: никогда не нужно привлекать в движение новые силы, которые представляют из себя опасность заменить собою старые. Недовольство собой – это уже само по себе прекрасный выход из положения. За это время «Маккабея», прибрав еще двух-трех товарищей, среди <них> некоего Кишиневского, о котором я еще вспомню в дальнейшем⁹⁷,

⁹⁵ Façon de parler – способ (форма) выражения (фр.).

⁹⁶ Рафаэль Зезв Свердлов. Сионистской идеей был увлечен с детства, и в 1904 г. приехал в Эрец-Исраэль. Трудился как простой рабочий в мошавах Иудеи и Галилеи и был одним из основателей организации «А-позль А-цаир» и его секретарем. Одновременно входил в состав Совета еврейского ишгува под председательством Х. Хисина и М. Дизенгофа и группы первых строителей Тель-Авива.

⁹⁷ Иехиэль Кишиневский (Кишони), член «Гехавера», членом которого он стал, как и Вейншал, в Германии (см. фотографию участников съезда «Гехавера» в Гейдельберге, проходившего с 1 по 5 июня 1914 г., где они сидят рядом; приве-

пользуясь тем, что за границу стали приезжать студенты с Кавказа, особенно из Баку, бывшие члены «Молодой Иудей», стала организовывать такие же корпорации в других городах.

Мой брат Элиезер организовал группы в Льеже, Пуатье. Мой брат Абрам – в Гейдельберге, в Берлине. Другие попали в Дармштадт, Нанси, Кенигсберг. Пример был заразителен: за Бельгией потянулись Австрия, потом даже сама Россия.

Наступили дни Венского Сионистского конгресса⁹⁸. Здесь мы подвели счет со Свердловым – большинство приехавших были старые приятели из «Молодой Иудей» или новоприобретенные силы. Среди них – мой новый приятель Яков Гофман⁹⁹, на привлечение которого к сионизму я отдал месяц жизни, причем при этом была выпита не одна кружка крепкого артовского пива. Вообще наша работа тогда больше всего напоминала работу миссионеров в Центральной Африке. Каждый из нас был тайным апостолом, и мы ловили души по заранее обдуманному плану.

Гофману я выдал «вексель», что если он поедет со мной на конгресс, то он воочию увидит самый настоящий еврейский парламент, и если он при этом наденет черный смокинг для дня его открытия, то это будет лучшим ответом, который он может дать антисемитам всего мира. В компенсацию этому мною была ему обещана поездка в Баварские горы.

Мена состоялась, конгресс произвел на него потрясающее впечатление. Он стал одним из самых прекрасных сионистских работников, долголетним членом Акционс Комите¹⁰⁰, и даже больше. Но тогда, в Вене, мы, шесть студентов в смокингах, нанесли позорное поражение «Берну» за его фальсификацию сионизма. Он выдавал его исключительно за новый вид Ховевей-Ционизма, причем Ционом был «Га-поель Га-цаир», и <главным> методом являлась стерильная пропаганда иврита. К моему большому удовольствию, с нами голосовал против «Берна» уже тогда известный еврейский поэт Яков Коген¹⁰¹, студент, представитель корпорации в Женеве. Дело закончилось тем, что центр был перенесен в Мюн-

дена в кн.: Arie Tsentsiper, *Pa'amei ha-geula: Sefer ha-Tsiunut ha-Rusit*, Tel Aviv, 1951, 200, photo № 638 (иврит)). После начала первой мировой войны вернулся в России и вошел в ЦК «Гехавера» (см.: Ицхак Маор, *Сионистское движение в России*, «Библиотека-Алия», Иерусалим, 1977, с. 302). Помогал И. Трумпельдору в организации еврейского военного отряда, который должен был отправиться в Палестину для участия в боях с турками, – осуществлению этого плана помешала большевицкая революция. В 20-е гг. переселился в Палестину и жил в Хайфе.

⁹⁸ XI Всемирный сионистский конгресс, состоявшийся в 1913 г. в Вене.

⁹⁹ Яков Гофман (1891, Елизаветград – 1943, Тель-Авив), сионистский деятель. В 1920 г. в Риге являлся одним из организаторов сионистской студенческой ассоциации Hashmonai – прообраза возникшего в 1923 г. в Риге же движения Бейтар (Союз имени Иосифа Трумпельдора), членом которого он стал. По приглашению В. Жаботинского переехал в Париж и был одним из руководителей ревизионистского движения. С 1934 г. поселился в Палестине. См. о нем: A. Remba, *Ke-fi she-hikkartim: Bnei doro shel Zhabotinski, Ramat-Gan*, 1959; *Yahadut Latvia: Sefer zikaron*, Tel Aviv, 1953.

¹⁰⁰ Во главе сионистской организации стояли два исполнительных комитета – Большой и Малый, который и назывался Аксион Комите (Actions Comité).

¹⁰¹ Яков Коген (1881, Слуцк, Белоруссия – 1960, Тель-Авив), поэт, писавший на иврите. Учился в Бернском университете, где защитил степень доктора философии.

хен, и в течение нескольких месяцев было создано до тридцати филиалов «Гехавера» почти во всех студенческих центрах Европы. Был созван так называемый Гейдельбергский съезд, о котором можно справиться в любой истории русского сионизма¹⁰², так как он связан с именем присутствовавшего там Членова. Это был триумф: «Гехавер» была самая сильная организация евреев-студентов из России.

Через много лет после этого, уже в Тель-Авиве, я получил от Свердлова очень странное письмо, в котором он просил меня разъяснить, в чем состояли тогда наши с ним разногласия. Правда ли, что я и брат предлагали устроить во время конгресса в Базеле ночную серенаду студентам под окнами отеля, где проживала дочь Усышкина¹⁰³ Рахель? На меня это письмо произвело весьма странное впечатление и, опасаясь за здоровье его автора, я пригласил его на прогулку на берег моря. Здесь мы сидели в кафе, и я пытался ему разъяснить все происшедшее в 1911–13 году. Моя аргументация была следующая: в «Гехавере», в противоположность примитивному личному халуцианству «Га-поэль Га-цаира», намечалась уже тогда тенденция к широкой мобилизации еврейской молодежи для захвата Палестины – «Гехавер» был прямой предтечей ревизионизма. Иначе нельзя объяснить того несомненного факта, что такие вожди «Гехавера», как Гроссман¹⁰⁴, Шехтман¹⁰⁵, Гофман, Яков Коген и многие другие, безоговорочно примкнули к Жаботинскому в 1924 году; почти весь состав Центрального Комитета.

Я не знаю, удалось ли мне его в этом убедить или он остался при своем убеждении, что причиной была какая-то фантастическая мандолина под окнами прекрасной конгрессной донны, созданная его совсем не халуциано-социалистической фантазией.

Правда, у нас, шестерых, одетых в смокинги, было одно коллективное романтическое приключение, которое имеет больше общего с моим общением с коммунизмом, чем с идеями рабочего движения Палестины.

¹⁰² Гейдельбергский съезд «Гехавера» состоялся в 1913 г.

¹⁰³ Об Усышкине см. раздел «Имена».

¹⁰⁴ Меир Гроссман (1888, Темрюк, ныне Краснодарский край – 1964, Тель-Авив), сионистский деятель. Приверженец В. Жаботинского, но в 1933 г. отошел от него из-за разногласий по вопросу о подчинении Всемирной сионистской организации. Гроссман же создал внутри нее Партию еврейского государства.

¹⁰⁵ Иосиф Борисович Шехтман (1891, Одесса – 1970, Нью-Йорк), один из лидеров ревизионистского движения, историк, публицист, редактор. До эмиграции участвовал в деятельности Всероссийского Еврейского Конгресса (Петроград, 1917) и во Всеукраинской Еврейской Национальной Ассамблее (Киев, 1918). В 1921 г. покинул Россию. С 1922 по 1932 гг. соредактор еженедельника *Рассвет* (Берлин, с 1925 редакция переехала в Париж). Один из сподвижников В. Жаботинского, которому посвятил множество статей и несколько книг (самая значительная: *Fighter and Prophet. The Vladimir Jabotinsky Story* <In Two Vols>, New York, London, 1961). Сотрудничал также в идишской и немецкой прессе: главный редактор идишской ревизионистской газеты *Nayer Veg* и соредактор (вместе с В. Г. Акцином) журнала немецких эмигрантов-евреев в Париже *Die Welt*. В 1941 г. переселился в США, где служил в Institut of Jewish Affairs (1941 – 1943; в 1943 – 1944 гг. возглавлял в этом институте исследовательское Бюро, по проблемам социальных движений), а также консультантом в OSS (Департамент стратегической службы). До смерти являлся президентом Союза ревизионистов Америки и членом международного Совета сионистов-ревизионистов.

В моей ложе для журналистов я обнаружил прекрасное создание 17 лет от роду, одетое во все черное, сидевшее все время, к моей досаде, как мумия, и не проявлявшее ничем обычной журналистской ажитации. Через пару дней, когда мы, все шестеро, сидели и умирали от скуки от весьма неудачного доклада Вейцмана об Университете в Иерусалиме, Гофман, обнаружив ту же незнакомку в нашем соседстве, вполне разделил все мои восторги. Заинтригованные таинственностью особы и проверяя наши таланты кавалеров, мы на пари решили завязать с ней разговор. Пари было разыграно, проиграли пессимисты. Прелестная мумия в трауре согласилась обменять доклад Вейцмана на мороженое в кафе «Аркаден» на Ринге. Ее языком оказался идиш, ее происхождением – Галиция. Дальше мы не осведомлялись. В кафе, уже поздно вечером, мы были шокированы тем, что наша общая дама потребовала к мороженому *земел*¹⁰⁶ – один и другой. Потом настало новое осложнение. Наша незнакомка, которая назвала себя Эстеркой, забыла свой адрес, и мы, измученные, до шести часов утра, держа ее под руку каждый по очереди (причем на некоторых она жаловалась, находя их слишком для нее высокими), водили ее по Вене, пока счастливо не сдали в руки портьера ее дома, уплатив ему полагающиеся за это крэйцеры. Но на следующий день наше пострадавшее тщеславие было удовлетворено тем, что мы сами видали нашу Эстерку в одном экипаже с Бяликом, совершающими элегантную прогулку по Венскому Рингу. Кто мог подумать тогда, что это не последняя моя с ней встреча?

* * *

Убийство Франца Фердинанда застало меня в Германии, я видел его лично в присутствии других десятков коронованных особ на торжественных похоронах баварского короля Людовика – по правую сторону от Вильгельма II, который произвел на меня впечатление именно своей парализованной еще в детстве миниатюрной левой рукой: вся корпорация «Маккабея» в числе прочих корпораций выстроилась шпалерой. Все в черных пальто и в цилиндрах, взятых напрокат из еврейского магазина поношенных костюмов, принадлежащего одному немецкому сионисту. Нужно было видеть моих товарищей в цилиндрах, которые сползали им на уши, и в пальто, полами которых они подметали улицы из-за их длины, для того, чтобы оценить всю степень нашей лояльности к баварскому университету, который нас к этому обязал, и при этом не придти в антипохоронное настроение.

Недалеко от нас стояли немецко-еврейские сионистские корпорации при шпагах – К.Ц.Ф. и Ф.И.Ст.¹⁰⁷, с которыми мы сблизились в последние годы на почве той травли, которую подняли немецкие студенты против «евреев из России», занимающих в университете слишком видное место. Были общие собрания и даже публичные митинги, взаимные приглашения на «кнайпы»¹⁰⁸. Вначале немцы были уверены, что все русские черноволо-

¹⁰⁶ Булочка, пряник (идиш).

¹⁰⁷ К.Ц.В. (Kartel zionistischer Verbindungen) – Федерация сионистского содружества; Ф.И.Ст. (Vereinigung jüdischer Studierender) – Федерация еврейских студентов.

¹⁰⁸ От kneipe – студенческая попойка (нем.).

сые, в очках, и все «мозаиш»¹⁰⁹, но потом они узнали правду: русскими были исключительно евреи, и началась антисемитская травля. Сыпались обвинения в том, что мы занимаем лучшие места в аудитории, захватываем места при самых интересных работах и вообще проявляем излишнее прилежание. И, кроме того, нас считали виновниками в том, что мы покорили сердца всех тех девушек в городе, которые самой судьбой предназначались начинающим свои занятия академикам, как мы тогда говорили, «из высших кругов сословия, занимающегося продажей молока». Как иностранцы мы имели и это преимущество. Нельзя сказать, чтобы эти все обвинения не были обоснованы, как, впрочем, и многие другие обвинения антисемитов. Иначе я бы никогда не держался так цепко за свой сионизм, видя в нем якорь спасения, по крайней мере, для своей чести. Но эти немецко-еврейские корпорации, прекрасно понимая, что после нас очередь наступит и для них, рыцарски встали на нашу защиту.

Председателем общих митингов был председатель той же нашей Хасмонеи, несмотря на ее миниатюрность. Это был очаровательный во всех отношениях человек, и тут я понял, что часто в общественных делах в моменты кризиса роль играет не количество, а именно качество. Доказательства были налицо: сионистская «Маккабея» вовлекла в борьбу с антисемитами сионистские корпорации немецких евреев, единственных наших защитников, и наш председатель представлял обиженную «русскую колонию», несмотря на весь преобладающий в ней левый социалистический уклон.

Ладъженский впоследствии был инженером путей сообщения в Палестине и построил ее главные шоссейные магистрали. Он внезапно покончил свою жизнь самоубийством, так как в его департаменте обнаружили не порядки, и он со своей кристаллически-чистой душой не мог вынести несправедливых подозрений своего начальства. Но тогда, на похоронах Людовика, созерцая эту феерическую картину правителей Европы до первой <мировой> войны, участие в ней всех правящих домов и всех символов власти, мы чувствовали себя представителями несуществующей еще свободной Иудеи, она была в нашей фантазии, значит, она была.

Описывая похороны Ирода Великого, я не мог отказаться от удовольствия внести в них все мои впечатления от этого мюнхенского пасмурного дня¹¹⁰. Но через несколько недель после убийства этого великого ростом Фердинанда стало пахнуть войной. Мюнхен преобразился. Офицеры стали отдавать честь вывешенным на улице телеграммам о мобилизации. В кафе били стекла, подозревая присутствие в них славянских шпионов. Приехавшего ко мне брата Элиезера я отправил поездом в Россию. Он оказался последним. Другой мой брат, Абрам, приехал в Мюнхен, чтобы провести вместе со мной каникулы. У него не было даже паспорта. Оставалось до начала военных действий не больше суток. Мои деньги, которые мне отец, питая ко всем нам большое доверие, высылал чуть ли не на

¹⁰⁹ Mosaisch – иудейский (нем.). Ср. наблюдение английского писателя Г. К. Честертона, характеризующего журналистов-соотечественников примерно в ту же эпоху: «Те же самые журналисты, которые корректно описывали евреев как русских, ныне раздраженно описывают иных русских, оказавшихся евреями.» (G. K. Chesterton, *The New Jerusalem*, «Hodder and Stoughton», London, 1920, p. 267).

¹¹⁰ Похороны Ирода Великого Вейншал описал в романе «Гордус ахи» [Мой брат Гордус] (1959).

год вперед, к счастью, лежали в банке, в котором я лично не был известен как иностранец. Уже был отдан приказ о неоплате чеков по счетам всех «русских». Теперь нам предстояло оставаться в Германии на положении военнопленных. Я попробовал испытать свою судьбу. Подошел к окошечку банка и протянул свою визитную карточку, сводя к минимуму звуки своего голоса, выдающего во мне чужого. Я получил все деньги, часть даже в золоте: моя фамилия звучала как немецкая. Через несколько часов мы были на швейцарской границе у Боденского озера, встречая поезда с запасными. Я протянул свой паспорт, чиновник выразил сожаление, что еще до сих пор не получил приказа о задержании всех «русских». Мой брат не имел ничего, кроме свидетельства о сдаче экзамена по латинскому языку при Гейдельбергском университете. На этот документ пограничный чиновник отказался поставить выездную визу. Началась борьба. Я ему указал на место рождения, которое в моем и его документе были идентичны – Тифлис. Это подействовало, он махнул рукой, и мы заняли место на швейцарском пароходике; когда он причалил к Гельвеции, газеты сообщили об официальном объявлении войны между Германией и Россией. Я дал домой телеграмму: «Отступили в полном порядке...» Эта телеграмма никогда не была доставлена. Наши родители больше года не знали, что с нами.

Считая, что такая безумная война амбиций не протянется больше нескольких недель, мы поселились на Боденском озере, созерцая Фридрихсгафен с вылетающими оттуда цеппелинами. Но нам скоро пришлось оставить это место, так как окружающее население, пропитанное симпатиями к Германии, приняло нас за русских шпионов. Мы направились в Женеву. Тут я узнал, что все мои немецкие марки не котируются на бирже, и им нет цены. Золото уже было на исходе. Кушали мы в студенческой столовке для беженцев, так как были не одни в таком положении между небом и землей¹¹¹. Несмотря на неопределенное положение, вечером в столовке состоялся политический митинг, на котором выступали «все партии в изгнании». Говорил и я. Самое странное, что, не давая себе ясного отчета о характере и про-

¹¹¹ Об этой столовой см. в статье «Письмо из Женевы» (подписано: Ассимилятор) в женевском журнале «Голос Зарубежного Студенчества» (1915, № 1, с. 43 – 48), являвшемся органом Западно-Еврейского Союза учащихся из России. Автор, в частности, рассказывает о закрытии столовой: «Позднее возник другой вопрос, послуживший началом раскола и гибели такого безусловно полезного и необходимого учреждения, как колониальная столовая. Дело в том, что пища, которой столовая могла снабдить обедающих, была из рук вон плоха и непитательна, так что серьезно встал вопрос об улучшении ее, тем более, что многие обедающие стали чувствовать себя больными. В целях улучшения пищи предполагалось класть в суп кости (о мясе даже не мечтали), но тут наткнулись на очень «серьезное» препятствие со стороны сионистов. Они заявили, что в их помещении, служащем одновременно и молельней, необходимо соблюдать «кошер». Улучшение пищи, как тогда на собраниях говорили, связано с «еврейскими костями» (т. е. костями кошерными). Эти «еврейские кости», вызывавшие у всех гомерический хохот, были однако причиной того, что обед не мог быть улучшен. Колониальный Комитет <организатор столовой> стоял перед альтернативой: или очистить помещение, или отказаться от плана с костями. Другое бесплатное помещение трудно было найти – и «меню» осталось старое. В атмосфере постоянного недовольства обедающих начались вскоре и другие дразги – и столовая закрылась» (с. 46).

должительности этой войны, я вдруг стал проповедовать активное вмешательство: «В эту войну мы должны войти не как солдаты под чужими знаменами. Мы потребуем себе в ее конце своей законной компенсации в Палестине». По-видимому, эта речь и дала повод Аберсону¹¹², проживающему в Женеве старому герцелянцу и инициатору этой столовки-помощи, вызвать меня через много месяцев к себе и сделать мне ряд таинственных предложений, намекая на создание Еврейского легиона по соглашению между Рутенбергом и Жаботинским¹¹³. Но об этих разговорах – позже.

Вспоминая теперь об этой своей речи, я немного сам в недоумении. Возможно, что не высказанная мною идея была помощь Германии – создание для нее еврейского оккупационного отряда для Палестины. Высказанная идея была: «Мы не можем оставаться нейтральными». Но это выступление совершенно не решало вопроса о том, что я и брат остались в Женеве без крова и денег. Я решился на героический шаг. Зашел в один из пансионов и объяснил хозяйке положение, деньги есть, но они сейчас ничего не стоят, может ли она приютить нас на несколько месяцев. Хозяйка, старая дева Жанн, прослезилась, вспомнив о своей молодости и о каком-то неудачном романе со сбежавшим от нее русским студентом, и приняла мое предложение.

Жили мы там около года. Уплатили, когда получили деньги из дому <проделавшие путь:> Баку – Владивосток – Нью-Йорк – Лондон – Париж – Женева. Пока что продолжали свои занятия на французском языке. Пансион мадемуазель Жанн был любопытным местом – интернационал старых дев: одна из Китая, венгерская графиня, полудева из Бразилии и т. п. Постояльцы-мужчины – интернационал юношей. Считая по рангу, один был сербский принц из дома Карагеорговичей, один болгарин, сын профессора, один араб, мосье Адж, сын беirutского начальника жандармерии и т. п. С арабом вначале у меня были небольшие недоразумения на политической почве. Заметив у меня в петлице сионистский значок, который я забыл снять, возвращаясь с очередной конференции швейцарского «Гехавера», он иронически заметил: «О, я не подозревал, что сижу за одним обеденным столом с сионистом!» Потом он, будучи христианином, стал развивать теорию, что в результате войны будет организовано Иерусалимское королевство, причем трон будет предложен герою войны – бельгийскому королю Альберту. На эту провокацию я намекнул на то, что по еврейской традиции есть два Иерусалима – *лемала ве-лемата*¹¹⁴. Что касается последнего, он остается за нами, небесный открыт для каждого, даже для Альберта.

Нас впоследствии примирила венгерская графиня, которая вполне могла бы получить приз за уродство. Я долго ей не верил, что она графиня, ссылаясь на то, что у нас в Грузии столько князей, что сплошь и рядом любой парикмахер тоже князь. Но она оказалась женой председателя верховного сената Венгрии, и, несмотря на мои шутки, или благодаря им устраивала мне и арабу файв-о-клок у себя в комнате. Тут он опешил, когда узнал, что я уже был в Палестине, и <я> смог уверить его, что любовь его к ней такая же, как и моя. Он жаловался на еврейский банк в Яффе – он не

¹¹² Цви Аберсон, политический деятель, сторонник сионизма, в 20-е гг. руководил информационным бюро Совета еврейских организаций в Женеве.

¹¹³ О Еврейском легионе см. в книге В. Жаботинского *Слово о полку* (1928).

¹¹⁴ Иерусалим небесный и земной (иврит).

дает кредитов арабам, я доказывал ему, что эта информация неверна. Моше Адж был первый араб, который мне встретился на жизненном пути, одетый всегда с иголки, в черное, с лицом иезуита. При всей своей ненависти к сионизму он был сыном Леванта, и после окончания дискуссии он забывал о ней с невероятной легкостью. Были у него и припадки арабской фантазии: один раз, одолжив у меня мой браунинг, он решил напугать мнимой дуэлью весь благочестивый женский рай, расквартированный в пансионе Жанн. Ему это так удалось, что первым испуганным насмерть оказался он сам. Бледный и дрожащий, он вернул мне мой браунинг, так сверх его ожидания его провокация удалась, и его мнимый соперник предстал перед ним, как тень отца Гамлета, застав его самого, однако, совершенно неподготовленным к поединку. Надеюсь, что он теперь благоденствует в своем Дамаске, имеет хорошую практику и не одалживает ни у кого браунингов для инсценировки новых «фантазий». Мой привет ему из «Иерусалима *ми-мата*».

В Женеве я часто сталкивался с доктором Кляцкиным, забытой сегодня фигурой, человеком противоречивым, кандидатом в еврейские философы¹¹⁵. Он меня подкупил тем, что был долгие годы личным секретарем Вольфсона и относился к практическим сионистам, точно так же, как я, — как к предтече «сионизма без сионизма». Он был журналист, писал критические книги, издавал еврейскую энциклопедию — тогда он держался немецкой ориентации и сам был женат на гойке. Я с ним проводил беседы часами, не замечая, как проходит время, — мне нравился его негативизм, его верность герцелизму. Один раз он меня огородил следующим предсказанием: «Я тебе предсказываю три вещи: первое — ты никогда не будешь жить в Палестине, второе — ты женишься на гойке, третье — ты никогда не будешь знать иврита». Его предсказание сбылось всего на одну треть, на самое последнее его пророчество¹¹⁶.

Прямая ему противоположность был Аберсон. Кляцкин сиял популярностью, которую он сам себе выдумал. Аберсон, безусловно, был гениален и все время искал тень, в которой он мог бы легко спрятать свою индивидуальность. Официально он был только учителем французского языка для студентов-тупиц. Во всем прочем он был тонким барометром надвигающейся сионистской бури. Он был анатомом событий, и однажды он огородил меня вопросом, согласен ли я буду в случае надобности под чужим паспортом проехать на положении курьера через воюющую Францию в Испанию и оттуда в Америку по делу легиона, затеянному в Милане Рутенбергом и Жаботинским. Он говорил намеками. Я дал положительный ответ. Ждал командировки, но она почему-то была отменена. Впоследствии он стал представителем Сионистской организации при Лиге Наций в Женеве.

¹¹⁵ Яков Кляцкин (1882, Береза-Каргусская [ныне г. Береза], Белоруссия — 1948, Веве, Швейцария), философ, деятель международного сионистского движения; редактор ряда сионистских газет и журналов на идише, немецком и французском языках, редактировал Еврейскую Энциклопедию (по-немецки и на иврите); входил в состав руководства Еврейского национального фонда.

¹¹⁶ Вейншал хотя и выучил иврит в зрелые годы, тем не менее, блестяще его знал, писал на нем статьи и книги научного и художественного содержания. Однако, будучи человеком высочайшей требовательности, полагал, что не достиг в иврите того совершенства, которое дает чувство родного языка.

Об издании моем и моего брата журнала «Для самообразования сионистского студенчества» в той же Женеве, в типографии, где печатались листовки большевиков, я рассказываю в другом месте¹¹⁷. Мой брат скоро переехал в Цюрих, а я в Берн сдавать свои выпускные экзамены. В Цюрихе вдруг появился Палестина Гайм. Первая кооперативная сионистская квартира в мире, в которой жили палестинцы в настоящем и палестинцы в будущем, и говорили между собой на иврите. Адрес Палестина Гайм на Цюрихберге знал каждый вагоновожатый трамвая, почтальон и даже полицейские Цюриха, несмотря на то, что там было расквартировано не больше десяти студентов. Так было доказано, что журнал, издаваемый по-русски, в академическом тоне излагающий историю и теорию сионизма, экономику и географию Палестины, журнал для самообразования, больше способствует внедрению палестинизма и еврейского языка, чем все напыщенные воззвания «Берна» на еврейском. Впоследствии, когда я уже выехал в Россию с целью вступить в армию, мой брат Абрам приступил к изданию большого журнала на немецком языке «Эрвахен», который, как по внешнему виду, так и по внутреннему содержанию, был лучшим сионистским журналом своего времени¹¹⁸.

Здесь, в Палестина Гайме, на письменном столе одного корпоранта я нашел фотографию девушки, лицо которой мне показалось знакомым. Оказывается, это была та самая девица, которую я встретил в Палестине и которая была очевидицей этой трагедии в хедерском лесу, когда мои гимназические брюки были разодраны наполовину коварным пнем срезанного эвкалипта. Впрочем, эта фотография меня преследовала и впоследствии. Уже в Персии, на фронте, мне показал ее один еврейский ветеринарный врач, представив девицу как свою жену. Она преследовала меня, эта фотография, и если бы я был суеверен, то, должно быть, приписал бы это какому-то чертовому наваждению или, по крайней мере, намеку на то, что первая любовь не ржавеет. Но я сделал более прозаический вывод: мир тесен, и треугольник Хедера – Цюрих – Керманшах – это в нашей жизни пустяк такой же, как мои катастрофически разодранные тогда брюки.

По сдаче экзаменов я двинулся в путь. Это был тоже треугольник: из Женевы в Гавр, оттуда через канал, кишаший немецкими подводными лодками, в Симгамтон, оттуда через Лондон на границу Шотландии в Ньюкастель, оттуда снова через море в Норвегию, в Берген, потом Швеция – Стокгольм, и оттуда частью по железной дороге, частью на санях, через Финляндию в Россию. Это был тогда, во время войны, самый короткий, <хотя> не совсем удобный путь из Швейцарии. Путешествие продолжалось два месяца. В Гавре я повздорил с английским офицером разведки, которому подозрительна была моя немецкая фамилия, знание немецкого языка, долгое пребывание в Германии и, главное, итальянская виза на паспорте. Он хотел знать все секреты моего сердца, и когда я, не спавший несколько ночей из-за обстрела поездов,

¹¹⁷ Кроме братьев Вейншал, в издании журнала участвовал Арье Зильбершпрум. Журнал выходил в 1915 г., вышло 4 номера, печатались лекции по географии Палестины, истории, теории и практике сионизма и мессианских движений.

¹¹⁸ Статьи А. Вейншала этого времени встречаются и в российской печати, см., в частности, «Сионистское студенчество в Швейцарии» (Еврейский студент, 1918, № 31 – 32, 25 февраля, стлб. 30 – 34).

выезжающих и покидающих затемненный Париж, отказался наотрез это сделать, он мне поставил на паспорте коварную пометку красными чернилами: «Без права в Англии». На основании этого англичане меня задержали именно в Англии на шесть недель, объясняя эту задержку вежливым предложением, что они еще не выяснили для себя вопроса, как пишется моя фамилия – через простое V или W.

Вначале наш пароход, набитый резервистами из Бельгии, сел на мель, шесть часов мы были мишенью подводных лодок, но туман нас выручил. В Симгамтоне меня и какого-то испанца задержали, как подозрительных. У меня отняли паспорт, и на все протесты – «Как я могу появиться в Лондоне без паспорта при полном незнании языка», мне было сказано: неужели я сам считаю себя столь опасным человеком для Англии, что не могу пробыть в ней даже сутки без паспорта... Мой английский словарь тогда состоял из шести слов: «нот спик инглиш», «пенсил», «логадж» и «киссис». Это должно было удовлетворить все мои потребности. Естественно, что при таких условиях я предпочел, прибыв в Ватерлоо-стейшн рано утром, пойти пешком в Вайтчепель, где мне был рекомендован сионистско-палестинский отель. Прогулка продолжалась до позднего вечера по плану в руке, как если бы я был немой. Вечером меня ждало разочарование. Накануне мой отель до основания снесли бомбы, брошенные с цеппелина. Я не жалел, что меня там не было накануне, но все же чувствовал себя несчастным.

Англичане тоже: самое сильное впечатление на них произвело, что цеппелин осмелился летать над Лондон-Банком. Это не Рим, это Карфаген, и его Английский Банк – это капище Баала. В полиции меня успокоили и на другое утро направили в Вайт Голь. Оттуда – в Скотланд-Ярд. Там я был у себя дома, там со мной говорили по-французски. Любовались моим билетом Кука до Гельсингфорса, фотографией моего отца в форме военного полковника при оружии, заметили, что его величают эксселенси¹¹⁹, и поэтому направили меня в контрразведку. Здесь много недель изучали правописание моей фамилии. Я стал обращаться к русскому консулу, и когда заметил, что его совершенно не трогает моя судьба, стал наказывать его частыми займами денег, которые мне не были нужны, но для того, чтобы заинтересовать его моим возможно быстрым отъездом. Это средство действовало лучше, чем все другие.

Попал один раз в жаргонный театр в Вайтчепле. Шла трехактная пьеса. Я ее не хорошо понял. Причина была не во мне. В течение всего первого акта в публике шла борьба за места, так как в зале не было ни одного человека, который сидел бы на своем месте, и все пересаживались. Второй акт начался при гробовой тишине, и это его погубило: только тогда выяснилось, что родители взяли в театр своих грудных детей, и они подняли соответствующий рев. Третий акт оказался тоже мне недоступным, потому что я обнаружил внезапную пропажу бумажника с моими деньгами, и это испортило мне настроение. В буфете театра меня старались утешить, и, возможно, это были те самые, которые поделились содержимым моего бумажника.

В общем, с идишем мне никогда не везло. После этой истории я стал опасаться всяких проходимцев. И один раз чуть не совершил не-

¹¹⁹ Excellence – превосходительство (фр.).

справедливости. На Оксфорд-стрит ко мне подходит субъект, который по внешнему виду принадлежал к унтервельту¹²⁰. Он стал меня уверять, что три года тому назад покинул со мной Россию в одном купе, это было ночью, и он со мной тогда даже не обменялся парой фраз. Желая его проучить за подобные выдумки, я вытащил свой паспорт и просил его показать свой, чтобы сверить дату пограничного штемпеля. К моему удивлению, это было то же число. Я спросил о его профессии. Он мне сказал: «Я художник». С тех пор я отношусь с большим уважением к зрительной памяти людей этой почтенной профессии.

Присматриваясь к жизни англичан, я не мог освободиться от впечатления, что у них не только одно движение по улицам ведется с левой стороны, но они сами все выворочены на левую сторону. В Интеллиженс Сервис мне неизменно повторяли: «Мы извиняемся, но мы до сих пор не знаем, как ведутся войны. Мы учимся, и это отнимает время».

Я пересек Северное море через пару недель <после того>, как был потоплен английский крейсер с главнокомандующим армии Кичнером¹²¹. На обратном пути было потоплено судно, которое меня доставило в Англию, что вызвало в Баку беспокойство у моих родителей, которые знали его название.

В Берген я приехал на английском судне, переодетым <sic> в норвежское. Осло меня очаровало, особенно пепельный цвет волос женщин и их глаза морских сирен. Стокгольм вместе со своими шведами произвел впечатление замаринованной Пруссии. В Финляндии было так холодно, что я уже никого не видел. Экзамены я держал в Дорпате¹²²: сидя в кондитерской, пробегал конспекты и заранее заготовленные вопросы и пожирал пирожные. Здесь я ел самые лучшие пирожные в мире в расчете, что если я провалюсь на экзамене, то они – мое утешение, если я их выдержу – они мне награда. Экзамены я выдержал, несмотря на то, что одновременно посещал и сионистские собрания, и, обнаружив в том же Дорпате своего дядю Яшу, пикировался с ним о сионизме, поддразнивая его конокрадами из Кастинью, который первый робкий признак нашего национального оздоровления. Это было в последний раз, когда я видел этого милого человека и его семью. После этого я попал в Баку, и сразу же – на военную службу.

Окончание в следующем номере.

¹²⁰ Unterwelt – деклассированный элемент, нищий, дно общества (нем.).

¹²¹ Гораций Герберт Китченер (Kitchener, 1850–1916), английский фельдмаршал, граф, в 1914–1916 гг. военный министр. 5 июня 1916 г. крейсер «Hampshire», на котором он плыл с секретной миссией в Россию, был потоплен в районе Оркнейских островов (по другой версии, подорвался на немецкой подводной mine).

¹²² Дорпат – немецкое название Юрьева (до 1893 г. – Дерпт, с 1919 г. – Тарту). Вейншал сдавал в Юрьевском университете лекарские экзамены, поскольку для получения службы в России было необходимо российское высшее образование. В Архиве университета (находится в Историческом архиве Эстонии [Eesti Ajalooarhiiv, Tartu, Liivi 4]) хранится личное дело Вейншала, в котором имеется копия свидетельства о рождении, выданного тифлисским казенным раввином, документы о благонадежности, протокол лекарского испытания с фотографией, удостоверение о сдаче экзамена, диплом и расписка о выдаче документов в городское полицейское управление Баку 30 января 1917 г. (за справку благодарю ведущего специалиста отдела публикаций Архива д-ра Татьяну Шор).

Марк Зайчик

МИНИСТР ПЕРЕС И ПИСАТЕЛЬ СОЛЖЕНИЦЫН

Все это происходило знойным летом 2001 года в столице Израйля Иерусалиме.

Многие жители города говорили тогда мне, что такой жары не наблюдалось в истории этой земли столько-то десятков лет. Но замечу, что на моей памяти так говорили про местный климат уже несколько раз, так что ничего нового про зной ни от кого узнать было нельзя — преувеличивали все.

Министр иностранных дел Израйля Шимон Перес, глазастый, необычного внешнего вида мужчина, принял меня в качестве корреспондента большой израильской газеты в пятницу утром в своей тель-авивской канцелярии. Он выглядел много моложе своих семидесяти восьми лет, вольно сидел без пиджака и галстука в кресле, любезный, большеликий, большеглазый, сдержанно-улыбчивый, наблюдательный. Он был расслаблен. За ним, за его левым плечом я высмотрел на полке красного ласково-полированного дерева диплом Нобелевского лауреата в номинации «Деятельность за мир», и на этом фоне великих мировых премий и проходила наша неторопливая беседа с этим самостоятельным человеком.

Он оказался вежливым, даже веселым, очень любопытным, немного странным мужчиной.

Встреча наша была посвящена рабочему визиту министра Переса в Москву и его посещению, параллельно со своей прямой работой по международным связям, различных литературных музеев и творческих людей этого русского города. Организовал нашу беседу некий референт министра (или всей его партии — Рабочей) по так называемым «русским» делам. С этим референтом мы были знакомы давно, и иногда он задавал мне вопросы на интересующие его и его боссов темы.

Уж не знаю, что он делал с моими неконкретными ответами.

На этот раз мы говорили с Шимоном Пересом, немолодым и непростым евреем, об особенностях его связей с русской литературой.

— Как я понимаю, вы вынашивали встречу с Солженицыным достаточно давно, как и визит в Дом-музей Льва Толстого, почему, откуда такой интерес к этим людям, далеким от ваших практических и конкретных занятий, господин Перес?

— Прежде всего, как вам известно, я большой любитель мировой литературы, занимался переводами, в частности Владимира Набокова, на иврит. Являюсь я и поклонником русской литературы, которая оказала огромное влияние и на нашу литературу тоже. Если учесть роль Льва Толстого в русской литературе, его место в ней, а также

влияние Александра Солженицына и его произведений на современную российскую жизнь и демократические процессы, происходящие в этой огромной стране, то мой интерес к этим писателям объясним и понятен. Помимо этого я считаю, уверен в том, что к России нельзя подходить с обычными дипломатическими стандартами – это бесспорно страна особая, с особым путем, с особой, если угодно, душой, с особым отношением к культуре и жизни. Могу сказать, что миллион человек, репатриировавшихся в Израиль за последние годы, изменили наше отношение к России и России к нам. Я убежден в этом.

– Господин Перес, что вы можете сказать о встрече с Солженицыным? Каким вы нашли этого писателя сейчас?

– Он не очень хорошо себя чувствовал в это время. Это очень серьезный, даже суровый человек, который знает, что хочет сделать в этой жизни. Он смотрит на современный мир критично и достаточно осуждающе. Он видит серьезные недостатки в развитии мирового общества и указывает на них. Беседа с ним была, как я думаю, интересна и важна для нас обоих. Наше отношение друг к другу было уважительным и серьезным. Скажу вам, что Солженицын разбирается в ближневосточной ситуации компетентно.

Известно, что Перес, автор популярной в мире политической концепции «Новый Ближний Восток», является серьезным специалистом по многим проблемам этого района.

– Много было сказано и написано об отношении Солженицына к евреям и еврейской теме в его произведениях?

– Я понял, что он очень хотел и желает и сегодня написать книгу о взаимоотношениях русского и еврейского народа в революции и в период времени, предшествовавший ей. Это важно для него, важно для всех нас. Кажется, эта книга все же написана не будет, так он мне сказал, во всяком случае, и об этом можно только сожалеть. Мне показалось, что Солженицын находит и видит в евреях некий метафизический огромный заряд силы. Из этого и складывается и его отношение к нам. Добавлю, что он сказал мне, что с интересом читает тель-авивский литературный журнал «22», который издают новые репатрианты из России. Вы знакомы с этим изданием и его редакторами?

– Да, имею честь знать их. Это харьковский профессор физики Александр Воронель и его жена Нина, которые уже более 20 лет живут в Тель-Авиве.

– Надо им обязательно сообщить слова Солженицына – это важно очень, – сказал Шимон Перес.

– Обязательно сообщу, приложу для этого все усилия. Ваше знакомство с русской литературой, культурой, господин Перес, не ограничивается чтением книг Солженицына, не так ли?

– Я хорошо знаком с поэтами Евтушенко, Вознесенским. Писатель Анатолий Рыбаков обедал в моем доме в праздничный вечер. Я переводил прозу Набокова, которого считаю гением. К сожалению, сейчас у меня нет времени на литературную работу. И вообще, я понял, что не каждый может быть писателем, я, например, им быть не могу.

Я отметил, может быть, не совсем осознанные мужество и откровенность этих слов немолодого человека.

Пожилой, очень опытный и умный политик, каковым является Перес, так увидел Россию, так понял ее литературу и связь этой страны и ее литературы с еврейством, евреями и так далее. Так это видится на расстоянии, и многое из увиденного Пересом в России вызывает уважение к этому человеку. Но многое, очень многое и смущает во всем этом. Надо помнить, что Шимон Перес научился почти понимать эту далекую страну и ее литературных представителей самостоятельно, то есть, как мог, так и понял. Отметим этот интерес немолодого человека и его любопытство.

Вот отдельные отрывки из текста, написанного самим Шимоном Пересом после майского визита в Москву и памятных встреч там.

Еще до того, как даты моего визита в Москву были окончательно уточнены, у меня созрело решение познакомиться с настоящей подлинной Москвой, которая по моему глубочайшему убеждению находится в музеях и писательских кабинетах. Я бывал прежде в этом городе и должен сказать, что понимал всю ограниченность своего знакомства с культурной российской действительностью. Тем не менее, известная знаковая система и мое знакомство с мировой культурой позволяли сделать достаточно серьезные выводы относительно великой русской культурной традиции. Конечно же, это мое решение было связано с присутствием в этом городе и стране большой еврейской общины, которая, на мой взгляд, является носителем и проводником как той культуры, так и нашей на протяжении многих-многих лет. Эту мысль я подтверждаю тем фактом, что Библия и язык иврит вызывали не только огромное любопытство у великих представителей русской культуры, но и напрямую оказывали воздействие на их творчество...

Опуская описание визита Шимона Переса в Дом-музей Л. Н. Толстого как не имеющее отношения к прямой теме этих записок.

... После визита в музей Толстого, по моей настоятельной просьбе, я встретился с русским писателем Александром Солженицыным. Он просил, чтобы я приехал к нему без журналистов, телевизионщиков и без лишнего шума, и чтобы темой наших бесед не было бы творчество Александра Дюма. Солженицын в настоящее время не дает интервью, а все свое время посвящает творчеству: «У меня не осталось много времени, а я должен успеть сделать все задуманное». Так говорит Солженицын.

Писатель Солженицын живет в березовом лесу в часе езды от Москвы в просторном доме, обставленном очень просто. Нас встретила его жена, которая говорила свободно по-английски с тяжелым русским акцентом. Она сказала мне, что была очень рада оставить дом в Вермонте, где чувствовала себя и в одиночестве, и в эмиграции. Она предложила нам пирожные и печенье собственного изготовления, которые оказались замечательного вкуса. «Моя мама научила меня печь и готовить», – сказала эта женщина. Я нашел в себе мужество и силы отказаться от роскошного торта с кремом, который мне предложила хозяйка, сказав, что уверен в великолепных вкусовых качествах

его, но не могу позволить себе такого греха – отступления от диеты. И я не отступил от диеты. Жена Солженицына сказала, что ничего страшного не произойдет, и что все мы, так или иначе, грешим, и что грех диетический не самый большой из грехов.

Потом к нам вышел Солженицын, одетый в защитного цвета свитер и брюки. Он выглядел человеком суровым, мрачным, бескомпромиссным, не склонным к улыбке. Я заметил, что он, вообще, серьезен сверх меры. Через некоторое время лицо Солженицына, надо отметить, всё же смягчилось – знаменитое русское отношение к гостю, видимо, оказало свое влияние даже на этого сильного человека. Я сказал ему, что выглядит он хорошо, по-моему, и кажется здоровым. Солженицын тут же ответил, что я ошибаюсь, что состояние его здоровья плохое, и он абсолютно не знает, что принесет ему завтрашний день. Он никуда не ездит, не тратит времени зря и дома только пишет и пишет, пока жива его душа.

Когда мы сели за стол, Солженицын достал из кармана листок бумаги и сказал, что по предварительной договоренности наша беседа будет проходить на три заранее оговоренные темы (я, кстати, совершенно не помню о такой договоренности с ним, но возможно, во время моего предыдущего приезда в Москву я обсуждал темы возможной беседы с писателем вместе с его женой, но тогда Солженицын заболел и наша встреча не состоялась).

Вот темы, которые считал с бумажки Солженицын, о которых можно было говорить с ним: «Цивилизация и культура», «Мир и бедность», «Культура и религия».

Он тут же начал разговор и сказал, что сегодня существует соотношение между цивилизацией и культурой. По его мнению, процветание цивилизации означает отступление культуры. В XX веке культура сильно уступила своему уровню в предыдущие века. Больше того, современная цивилизация нанесла серьезный ущерб культуре и ее ценностям. Цивилизация не является главным и важнейшим фактором человеческого развития. Культурные впечатления много важнее для человека, по мнению Солженицына.

После этого Солженицын коснулся развития такого отрицательно-го явления второй половины XX века, как разрушение гуманизма. По мнению русского писателя, ахиллесовой пятой современного человека является невозможность обуздать свои страсти. Стремление разбогатеть любой ценой появляется, естественно, за счет не менее важных вещей, в частности, за счет стремления к благу своего ближнего. Гуманизм не раз противостоял злу и во многих случаях побеждал его. Гуманизм проиграл в стремлении человечества материально обогатиться...

– Мы много обсуждаем и занимаемся проблемами прав человека, – сказал Солженицын. – Меня беспрерывно приглашают на бесконечные конгрессы, обсуждающие эти темы. Некоторое время назад президент Чехии Вацлав Гавел просил меня выступить на конгрессе, посвященном правам человека. Я отказываю всем подобным просьбам и рекомендую организовывать конгрессы, которые обсудят «обязанности человека», а не права его. Потому что человек просто обязан обуздать себя.

Перес сказал, что обратил внимание Солженицына на место в книге «Архипелаг ГУЛАГ», которое произвело на него огромное впечатление. Это тот момент, когда герой выходит из тюрьмы на свободу и неожиданно видит зеркало после многолетнего заточения. Он совершенно забыл, как выглядит его лицо из-за отсутствия зеркала в тюрьме.

Я сказал Солженицыну, что эта сцена может подойти ко многим из нас. Мы живем без зеркала, которое отражает наши чувства. Возможно, зеркало видит нас лучше, чем мы видим себя в нем...

Относительно определения Солженицыным разницы между цивилизацией и культурой я заметил, что разница между этими понятиями состоит в том, что цивилизация – это образ жизни, это пища для тела, а культура – это вкус жизни, пища, которой питается душа, – пишет Перес. – Без этого понятия у жизни нет значения. Относительно прав человека я добавил, что существует только одно право, без которого нет жизни. Это право человека остаться в живых. Иногда это право отнимают у нас без возможности нашей самозащиты...

Среди прочего Солженицын сказал, что современное общество – это общество потребителей и потребления, общество огромных appetites, постоянно увеличивающихся, и постоянно увеличивающееся число разочарованных. Это концентрация денег в руках меньшинства и отсутствие денег у большинства...

Солженицын сказал, что он много знает о жизни новых репатриантов из России в Израиле, об их привычках и пристрастиях. По мнению писателя, культура и религия связаны между собой, и в некоторых моментах религия стоит выше культуры. Культуры не существует без веры, без веры нет духовных ценностей. Мы нуждаемся в Боге так же, как мы нуждаемся в человеческой душе и совести. Таково мнение Солженицына.

Перес ответил писателю, что он верит в Бога, который живет в сердце каждого человека. Оба собеседника согласились, что без Бога жизнь человечества будет очень бедной. Верующий много богаче человека неверующего.

Позволю себе здесь отступление от происходящей беседы двух знаменитых людей, двух лауреатов Нобелевских премий, правда, в различных областях, не соприкасающихся друг с другом, – отступление к припомнившейся мне, но имевшей место несколько ранее беседе тоже знаменитых людей, правда, не лауреатов, но тоже беседующих о Боге. Один из собеседников, писатель Варлам Тихонович Шаламов, записал в 1963 году*:

– Для Америки, – быстро и наставительно говорил мой новый знакомый, – герой должен быть религиозным. Там даже есть законы насчет этого, поэтому ни один книгоиздатель американский не

* Варлам Шаламов «Воспоминания», изд-во «Олимп», «Астрель», «АСТ», Москва, 2001.

возьмет ни одного переводного рассказа, где герой – атеист, или просто скептик, или сомневающийся... А сейчас я просмотрел бегло несколько Ваших рассказов. Нет нигде, чтобы герой был верующим. Поэтому, – мягко шелестел голос, – в Америку посылать этого не надо, но не только. Вот я хотел показать в «Новом мире» ваши «Очерки преступного мира». Там сказано, что взрыв преступности был связан с разгромом кулачества у нас в стране, – Александр Трифонович [Твардовский] не любит слова «кулак». Поэтому я всё, всё, что напоминает о кулаках, вычеркнул из Ваших рукописей, Варлам Тихонович, для пользы дела.

Небольшие пальчики моего нового знакомого быстро перебирали машинописные страницы.

– Я даже удивлен, как это Вы... И не верить в Бога!

– У меня нет потребности в такой гипотезе, как у Вольтера.

– Ну, после Вольтера была вторая мировая война.

– Тем более.

– Да дело даже не в Боге. Писатель должен говорить языком большой христианской культуры, всё равно – эллин он или иудей. Только тогда он может добиться успеха на Западе, – сказал Солженицын...

Но возвращаясь к прерванной беседе, к встрече лауреатов.

Одной из тем, которые затрагивались во время этой встречи были взаимоотношения России и еврейства. Должен сказать, что, прожив в Израиле почти 30 лет, я перестал понимать много про еврейскую тему. Эта тема, если не перестала для меня существовать, то определенно побледнела и смягчилась. Появились другие важнейшие темы, скажем, тема красноватого твердого иерусалимского камня и мягкого туфового бежевого цвета камня из тех же мест.

Александра же Исаевича Солженицына, вероятно, как человека, не живущего в Израиле, еврейская тема занимает очень. И уже много лет занимает его этот вопрос, так мне кажется. И поэтому он сказал, что в еврейском народе заложены неограниченные метафизические силы. Он неоднократно думал сам написать книгу об отношениях между русским народом и еврейским народом и их совместном участии в революции. Солженицын сделал комплимент Пересу, сказав, что он с огромным уважением относится к его деятельности во имя и во благо мира, и назвал его человеком, который просто не умеет разочаровываться. По пронизательному мнению Солженицына, необходимо найти компромисс в спорных вопросах между народами. Он пожелал Пересу успеха в борьбе за мир и в заключение встречи сказал, что сегодня не пишет о настоящем времени.

«Моя жизнь посвящена описанию различных стадий революции, которую хочу охватить как можно шире», – заявил писатель Солженицын. Он еще раз подчеркнул, что идея книги об отношениях евреев и русских по-прежнему существует, так как без понимания этого вопроса невозможно понять революционные процессы в России. Но, по всей вероятности, осуществить, то есть написать книгу на такую тему, будет сейчас невозможно.

«Это было в воскресенье, – пишет Перес, – незабываемый и неповторимый для меня день. Потом я вернулся домой к нашей суетной жизни, наполненной непрестанными поисками мира и путей к нему»...

Через две недели после нашей встречи с Пересом в Москве вышла новая книга Солженицына. Она была в голубой твердой обложке и посвящена отношениям русских и евреев. Прочитав эту книгу, я обратился в канцелярию министра иностранных дел Пересу с просьбой о короткой встрече. Мне нужно было разъяснить для себя кое-какие вопросы в связи выходом в свет книги Солженицына. Референту Переса я сказал, что после прочтения новой книги Солженицына у меня возникло несколько вопросов к господину министру. «Я выясню у него и вернусь к вам с ответом», – сказал мне референт. Кажется, он был удивлен моим звонком, но наверняка я этого утверждать не могу.

Через пару дней референт перезвонил и сказал, что министр может меня принять в следующий вторник в 7 вечера в своей канцелярии в Иерусалиме. «Я вам признателен, уважаемый референт», – сказал я ему. «Я, к сожалению, не смогу быть с вами, но уверен, что всё будет хорошо и так», – сказал он. Я тоже выразил надежду, что всё будет хорошо на этой встрече.

На этой встрече всё было хорошо.

– Я еще не читал книги Солженицына, так как она не переведена пока на другие языки. Мое знание русского не позволяет мне читать Солженицына в подлиннике, – сказал Перес.

Женщина-секретарь принесла нам по баночке кока-колы и два бокала.

– Всё-таки вас не удивил тот факт, что Солженицын издал такую книгу, хотя утверждал в разговоре с вами, что даже писать на эту тему, по всей вероятности, не будет? – спросил я министра.

– У каждого человека есть свои взаимоотношения, как с ближайшими, так и с дальними своими планами, это его полное право, он имеет право на неточность, – сказал Перес почти добродушно. Он ничему не удивлялся – удивления в его голосе не было. – А что вы сами скажете об этой книге Солженицына, господин журналист?

– Мне трудно сказать, что я являюсь большим поклонником этого произведения русского писателя, меня, помимо прочего, смущают некоторые интонации автора, когда он говорит о тех или иных трагических событиях русско-еврейской истории. Эти интонации Солженицына мне кажутся крайне тенденциозными, опасными, – сказал я.

– Писатель, большой писатель, всегда тенденциозен в той или иной мере, недостатков в его позиции я не усматриваю, – сказал Перес. Он не поучал меня нисколько, этого у него не было. Он сказал правильно, но в данном случае я не мог с ним согласиться. Интонации солженицынской книги, да и факты, изложенные автором, по газетным цитатам того времени, в некоторых местах вызывали у читателя, которым был я, чувства почти ужаса и стыда. Причем, стыдно было и за себя, потому что необходимость понимания второго, и совсем не тайного, смысла написанного писателем Солженицыным, была унижительной для меня. Об этом я и сказал министру иностранных

дел. Тот подумал, посмотрел на меня своими широко раскрытыми глазами бодрой и сильной птицы, летящей через широкую реку, предположительно Днепр, и сказал:

– Я думаю, что у Солженицына есть полное право сказать и о евреях свою правду, после того, как он сказал вслух всю нелицеприятную правду о русских.

– Вам не кажется, господин Перес, что, начав заниматься этнографией, историей, политикой, социологией, писатель оставляет литературу? Или это утверждение неверно?

– Неверно, – сказал Перес после небольшой паузы, ответы его были, казалось, заготовлены заранее. Вообще мне почудилось, что его нельзя поставить в сложное положение никакими самыми сложными вопросами. – Всё это очень индивидуально. У одного писателя получается так, а у другого перестает получаться. Не стоит обобщать.

– Я согласен с Вами, господин министр, – мне очень не хотелось его огорчать, и получалось, что это сделать просто невозможно. – Скажите, пожалуйста, господин министр, вы, кажется, скоро едете в Россию по государственным делам нашей страны?

– Да, – сказал Перес четко.

– Вы не намерены в Москве встретиться еще раз с Солженицыным?

– Если состояние его здоровья позволит провести эту встречу, то я буду очень рад поговорить с ним еще раз. Даже на ограниченный круг тем. Неужели вы возражаете против нашего разговора, разве такое возможно, господин журналист? – сказал Перес.

Он улыбался, будучи совершенно неуязвим в своей любви к русской литературе. Я нашел известное сходство, чисто внешнее, между двумя этими людьми, Солженицыным и Пересом. И сам удивился своей странной находке.

– Нет, что вы, господин министр. Кто я такой, чтобы возражать. Я очень рад, если мне позволительна радость в данном случае, вашему внимательному интересу к литературе вообще и русской литературе, в частности. И, конечно же, вашему интересу к выдающимся представителям этого традиционного русского занятия, – сказал я Пересу.

Его лицо не выражало никаких особых чувств. Он поднялся и пожал мне руку в знак того, что на сегодня мое время получения ответов на любые вопросы истекло.

Михаил ХЕЙФЕЦ. «СУД НАД ИИСУСОМ» – Иерусалим – Москва, «ДААТ / ЗНАНИЕ» 2000.

Евангельские сюжеты рассказывают о молодом, талантливом и бескомпромиссном законоучителе, осужденном и казненном римскими оккупантами. Однако, по мнению евангелистов, виновником его гибели стало, прежде всего, еврейское руководство подвластной Риму Иудеи – Синедрион. С распространением христианства его апологеты начинают изображать чуть ли не всех евреев как неких отверженных богоубийц. В результате само греческое имя еврейского рабби – Иисус – становится символом наших бедствий и на долгие века изгоняется из еврейской традиции. Лишь в XX веке началась переоценка роли Иешуа из Нацерета в еврейской истории. Новый еврейский взгляд на события двухтысячелетней давности стал известен русскоязычному читателю только в начале 90-х годов после перевода на русский язык книги Давида Флюссера «Иисус». А в 1997 году в Иерусалиме вышло в свет сенсационное исследование Хайма Козна «Иисус – суд и распятие».

В своем историческом очерке Михаил Хейфец рассматривает не только книги Флюссера и Козна, но также и сведения из Талмуда и мидрашей. Собственно, героями его книги оказываются сами книги, вернее, идеи высказанные их авторами. Свое повествование Хейфец строит как новое судебное расследование, выбирая для себя роль судьи и предлагая читателям функции присяжных заседателей.

Профессор Иерусалимского университета Давид Флюссер с молодых лет занимался изучением Кумранских свитков. Эта работа дала историку уникальные сведения о деятельности различных иудейских религиозных группировок конца периода Второго Храма. В 60-е – 70-е годы он пишет свои основные труды, в которых излагает идеи об иудейском происхождении учения Иешуа из Нацерета.

Почему же в контексте «судебного разбирательства», затеянного Михаилом Хейфецом, именно Флюссеру отводится роль эксперта? Дело в том, что иерусалимский профессор принадлежит к той части израильского общества, которая соблюдает религиозные заповеди. Его методологический анализ древних текстов опирается, таким образом, не только на многовековую традицию, но и на повседневную практику.

Проанализировав Евангелия, Флюссер приходит к выводу о том, что Иешуа никогда не нарушал норм современного ему еврейского Закона. Вместе с тем, Флюссер доказывает, что слова и поступки Иешуа не представляли опасности и для римских властей. Но если рабби ни в чем не виноват ни перед иудейским Законом, ни перед законодательством Рима, кто же тогда мог посягнуть на его жизнь? Израильский историк считает, что в гибели Иешуа повинны те, кого он называет «храмовой» или «культовой» бюрократией. Храм в ту пору считался оплотом саддукеев, «элитной еврейской группировки», как называет ее Хейфец, которая старалась всеми средствами предотвратить народное восстание, грозившее нации новой катастрофой. Для этой цели они не брезговали и сотрудничеством с оккупационными властями. В проповедях Иешуа «храмовая бюрократия» видела, пре-

жде всего, подстрекательство и провокацию, которые грозили лишить ее последних полномочий – контроля над Храмовой службой. Слухи о том, что Иешуа говорит о каком-то новом нерукотворном храме, вероятно, стали для них сигналом к действию, и они обратились за помощью к прокуратору Иудеи Понтию Пилату. «Римляне ревностно заботились об охране культовых сооружений на территории империи, – пишет Флюссер, – стало быть, в их задачу входило и избавление первосвященников от возмутителей спокойствия».

Как указывает Хейфец, «Флюссер... поворачивает привычные стереотипы жизни Иешуа в новых ракурсах... Для него рабби Иешуа из Нацерета был одним из великих сынов народа, чья судьба оказалась трагически отторгнутой от еврейства...»

С самого рождения еврейского государства Хаим Козн занимал высокие посты в судебной системе: был государственным прокурором, юридическим советником правительства, министром юстиции, а в 60-е годы – членом Комиссии ООН по правам человека, а затем членом Международного суда в Гааге. Много лет назад молодого в ту пору адвоката вызвал председатель Верховного суда Израиля и дал экстраординарное поручение: рассмотреть вопрос о возможности формальной реабилитации осужденного почти две тысячи лет назад рабби Иешуа из Нацерета. На эту работу ушло почти двадцать лет. Ведь только за последний век вышло в свет около 60 тысяч книг, посвященных жизни и смерти Иешуа. При этом юриста поразило странное обстоятельство: среди всей этой массы литературы анализ судебного процесса практически отсутствовал. И это несмотря на феноменальную значимость судебного решения по данному делу для будущего всего человечества!

При рассмотрении дела Иешуа Козн объявляет себя адвокатом одной из сторон, а именно, евреев: фарисеев, Синедриона. Он, по словам Хейфеца, «подвергает евангелистов перекрестному допросу, заранее настроенный на то, что показания свидетеля обвинения могут содержать путаницу, неточности, присущие человеческому взору».

Козн со всей тщательностью проверил версию беспрецедентного заседания Синедриона, описанного в Евангелиях, собравшегося в нарушение всех существовавших норм еврейского Закона: вне особого помещения!.. ночью!.. в канун праздника Песах!.. «Мы убеждены, – пишет Козн, – что лишь одна причина могла побудить первосвященника созвать ночное заседание Синедриона у себя дома и заставить полный его состав явиться на этот беспрецедентный созыв: еврейское руководство было крайне заинтересованно предотвратить римлянами казнь еврея, столь популярного, как Иисус».

Юрист Козн приходит к неожиданному выводу: Иешуа не был и не мог быть осужден по еврейскому праву и, соответственно, реабилитации в рамках еврейской юрисдикции не подлежит; по римскому же праву – несомненно, виновен и наказан в соответствии с действовавшим законодательством.

Михаил Хейфец имеет все основания участвовать в пересмотре дела Иешуа из Нацерета не только как историк, но и как человек, не понаслышке знакомый с тоталитарной судебной системой. В 1974

году за написание предисловия к самиздатовскому собранию сочинений Иосифа Бродского он был осужден на 4 года лагерей и 2 года ссылки. Именно личный опыт позволяет ему отвечать на «неудобные» вопросы истории так, как этого не смогли бы сделать самые изощренные теоретики. Вот один из таких вопросов: почему Пилат согласился отдать Иешуа Синедриону на одну только ночь – до утра, до суда? «По моему, М. Хейфеца, жизненному опыту ответ может быть таким: Пилат почему-то был заинтересован, чтобы в ночь, предшествовавшую суду, подсудимый подвергся предварительной обработке самых авторитетных, «своих», евреев, входивших в состав Верховного суда и постоянно поддерживавших контакты с римской оккупационной властью».

Неотразимая логика выдающегося юриста, каким, несомненно, является Хаим Коэн для политзэка Хейфеца, конечно же, является серьезным просчетом в судебном расследовании, ибо он знает, что именно отсутствие логики часто свидетельствует о подлинности показаний свидетелей. Исследуя доказательства Коэна, Хейфец переводит суть дела в совершенно иную плоскость. Раз еврейское руководство «обрабатывало» Иешуа в поисках к спасению, значит, он мог спастись. «Надо было – всего лишь – отречься... Я как человек не-юридический исполнен... восхищения перед верностью древнего диссидента своему предназначению, отказом купить себе жизнь и свободу лживым покаянием...». Бывший российский правозащитник подписывает оправдательный вердикт коллеге-диссиденту, своему соотечественнику, жившему две тысячи лет назад. Неисповедима логика истории!

Леонид Гомберг

Яков ПАПИАШВИЛИ. «ДВЕ КАРТИНКИ ИЗ ЖИЗНИ ГОСТИНИЦЫ “ГАГРИПШИ”» – Холон, «МОРИЯ», 1999.

Профессиональный литератор, издавший шесть книг стихов и прозы на грузинском языке, Яков Папиашвили написал новый роман уже в Израиле. Книгу о том трагическом хаосе, в который была ввергнута Грузия. В новом произведении автора присутствуют трогательная сурдобольность и гордый дух, роднящие грузин с израильтянами. Яков Папиашвили любит Грузию и любит Израиль. Его произведения демонстрируют и глубокое знакомство с многовековой историей еврейского народа.

В прозе писателя много поэзии. Иногда она похожа на звук шофара, когда мелодия становится уже не музыкой, а трепетом, и звучит, проникая в самые дальние уголки сердца.

Герои романа уверяют читателя, что летать – можно научить кого угодно. Летать даже после того, как проснешься.

Леонид Финкель

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Поэтическое творчество Александра Галича до недавнего времени находилось как бы в тени его гражданской деятельности. Фигуру Поэта многие рассматривали в первую очередь с точки зрения его сопротивления режиму. Даже в российские школьные учебники Галич вошёл скорее как личность историческая – как один из зачинателей движения неподцензурной авторской песни. И только в последние годы стали появляться научные статьи, посвящённые его поэзии, публикации библиографического характера, начали выходить книги о различных аспектах творческой лаборатории Поэта. Силами Музея Владимира Высоцкого в Москве подготовлен и издан сборник «Галич. Проблемы поэтики и текстологии», куда вошли работы учёных Московского, Тверского, Тюменского, Калининградского университетов, Коломенского пединститута и других вузов. Однако информации биографического характера о Галиче учёным по-прежнему не хватает.

Круг его общения был чрезвычайно велик. Он был знаком и дружил со многими писателями и актёрами, физиками и режиссёрами, инженерами и врачами... По роду своей профессии драматурга бывал во многих городах СССР, жил в Норвегии, Германии, Франции, ездил с концертами по странам Европы, в США и Израиль. И везде жадно знакомился с людьми.

Наша обязанность – собрать воспоминания всех, кто хоть однажды встречался с Поэтом. Пусть это будут письменные мемуары или рассказы, записанные на плёнку. Итогом этой работы станет книга «Александр Галич в воспоминаниях современников», которая уже собирается. Мы обращаемся к читателям «Иерусалимского журнала» с просьбой откликнуться и поделиться тем, что запомнилось, рассказать о людях, которые знали Галича, но из скромности считают свои воспоминания не заслуживающими внимания, и тогда мы сами обратимся к ним. Ведь исследователю важна любая деталь. Незначительный, на первый взгляд, бытовой штрих может, в совокупности с другими, помочь уточнить дату написания стихов, прояснить смысл непонятной строчки, восстановить неизвестную деталь биографии поэта, установить прототип его произведения.

Нам известно, что в Израиле проживает Исая Авербух, которому посвящено одно из стихотворений Галича; здесь же теряются следы родных близкого друга Александра Аркадьевича – Владимира Соколовского, его друзей Емельяновых...

Помогите нам найти их и других людей, о которых нам не известно!

Мы также будем рады, если вы сообщите нам о научных, мемуарных и прочих публикациях о Галиче, поделитесь магнитофонными записями, привезёнными из России или сделанными в Израиле.

Андрей Крылов, Москва

Воспоминания, записи и другие материалы для А. Крылова, известного исследователя творчества В. Высоцкого и А. Галича, можно присылать на адрес редакции.

ШАТЕР КНИГИ

Книги на русском языке, вышедшие в Израиле в 2000 году¹

Войтовецкий Илья. Личное. [Стихи]. – Беэр-Шева: издание автора. – 128 с. Тел. 972-7-6432807.

Гехтман Вера. Свои права надо знать [Вопросы и ответы]. – Хайфа: Alex&Nicoing – 80 с. Тел. 972-4-8773906; 972-4-8664747.

Горт Вера. Псалмы царя Давида, жреца Асафа, трех Кораховых сыновей-певцов, Моше-пророка, царя Шломо, Эйтана-мудреца... [Переводы с иврита]. – Иерусалим: Glorivos – Москва: Эра. – 536 с. Тел. 972-4-9841095.

Лазарис Владимир. Три женщины. [Документальная проза]. – Тель-Авив: Ладос. – 620 с. Тел. 972-3-6888490.

Наталья Эттингер. Портреты сухой кистью. [Проза]. – Иерусалим: Alphabet. 264 с. Тел. 972-2-6242949.

Книги на русском языке, вышедшие в Израиле в 2001 году²

Беззубов Геннадий. Вместо дружеских писем. Стихи. [Художник Нехемия Беззубов]. – Иерусалим: Швиль. – 72 с. Тел. 02-6235185.

Бокштейн Илья. Быть я любимым хотел. *Библиотека Иерусалимского журнала.* [Стихи]. – Иерусалим: Скопус. – 98 с. Тел. 972-4-8754206.

Владимирова Лия. Заметы сердца. [Три эссе о творчестве поэта Якова Хромченко]. – Иерусалим: Скопус. – 72 с. Тел. 972-9-8351665.

Зайчик Марк. Жизнь Бегина. Свидетельства и описание. – Иерусалим: Центр наследия Менахема Бегина. – 328 с. Тел. 02-5326738.

Кац Валерий. «...плюс эмиграция». [Рассказы]. Москва – Иерусалим: Гешарим. – 232 с. Тел. 972-2-9931194.

Лазарева Вера. На волнах судьбы. [Стихи и поэмы]. – Хайфа: SM Alex – 198 с. Тел. 972-4-8773906, 972-4-8664747.

Ориентация на местности. Русско-израильская литература 90-х годов. [Антология. Стихи и проза]. – Иерусалим: Ассоциация по изучению еврейских общин – Библиотека-Алия. – 336 с. Тел. 972-2-5660529.

Резников Алекс & Со. Застолье с поэтами. [Ученые записки кафедры гурманологии Иерусалимского кулинарного техникума им. Алика Шохата]. – Иерусалим: издание автора. – 104 с. Тел. 972-2-6418498.

Свирский Владимир. Филологический детектив. [Повесть, пьеса, очерки]. – Иерусалим: Скопус. – 224 с. Тел. 972-4-6040561.

Заказать книги можно, связавшись с авторами или издателями.

Издатели и авторы, желающие опубликовать в «Иерусалимском журнале» информацию о вышедших книгах, могут прислать эти сведения в редакцию.

¹ Начало списка см. в №№ 7–8 «Иерусалимского журнала».

Список книг, вышедших на русском языке в Израиле в 1998 году, опубликован в №№ 1–3 «Иерусалимского журнала»; в 1999 году – №№ 4–8.

² Продолжение списка – в следующем номере.

АХАД-А-АМ (псевдоним, в переводе с иврита – «один из народа»; наст. имя **Ашер Гирш Гинцберг**; 1856, Сквир, Украина – 1927, Тель-Авив), писатель и философ, проповедовал теорию «духовного сионизма». В 1884 поселился в Одессе и вступил в группу *Ховевей Цион*. В 1889 основал орден «*Бней Моше*», проводивший воспитательную работу, которая, по мнению его сторонников, должна была привести к более сознательной деятельности по заселению Палестины. Побывав здесь в 1891 и 1893 годах, выступил с острой критикой духовной жизни еврейских поселений. В 1896 возглавил изд-во «*Ахиасаф*» и журнал «*А-Шилоах*». Указывал на отчужденность сионистского руководства от еврейских духовных ценностей. После посещения Палестины в 1900 году, критиковал барона Ротшильда за диктаторскую систему опеки еврейских поселений. В 1907 году переехал в Лондон, а в 1922 окончательно переселился в Палестину. Здесь выпустил (в 1922–1925) шеститомное издание своих писем и работал над мемуарами. Считал идеалом иудаизма «принцип абсолютной справедливости».

В Иерусалиме его именем названа улица в районе Рехавия.

Хаим (Виктор) АРЛОЗОРОВ (1899, Ромны – 1933, Тель-Авив). Один из руководителей сионистского рабочего движения. По окончании Берлинского университета (1924) поселился в Палестине, в 1930 после создания *Мапай* (Израильская партия труда) стал одним из ее лидеров. В 1933 участвовал в организации массовой алии из Германии. В убийстве **Х. А.** были обвинены члены партии ревизионистов, которые, однако, были оправданы судом. Сторонники Жаботинского всегда утверждали, что обвинение было сфабриковано активистами рабочего движения.

В Иерусалиме именем **Х. А.** названа улица в центре города.

Геннадий БЕЗЗУБОВ родился в Москве в 1946 году. Жил также в Киеве и Ленинграде. Репатриировался в 1990 году. Автор книг стихов «Амнистия слова» (1992), «Случайный свидетель» (1997), «Вместо дружеских писем» (2001). Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликованы подборка его стихов (№ 2) и рецензия на книгу стихов Александра Верника (№ 3).

Ицхак БЕН-ЦВИ (наст. фам. **Шимшелевич**, 1884, Полтава – 1963, Тель-Авив), второй президент Государства Израиль (1952–1963). Один из основателей еврейской социал-демократической партии *Поалей Цион*. В 1907 поселился в Палестине. Один из основателей журнала «*Ахдут*» (1910) и социалистической партии *Ахдут а-авода*. Один из первых добровольцев Еврейского легиона (1918). Член Ва'ад Леуми со дня основания (1920) этого исполнительного и представительского органа еврейского населения подмандатной Палестины, с 1931 года – его председатель, с 1945 года – президент.

В Иерусалиме его именем назван проспект в центре города.

Илья БОКШТЕЙН (1937, Москва – 1999, Тель-Авив). Жил в Москве. В 1961 году был заключен на 5 лет в лагерь (Потьма, Мордовия). С 1972 года жил в Тель-Авиве. По его словам, «ничем, кроме сочинительства, не занимался». В Израиле вышла книга «Блики волны» (Мория, 1986). Около 50 публикаций в альманахах, журналах и газетах Израиля и других стран («Время и мы», «22», «Круг», «Алеф» и т. д.) Стихи включены в антологии русской поэзии «Гнозис» (1982), «У Голубой Лагуны» (1984), «Мулета» (1985), «Окфордская» (1985 и 1990), «Поэт – Поэту» (1998). В «ИЖ» опубликованы его стихи (№ 3), переводы из Гейне (№ 5) статьи и заметки о нем – Леонида Финкеля (№№ 2, 3); Александра Верника (№ 3); Валерия Коренблита и Мины Лейн (№ 5).

Дов Бер БОРОХОВ (1881, Золотоноша, Полтавской губ. – 1917, Киев), один из идеологов и лидеров социалистического сионизма. В 1901 году основал Сионистский социалистический рабочий союз в Екатеринославе. Один из основателей движения, позже (1906) – еврейской социал-демократической партии *Поалей-Цион*. В Иерусалиме его именем названа улица в районе Кирьят-Ювель.

Валентина БРИО родилась в Витебске, много лет жила в Вильнюсе. Репатриировалась в 1990 году. Филолог, автор статей по истории русской и польской литературы и еврейской культуры Вильно. Сотрудник кафедры славистики Еврейского университета. Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликованы ее рецензии на сборник «Быть евреем в России» (№ 2), книгу Льва Лившица «Вопреки времени» (№ 5) и книгу Вениамина Клецеля и Зинаиды Палвановой «Иерусалимские картинки» (№ 8).

Иосиф БРОДСКИЙ (1940, Ленинград – 1996, Нью-Йорк) – поэт, лауреат Нобелевской премии (1987). В «ИЖ» опубликованы воспоминания о нем Эстер Вейнгер (№ 2) и Ефима Котляра (№ 6).

Александр ВЕРНИК родился в Харькове в 1947 году. Автор поэтических книг «Биография» (1987), «Зимние сборы» (1991), «Сад над бездной» (1999). Репатриировался в 1978 году. Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» № 3 опубликованы его заметки об Илье Бокштейне.

Давид ВОЛЬФСОН (1856, Дорбяны Ковенской губ. – 1914, Гамбург, Германия), соратник Герцля и его преемник на посту президента Всемирной сионистской организации до 1911 года. Прототип Давида Литвака – героя книги Герцля «Альтнойланд». По предложению Д. В. сионистское движение приняло бело-голубое знамя, ставшее со временем государственным флагом Израиля, и термин *шекель* для обозначения членских взносов. Руководитель Еврейского колониального банка. На средства, завещанные Д. В., построено старое здание Национальной и университетской библиотеки в Иерусалиме. Его именем названа улица в центре города.

Леонид ГОМБЕРГ родился в 1948 году в Москве. Закончил филфак МГУ. Репатриировался в 1991 году. Был главным редактором российско-израильского литературного альманаха «Перекресток – Цомет», обозревателем газеты «Москва – Иерусалим», ответственным секретарем «Международной еврейской газеты». Печатался в журналах «Знамя», «Литературное обозрение», «Время и мы» и др. Автор четырех книг прозы, изданных в Москве и Тель-Авиве, последняя – «От Эдена до Вавилона» (2001). В настоящее время живет в Москве. Член редколлегии газеты «Вестник ЕАР».

Марк ЗАЙЧИК родился в 1947 году в Ленинграде. Репатриировался в 1973 году. Автор книг «Феномен» (1985), «Сделано в СССР» (1988), «Иерусалимские рассказы» (1996), «Новый сын» (1999), «Жизнь Бегина» (2001). Редактор еженедельного приложения «Окна» к газете «Вести». Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» № 2 опубликованы его рассказы «Долг Карабаса» и «Навык и память».

Людвиг Лазарь ЗАМЕНГОФ (1859, Белосток – 1917, Варшава), врач-окулист и ученый-лингвист, создатель международного языка эсперанто. Перевел с иврита на эсперанто фрагменты ТАНАХа, издал на иврите учебник эсперанто. Один из первых членов *Ховевей Цион* [«Любящие Сион»] – движения, предшествовавшего политическому сионизму). Философские взгляды изложил в брошюре «О гилелизме» (1901). Решение «еврейского вопроса» видел в реформе иудаизма и превращении его в этический монотеизм, базирующийся на законе любви к ближнему. В Иерусалиме его именем названа улица в центре города, недалеко от парка Независимости.

Рав Ицхак ЗИЛЬБЕР родился в Казани в 1917 году. Сын раввина, получивший «подпольно» традиционно еврейское воспитание, рав Ицхак приехал в Израиль, когда ему было уже за пятьдесят. За его плечами – детство без обязательной для каждого советского ребенка учебы в школе; слесарная мастерская, рабфак, университет, работа учителем математики, война, лагеря, противостояние внешнему нажиму и вера в поддержку Всевышнего. Живет в Иерусалиме.

Рав И. З.: «Все, сказанное в Торе, касается каждого из нас».

Зоя КОПЕЛЬМАН родилась в Москве, окончила МИЭМ. Девять лет провела «в отказе». В Иерусалиме живет с 1987 года, здесь окончила Еврейский Университет по специальности «Ивритская литература» и занимается исследованиями в этой области, преподает. Составитель книги «В. Ходасевич. Из еврейских поэтов» (Москва – Иерусалим, 1998).

З. К. подготовила к публикации в «ИЖ» фрагмент из романа Фриды Каплан «Поколение пустыни» (№ 5). В ее переводе опубликованы рассказы Иегуды Амихая, Биньямина Таммуза (№ 7) и Шмуэля Йосефа Агнона (№ 8).

Александр ЛАЙКО родился в 1938 году в Москве, где жил до 1990 года. Автор книг стихов «Анапские строфы» (1993) и «Московские жанры» (1999). Стихи включены в антологию «Самиздат века» (1997). Живет в Берлине. Редактор альманаха «Студия».

В «ИЖ» № 2 опубликована подборка его стихов «На Brusendorfer музыка играет».

Виктор ПАНЭ родился в 1954 году в Сибири. Потом была прописка кишиневская и московская. Автор 15 рассказов, пяти стихотворений и трех повестей. С 1990 года живет в Иерусалиме.

Сара ПОГРЕБ родилась и жила на Украине. Репатриировалась в 1990 году. Автор поэтических сборников: «Я домолчалась до стихов», (Москва, 1991) и «Под оком небосвода», (Тель-Авив, 1996). Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля (1997). Живет в Ариэле. В «ИЖ» № 2 опубликована подборка ее стихов «Не годы, но мгновения».

Михаил ПРОБАТОВ родился в Москве в 1946 году. Учился в МГПИ им. Ленина и Литературном институте им. Горького – оба раза бросил. Профессия – рабочий, 35 лет стажа. Проза публиковалась в журналах «Новый мир», «Москва» и др. Репатриировался в 2000 году. Живет в Иерусалиме.

Владимир ХАЗАН родился в 1952 году в Минске. Репатриировался в 1992 году. Сотрудник Еврейского университета. Автор научных публикаций и книг, в том числе: «Тема смерти в лирических циклах русских поэтов XX века» (1988); «Ахматова, Мандельштам: набросок к диалогу» (1992). Составитель двухтомника Довида Кнута, (1997 – 1998). Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» № 2 опубликовал со своими комментариями переписку Якова Рабиновича и Иссахара Йозеля.

Сусанна ЧЕРНОБРОВА родом из Риги. Репатриировалась в 1991 году. Автор поэтического сборника «На правах рукописи» (1997). Живет в Иерусалиме. Художник «Иерусалимского журнала».

В «ИЖ» опубликованы подборка ее стихов «Пустыня и море» и эссе о художниках Исраэле Малере (№ 2) и Моше Гимейне (№ 5).

Светлана ШЕНБРУНН родилась в Москве. Училась на Высших сценарных курсах. Репатриировалась в 1975 году. Автор книг прозы «Декабрьские сны» (1990), «Искусство слепого кино», (1997) и романа «Розы и хризантемы» (2000), вошедшего в финальную шестерку номинантов Букеровской премии. Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля (2001). Живет в Гиват-Зеэве.

В «ИЖ» опубликованы ее переводы из Авидора Шахана (№ 1), Шмуэля Йосефа Агнона (№№ 2, 5), Иеудит Кацир (№ 4) и Дана Орьяна (№ 7), а также первая часть повести «Пилюли счастья» (№ 5).

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОТИКАН

Гершон Шофман¹ родился 28 февраля 1880 г. в городе Орша, Белоруссия. Его отец, хасид-хабадник, был меламедом. Старший брат Моше познакомил Г. Шофмана с еврейской и русской литературой, и позднее переписка между ними положила начало его писательскому творчеству. Г. Шофман учился в хедере и ешиве, но в 13 лет прервал занятия, чтобы зарабатывать на жизнь и помогать семье. В 19 лет Шофман написал первые пять рассказов, герой которых – «лишний человек», юноша, сомневающийся во всех истинах, которые предъявляют ему еврейская традиция и местечко. В 1901 году Шофман прибыл в Варшаву с намерением войти в круг тамошних еврейских писателей и опубликовать свои сочинения. Первая книга Шофмана «Рассказы и зарисовки» (1902) выдвинула его в число лучших молодых ивритских прозаиков, наряду с Й. Х. Бренером² и У. Н. Гнесиным³.

В 1902 – 1904 гг. Шофман служил в русской армии в Гомеле, где свел знакомство с еврейскими интеллектуалами города и подружился с Гнесиным, Анохи⁴ и Цейтлиным⁵. Армейская служба, как, впрочем, и последующие значимые события в его жизни, скрупулезно отражены в его творчестве. С началом русско-японской войны Шофман дезертировал из армии и, перейдя границу принадлежавшей тогда Австро-Венгрии Галиции, обосновался в Лемберге (Львове). Там он писал прозу и стихи, занимался переводами и редактурой, участвовал в

¹ Биографические сведения почерпнуты из опубликованной на иврите замечательной книги Нурит Говрин «От края и до края горизонта» [Г. Шофман, его жизнь и творчество. В 2-х тт. 1982].

² Йосеф Хаим Бренер (1881, Новые Млины – 1921, Яффа) – ивритский прозаик, страстный подвижник литературы на иврите, редактор ряда периодических изданий, толстовец, «больная совесть» современной ивритской словесности. Погиб от руки арабских погромщиков.

³ Ури Нисан Гнесин (1881, Стародуб – 1913, Варшава) – ивритский писатель, переводчик, первый на иврите прозаик-импрессионист, применивший «поток сознания». Центральная тема его творчества – экзистенциальная неспособность к поступку отошедшего от еврейской общины и не обретшего новой почвы еврейского интеллигента. Почти всю жизнь бедствовал и умер от болезни сердца вследствие многолетнего недоедания. Шофман, Бренер и Гнесин были близкими друзьями, но в определенный момент их жизненные пути разошлись. См. их произведения в кн.: Антология ивритской литературы. М. 1999, 2000.

⁴ Залман Ицхак Анохи (1878, м. Ляды Могилевской губ. – 1947, Тель-Авив) – еврейский литератор, писал на идише и на иврите, много странствовал по городам России, Европы, Америки, выступая перед еврейской публикой со своими литературными монологами.

⁵ Гиллель Цейтлин (1871, м. Корна Могилевской губ. – 1942, Трешлинка) – еврейский публицист, мыслитель, эссеист, в т.ч. на религиозно-философские темы, писал на идише и на иврите.

полемике о характере ивритской литературы на стороне «молодых авторов», где главный голос принадлежал М. Й. Бердичевскому, против «стариков» во главе с Ахад-а-Амом. В 1908 г. он снимал квартиру вместе с Бренером, и их тесное общение кончилось ссорой. В итоге Бренер уехал в Эрец-Исраэль, а Шофман оставался в Лемберге до 1913 г. Для его прозы тех лет характерен интерес к эротике, к детальной проработке женских образов, а действие рассказов часто происходит в публичном доме «на окраине большого города», что по тем временам было несомненным новаторством и требовало отваги¹. Именно в тот период сформировались авторское видение Шофмана и его особая повествовательная манера, для которой характерны саркастический юмор, любование силой и красотой, несентиментальное отношение к жизни и известное безразличие к общественной морали.

Годы первой мировой войны Шофман провел в Вене и крайне нуждался. В 1920 г. он женился на женщине из крестьянской семьи, австриячке Анне Планк, что определило его длительное пребывание в Европе (годы 1921 – 1938 были прожиты ими в деревушке Вецельсдорф, вблизи Граца) и интерес к проблеме взаимоотношений евреев и неевреев. Уже в начале 1920-х гг. он отметил крайнюю жестокость в крестьянской среде и связал ее с быстро распространявшимся там нацизмом. Все те годы Шофман публиковал в ивритских журналах рассказы и эссе, вел активную переписку с еврейскими писателями, в том числе и в Эрец-Исраэль. Верный принципу зарабатывать только литературным трудом, Шофман жил на грани нищеты. Семье удалось бежать из Австрии буквально в последний момент, уже после аншлюса, и в июле 1938 года они прибыли в Палестину.

В Израиле Шофман прожил 34 года: сначала – в Тель-Авиве, а с 1954 – в Хайфе. Он печатал рассказы и очерки, как правило, в постоянных газетных рубриках, сначала в «Давар», затем в «Едиот ахаронот». Здесь он тоже черпал из окружающей жизни, например, из будней сельскохозяйственных поселений Изрезльской долины, где побывал, однако в его рассказах чувствуется отчужденность стороннего наблюдателя, и их воздействие на читателя слабее. Рассказы Шофмана становятся все короче – от нескольких страниц до одной страницы и дальше, пока от них, практически, ничего не остается. Так родился жанр эпиграмматической зарисовки в один-два коротких абзаца (он называл их «искорками»): четко сформулированная мысль и некая мораль.

В Израиле к Шофману относились как к одному из последних моголан поколения ивритских литераторов начала XX века. Он был удостоен премии им. Бялика (1947) и Государственной премии Израиля (1956). Шофман умер в возрасте 92 лет, 12 июня 1972 года. Незадолго до смерти, будучи уже в сумеречном состоянии, он пел по-русски «Выхожу один я на дорогу».

Зоя Копельман

¹ См., напр., рассказ «Ганя» в указ. Антологии. Исследователи утверждают, что гомосексуалисты в ивритской литературе впервые тоже появились у Шофмана.

СОДЕРЖАНИЕ

ШХЕМСКИЕ ВОРОТА

САРА ПОГРЕБ. Темный берег разлуки. *Стихи* 3

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

ВИКТОР ПАНЭ. Что вдохновляет. *Первая часть романа* 11

ГЕННАДИЙ БЕЗЗУБОВ. Новые стихи 66

МИХАИЛ ПРОБАТОВ. Сокровище. *Рассказ* 70

АЛЕКСАНДР ВЕРНИК. Рефлексия. *Стихотворение* 82

СИОНСКИЕ ВОРОТА

АРКАДИЙ Ф. КОГАН. Ослы и люди. *Рассказ* 83

ХОЛМ ПАМЯТИ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР. «Получилось, что я стал рассказывать...» 94

ГЕРШОН ШОФМАН. В осаде и в неволе. *Рассказ. Пер. С. Шенбрунн* 158

ДВА РАДИОИНТЕРВЬЮ С ИОСИФОМ БРОДСКИМ 168

НЕМЕЦКАЯ КОЛОНИЯ

АЛЕКСАНДР ЛАЙКО. На Фридрихштрассе веет сквознячок. *Стихи* 174

УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

СУСАННА ЧЕРНОБРОВА. Вид на живопись 178

ПОДЗОРНАЯ ГОРА

ВАЛЕНТИНА БРИО. Иерусалимские стихи польских поэтов 199

УЛИЦА ЖАБОТИНСКОГО

ВЛАДИМИР ХАЗАН. О Якове Вейншале 213

ЯКОВ ВЕЙНШАЛ. Воспоминания 217

МАРК ЗАЙЧИК. Министр Перес и писатель Солженицын. . . 263

НОВЫЕ ВОРОТА

Рецензии Леонида ГОМБЕРГА и Леонида ФИНКЕЛЯ,
на книги Михаила ХЕЙФЕЦА и Якова ПАПИАШВИЛИ 271

ЯФФО, 23

АНДРЕЙ КРЫЛОВ. Письмо в редакцию 274

ШАТЕР КНИГИ

Издания 2000–2001 года 275

ИМЕНА

Авторы и персонажи 276

ЗОЯ КОПЕЛЬМАН. Последний из могикан 280

**ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»**



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»

в 1999-2001 гг. вышли книги:

Дина РУБИНА. «Высокая вода венецианцев»

Новая одноименная повесть, рассказы и монологи

Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ. «Стена в пустыне»

Новые стихи поэтессы и новые картины художника

Юлий КИМ. «Путешествие к маяку»

Поэзия, проза и драматургия

Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА.

«Иерусалимские картинки»

Стихи З. Палвановой и рисунки В. Клецеля

Наум БАСОВСКИЙ. «Полнозвучие»

Новая книга стихов

Илья БОКШТЕЙН. «Быть я любимым хотел»

Избранные публикации для новых читателей. 1-я часть

Дмитрий СУХАРЕВ. «Холмы»

Новая книга стихов

Игорь ГУБЕРМАН «Книга странствий»

Проза и стихи

«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»

27 израильских художников в специальном выпуске «ИЖ»

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

Стихи Йоны ВОЛАХ в переводе Ольги РОГАЧЁВОЙ

Новая книга стихов Евгении ЗАВЕЛЬСКОЙ

Новая книга стихов Владимира ДРУКА

Новые повести и рассказы Григория КАНОВИЧА

Первая книга прозы Марины МЕЛАМЕД

Новая книга стихов Зинаиды ПАЛВАНОВОЙ

Новая книга стихов Владимира ФРЕНКЕЛЯ

Новая книга стихов Сусанны ЧЕРНОБРОВОЙ

JERUSALEM ANTHOLOGIA - www.antho.net

Музей современных израильских художников

Смотрите коллекции работ **Александра АДОНИНА**, **Анатолия БАРАТЫНСКОГО**, **Лиоры БАРШТЕЙН**, **Николая БЕЗЗУБОВА**, **Лей ЗАРЕМБО**, **Гарика ЗИЛЬБЕРМАНА**, **Бориса КАРАВАНОВА**, **Бориса КАРАФЕЛОВА**, **Бориса КИНКУЛЬКИНА**, **Вениамина КЛЕЦЕЛЯ**, **Григория КОЭЛЕТА**, **Эммануила ЛИПКИНДА**, **Ителлы МАСТБАУМ**, **Михаила МОРГЕНШТЕРНА**, **Бориса ЛЕКАРЯ**, **Зелия СМЕХОВА**, **Сергея ТЕРЯЕВА**, **Якова ФЕЛЬДМАНА**, **Давида ХАНАНА**, **Юлии ШУЛЬМАН**, **Сусанны ЧЕРНОБРОВОЙ**, **Михаила ЯХИЛЕВИЧА** и других мастеров искусства.

**НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»**

**АНТОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗРАИЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

Лучшие стихи израильских ивритских поэтов, пишущих для детей,
в переводах Елены АКСЕЛЬРОД, Владимира ДАНЬКО,
Лорины ДЫМОВОЙ, Бориса КАМЯНОВА, Вадима ЛЕВИНА
и других поэтов

Подписку на журнал можно оформить,
прислав свои почтовые координаты и чек на имя
Jerusalem Anthologia
по адресу:

**Jerusalem Literary Review, P. O. Box 32297
Jerusalem 91322**

Стоимость годовой подписки (4 номера):
В Израиле – 128 шекелей, включая пересылку
В странах Западной Европы и Северной Америки –
\$64 США, включая пересылку

«Иерусалимская Антология» благодарит
Клару и Владимира КРАСНОШТЕЙНОВ (Нью-Джерси),
Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА (Иерусалим),
Виктора ЛУФЕРОВА (Москва), Якова ЛИВШИЦА (Иерусалим),
Григория КАНОВИЧА (Бат-Ям), Дмитрия СУХАРЕВА (Москва),
Ехизэля ФИШЗОНА (Нокдим), Игоря ЦЕСАРСКОГО (Чикаго),
Велвла ЧЕРНИНА (Кдумим), Klarу ЭЛЬБЕРТ (Иерусалим)
за поддержку журнала.

Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило),
банк Апоалим
Our Account – 215502, Branch 585 (Gilo),
Bank Napoalim

*Любые пожертвования
будут приняты с благодарностью*

